



ЮНОСТЬ

1

1979

Лауреаты конкурса „Зелёного листка” ’78



Жюри конкурса «Зелёного листка» под председательством главного редактора журнала «Юность» Б. Н. ПОЛЕВОГО рассмотрело опубликованные в 1978 году произведения молодых авторов в области прозы, поэзии, публицистики, графики и присудило:

первую премию — **ЕЛЕНЕ МАТВЕЕВОЙ** за повесть «Черновой вариант» в № 1,

вторые премии — **ЛЕОНИДУ САПОЖНИКОВУ** и **ГЕОРГИЮ СТЕПАНИДИНУ** за приключенческую повесть «Цепь» в №№ 8, 9, **ЕВГЕНИЮ ЧЕПУРНЫХ** за цикл стихов в № 1,

третьи премии — **АНДРЕЮ САЛЬНИКОВУ** за оформление обложек №№ 4, 5, 6, 10, 11, **ВЛАДИМИРУ ПАПЕРНОМУ** за очерк «Как я был дизайнером» в № 1.

Еще одну третью премию поделили **АНДРЕЙ ЯХОНТОВ** за повесть «Плюс — минус десять дней» в № 1 и **МИХАИЛ КРАСНОЩЕКОВ** за очерк «Тропюю БАМа» в № 1.

Лауреаты «Зелёного листка» награждаются почетными дипломами и памятным значками.

Редакция «Юности»
поздравляет своих лауреатов.



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955
ГОДУ

ЮНОСТЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
"ПРАВДА"
МОСКВА

1/1979

январь (284)

**Этот номер
«Юность»
по традиции
посвящает
творческим
дебютам
молодых**

Главный редактор
Б. Н. ПОЛЕВОЙ

Редакционная коллегия:

А. Г. АЛЕКСИН
В. И. АМЛИНСКИЙ
Б. Л. ВАСИЛЬЕВ
В. Н. ГОРЯЕВ
А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ
(зам. главного редактора)
Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ
К. В. КОВАЛЬДЖИ
К. Ш. КУЛИЕВ
Г. А. МЕДЫНСКИЙ
С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
А. С. ПЬЯНОВ
(ответственный секретарь)
В. А. ТИТОВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
101524, ГСП,
МОСКВА,
Н-6,
УЛИЦА ГОРЬКОГО,
№ 32/1
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ:
251 32 83

**20-летие
Кубинской
революции**

**ФИДЕЛЬ
КАСТРО**

ПИСЬМА МОЛОДОГО РЕВОЛЮЦИОНЕРА

Фидель Кастро (в центре) и его друзья в тот майский день 1955 года, когда кровавый диктатор Батиста вынужден был освободить их из тюрьмы.



© Издательство «Правда», «Юность», 1979 г.

В первый день наступившего года все прогрессивное человечество отметило двадцатилетие Кубинской революции. Эта революция занимает особое место в истории. Она привела к созданию первого социалистического государства в западном полушарии. Кубинский народ совершил революцию и отстоял ее завоевания, невзирая на противостояние самой мощной империалистической державы, расположенной всего в 90 милях от берегов Кубы. Начало Кубинской революции было положено на рассвете 26 июля 1953 года штурмом казармы Монкада, предпринятым боевым отрядом революционной молодежи. Молодежь была в первых рядах тех, кто самоотверженно сражался в партизанских отрядах против войск диктатуры в горах Сьерра-Маэстра, вел полную опасную подпольную работу в городах и селах, участвовал в забастовках, демонстрациях, митингах. Легендарным руководителем революции стал Фидель Кастро, которому во время штурма Монкады было всего 26 лет.

Удивителен и необычен жизненный путь этого человека. Родился он 13 августа 1926 года в семье богатейшего кубинского землевладельца (дед Фиделя по отцовской линии был бедным крестьянином в испанской провинции Галисия, а мать происходила из бедной крестьянской семьи на Кубе), учился в частных католических школах, в 1950 году окончил Гаваанский университет, получив диплом доктора права.

В студенческие годы Ф. Кастро, мировоззрение которого формировалось под влиянием революционно-демократических, антиимпериалистических идей национального героя Кубы Хосе Марти, вступил в мелкобуржуазную «Партию кубинского народа». Эта массовая партия называлась еще партией «ортодоксов», потому что провозглашала себя наследницей заветов Хосе Марти. Ее лидер Эдуардо Чибас, пользовавшийся большой популярностью в стране, вел резкую критику коррумпированного антинародного правительст-

ва так называемой партии «ауентинов» и в знак протеста против злоупотреблений правительства покинул с собой в 1951 году. Уже будучи членом партии «ортодоксов», Ф. Кастро знакомится с произведениями классиков марксизма-ленинизма и становится убежденным сторонником научного социализма. Однако, исходя из конкретных кубинских условий, он продолжал оставаться в рядах партии «ортодоксов».

Дело в том, что Народно-социалистической (коммунистической) партии Кубы приходилось действовать в крайне трудных условиях. Она проделала огромную работу по распространению марксизма-ленинизма, дала кубинским трудящимся вдохновляющий пример самоотверженности в борьбе за народные интересы. В результате марксистско-ленинские идеи смогли превратиться в притягательное и бесспорное учение для многих революционных борцов Кубы. Однако именно в силу того, что этот организованный марксистско-ленинский авангард представлял наибольшую опасность для правящих классов страны и американского империализма, державшего Кубу в полуколониальной зависимости, они не перестали влиять против него фронтальное наступление, используя все средства — от самых жестких репрессий до пропагандистской обработки широких масс, чтобы представить коммунистов как «чужеродную силу», как опасных «агентов иностранной державы» и т. п. Это подрывало связи коммунистов с народом. Несмотря на то, что партия была активным отрядом демократического движения, она объективно на том этапе борьбы не имела возможности эффективно воздействовать на развитие социально-политической обстановки в стране.

В такой обстановке Ф. Кастро решил нанести удар по классовым противникам социализма «с фланга». Он полагал, что с помощью революционной программы, которая могла найти поддержку среди рядовых членов партии «ортодоксов», не говоря прямо о коммунизме, можно было повести за собой широкие

12 июня 1954 г.

О себе могу сказать, что мое одиночество прекращается лишь тогда, когда в маленьком похоронном бюро, расположенном напротив моей камеры, кладут какого-либо умершего заключенного из тех, что нередко бывают таинственно повешены или странным образом убиты — люди, чье здоровье было подорвано избиениями и пытками. Но я не могу их видеть, потому что как раз напротив единственного входа в мою камеру невозможно высится шестифутовая ширма, специально рассчитанная на то, чтобы не позволить мне видеть ни одного человеческого существа, ни живого, ни мертвого. Это было бы слишком великодушно — дать мне возможность побыть в обществе трупа!

Июнь 1954 г.

По-прежнему меня держат в изоляции от остальных товарищей. Это, несомненно, вызвано стремлением помешать духовной подготовке юношей, в которых они видят своих самых неприимых завтрашних противников. Нам запрещено даже обмениваться книгами. В остальном мне стало лучше. Сюда перевели Рауль¹. Мою камеру (ты ее видела в «Бозми») соединили с другим помещением, в четыре раза большим, и с просторным двором, который открыт с 7 утра до 9 с половиной вечера. Уборка производится тюремным персоналом, мы спим без света, для нас не устраивают переключек и не выстраивают в течение дня, мы встаем, когда захотим. Всех этих поблажек я, конечно, не просил... Но я, однако, не знаю, сколько еще мы будем пребывать в этом

«раю». Выборы вызовут огромное несогласие и недовольство. Режим будет вынужден объявить амнистию, чтобы ослабить напряженность в стране. Вопрос о политических заключенных до сего времени, к сожалению, бессовестным образом забытых, сам по себе становится в повестку дня. Велик контраст между тем, что представляют политики, и тем, что представляем мы. Наш час приближается. Раньше нас была горстка, теперь мы должны слиться с народом... Тактика станет другой. Те, кто видит в нас всего лишь группу, постыдно ошибутся. Ни мировоззрение, ни тактика изолированной группы никогда не будут на характеризовать. Теперь я смогу, кроме того, душой и телом отдаться своему делу. Вся моя энергия и все мое время принадлежат ему. Я начну новую жизнь. Я намерен преодолевать все препятствия и провести все необходимые бои. Главное, что я, как никогда, ясно вижу наш путь и нашу цель. Я не теряю времени в тюрьме: учусь, наблюдаю, анализирую, строю планы, воспитываю людей. Мне известно, где находится все лучшее на Кубе и как найти его. Начиная, я был один, теперь нас много...

19 июня 1954 г.

...Невозможно требовать, чтобы критерии разных людей всегда полностью совпадали. Мы, восемь товарищей, которые организовали выступление 26 июля, не всегда думали совершенно идентично, но в то время у нас была возможность собираться и обсуждать все вопросы, чтобы достигнуть полного согласия. Мы, Абель², Рауль и я, всегда находили решение для всех самых секрет-

¹ Рауль Кастро — брат Фиделя Кастро, также участвовавший в штурме казармы Монкада.

² Абель Сантамария Куадро — ближайший сподвижник Фиделя Кастро, зверски замученный батистовскими палачами после штурма казармы Монкада.

массы и завоевать власть. Само развитие революционной борьбы должно было помочь более быстрому вызреванию классового самосознания трудящихся и переходу всех здоровых сил нации на позиции социализма.

Дальнейшее развитие событий подтвердило правоту стратегической линии Ф. Кастро. Вначале он предполагал действовать мирными средствами, с использованием парламента, однако государственный переворот, совершенный кубинской возницей 10 марта 1952 года, и установление террористической диктатуры не оставили другой возможности, кроме вооруженной борьбы. И Ф. Кастро смело встал на этот путь.

Руководители «конституционных» буржуазных партий, включая и свергнутого переворотом «аутентиков» и «ортодоксов», не хотели, да и не могли вести борьбу против диктатуры с опорой на массовое движение. Они искали компромиссных решений и добивались благосклонности Вашингтона, который, собственно, и поставил Батисту в власти. Это было причиной глубокого кризиса этих партий, раскола и шатаний в их рядах.

Подлинным центром притяжения для многих решительных противников диктатуры, особенно из числа молодежи, в первую очередь «ортодоксов», стала революционная организация, которую начал создавать Ф. Кастро для подготовки вооруженного восстания. Это восстание, по мысли Ф. Кастро, с самого начала должно было быть тесно связано с социальной и массовой борьбой. Оно рассматривалось как средство поднять народ на всеобщую революционную стачку и начать массовое движение против диктатуры, ориентированное не просто на ее ликвидацию, но и на проведение коренной перестройки экономической и социальной жизни Кубы.

Штурм казармы Монкада, несмотря на беспримерный героизм и мужество его участников, закончился поражением. Фидель Кастро и его оставшиеся в жи-

вых соратники были приговорены к длительным срокам тюремного заключения.

На судебном процессе Ф. Кастро выступил с яркой политической речью. Он разоблачил преступления диктатуры и изложил программу возглавляемого им движения. В программе выдвигались такие цели, как свержение диктаторского режима, обеспечение суверенитета и независимости страны, уничтожение крупного помещичьего землевладения и передача земли крестьянам, проведение индустриализации, ликвидация полуколониальной зависимости от иностранных монополий, искоренение безработицы, расширение реальных демократических прав народа, и т. д.

Нелегально распространенная под названием «История меня оправдает» речь Ф. Кастро сыграла важную роль в мобилизации масс на борьбу против диктатуры. По существу, она превратилась в программный документ народно-демократического, антиимпериалистического, аграрного этапа Кубинской революции.

Трагический исход попытки организовать вооруженное восстание и тюремное заключение не сломили мужества Ф. Кастро. Лишенный свободы, не понятый и осуждаемый даже многими прогрессивными деятелями, он не утратил революционного оптимизма и настойчиво обдумывал пути продолжения борьбы против диктатуры. «Я не теряю времени в тюрьме, — говорил он в одном из его писем на волю в июне 1954 года, — учусь, читаю, анализирую, разрабатываю планы, формирую кадры».

Тюремное заключение было использовано Фиделем Кастро для углубленного изучения революционной теории. В письмах своим близким он среди книг, над которыми работал, называет, в частности, труды К. Маркса — «Капитал» («пять огромных томов по вопросам экономики, исследованным и изложенным с величайшей научной силой»), «Гражданская война во Франции» и «18 брюмера Луи Бонапарта». Послед-

ных и важных вопросов. Хотя это и может показаться неправдой, но мы с Абедем не всегда думали одинаково и, несмотря на это, занимали совсем идентичные позиции. Нередко у меня возникали идеи, которые, как я заранее знал, Абель с самого начала не принял бы, но я был уверен, что в конце концов он согласится, выслушав объяснение моей точки зрения, потому что, будучи новичком в борьбе, он тем не менее обладал необычайно развитыми интуицией и умом. Я всегда верил в эти его качества, когда должен был принимать решения, не имея времени на то, чтобы предварительно обсудить их.

Новая обстановка сегодня не позволяет нам обсуждать, как раньше, все вопросы, но у нас есть намеченная линия, которой мы должны придерживаться. В Сантьяго-де-Куба я сказал вам, что вы заслужили место в руководстве движением. Я констатировал это сразу, как только встретился с остальными моими товарищами-заключенными, и мы официально утвердили это решение. Мы рассмотрели также вопрос о том, что руководство движением должно размещаться здесь, на острове Пинос, где находятся большинство руководивших борьбой и самоотверженные товарищи, которые добровольно избрали судьбу заключенных. Посему любое решение по важным вопросам должно приниматься здесь. Вы, как члены этого руководства и ответственные за работу на воле, должны scrupulously выполнять принимаемые здесь решения, и вам нужно делать это с усердием и дисциплинированностью, к которым обязывают долг и ответственность, соответствующие принимаемым вами постам.

Известно, что я всегда был строг в этих вопросах, и именно в таком духе я хочу поговорить с вами сегодня.

Стремление к соглашению с «аутентиками» является опасным идеологическим уклоном. Если мы не сделали этого раньше, по сентаво собирая

милостыню и идя на тысячи жертв, чтобы приобрести оружие, тогда как им некуда было девать миллионы, поскольку мы считали, что у них нет способностей, моральной силы и идеологии, чтобы руководить революцией, то как же мы можем пойти на это сегодня, перешагивая через трупы и кровь тех, кто отдал свою жизнь за светлые идеалы?..

Революция — это не возвращение к власти людей, которые морально и исторически ликвидированы, которые целиком и полностью повинны в нынешней ситуации. Хорошо запомните, что возможность нашей победы зиждется на уверенности в том, что народ окажет поддержку усилиям честных людей, с первых шагов выдвинувших революционные законы, поддержку, на которую не могут рассчитывать те, кто его обманул и предал.

Я хочу предупредить вас, чтобы вы не поддавались некоторым впечатлениям. Это очень важно. У Аурелиано¹ сейчас нет даже самой отдаленной возможности организовать восстание — ни у Аурелиано, ни у кого другого. Тот, кто говорит обратное, беззастенчиво лжет, а обмануть можно кого угодно, но только не нас. Посему «Деижение» не может связываться ни с кем, не может уделять внимания никакой повстанческой комедии, и любое решение на сей счет должно быть предварительно одобрено нами здесь. Нужна очень большая осторожность в отношении интриганов, политиканов и тех, кто играет в революцию!..

Наша задача состоит сейчас — и я хочу, чтобы вы хорошо поняли это, — не в организации революционных ячеек, чтобы иметь в своем распоряжении большее или меньшее количество людей. Это было бы пагубной ошибкой. Неотложной за-

¹ Аурелиано Санчес Аранго — один из руководителей «аутентиков».

нию он особо отметил как «вслепленную работу» и, сравнивая подход К. Маркса к оценке Луи Бонапарта с тем, как рассматривал эту историческую личность В. Гюго, писал: «Там, где Гюго видел не более чем удачливого авантюриста, Маркс усматривает неизбежный результат социальных противоречий и борьбу господствовавших в тот момент интересов. Для одного история есть случайность, для другого — процесс, подчиняющийся законам. По правде говоря, фразы Гюго напоминают мне свои собственные выступления, полные поэтической веры в свободу, святого негодования против издевательств над ней и ожидания ее чудодейственного возвращения». С большим интересом изучает Ф. Кастро произведения В. И. Ленина, в первую очередь, как он сам пишет из тюрьмы, «бесценную» работу «Государство и революция».

Труды основоположников марксизма-ленинизма производят на Ф. Кастро неизгладимое впечатление. Ему, в частности, импонирует их боевой полемический дух. В одном из посланий на волю, комментируя чтение работ К. Маркса и В. И. Ленина, он подчеркивает, что это были «два подлинных образца для революционеров». Но самое главное состоит в том, что углубленное знакомство с произведениями классиков марксизма-ленинизма давало, как он потом сам неоднократно указывал, эффективное оружие борьбы. «Марксизм, — подчеркивал Ф. Кастро, — дал нам прежде всего понимание исторической миссии рабочего класса, единственного подлинно революционного класса, призванного до основания разрушить капиталистическое общество, и понимание роли масс в революциях».

Важнейшая задача, которую поставил Ф. Кастро перед собой в тюрьме, состояла в воссоздании революционной организации. Эта задача была крайне трудной для человека, находившегося в тюремной изоляции. Она осложнялась еще и тем, что ему при-

ходилось иметь дело с политически недостаточно подготовленными людьми, которые не всегда умели правильно разобраться в сложной обстановке, разгадать ловкие трюки и ходы промуженных буржуазных политиканов. Но он в конечном счете блестяще справился с этой задачей. С выходом Фиделя Кастро на свободу в мае 1955 года по амнистии, объявленной под давлением демократических сил страны, на политической арене Кубы появилась мощная революционная организация «Движение 26 июля», а затем и победоносная Повстанческая армия, которые сыграли ведущую роль в дальнейшем развитии борьбы против Батисты. Вокруг руководства «Движения 26 июля» и командования Повстанческой армии, возглавленных Ф. Кастро, слотились в ходе борьбы все подлинно революционные силы страны, включая коммунистов, которые внесли весомый вклад в дело революции. Диктатура была свергнута. Дальнейшее развитие революционного процесса, обострение классовой борьбы и беззащитное вмешательство американского империализма еще больше сплотили революционный авангард кубинского народа, сформировавший единую марксистско-ленинскую партию, и сам народ, ставший под ее руководством на путь строительства социализма.

Отмечая славный революционный юбилей братского кубинского народа, «Юность» публикует в переводе на русский язык ряд писем, написанных Фиделем Кастро в батистовской тюрьме на острове Пинос. Эти письма — яркий человеческий документ, раскрывающий облик выдающегося революционера, который стоит ныне во главе социалистической Кубы.

Олег
ДАРУСЕНКОВ

дачей в настоящий момент является привлечение на нашу сторону общественного мнения, пропаганда наших идей и завоевание поддержки со стороны народных масс. Наша революционная программа — самая полная, наша линия — самая ясная, наша история — самая самоотверженная. У нас право на доверие народа, без которого — я готов повторить это тысячу раз — невозможно осуществить революцию. Раньше мы были безвестными пионерами этих идей, теперь же вынуждены драться за них с открытым забралом. Тактика должна быть совсем другой. Для нас не должно иметь значения, привлечь ли на 10 человек больше или меньше, когда необходимо создать условия для мобилизации в один прекрасный день десятков тысяч людей. Я имею основание знать о том, что для этого необходимо, поскольку на мне лежала огромная задача найти их и организовать, борясь против миллиона интриг, а интриганов и посредственностей можно победить лишь идейной твердостью, которую мы и должны насадить, чтобы люди не меняли позиции, как рубашки.

И если сейчас в наших рядах есть люди, которые ничего не хотят, кроме стрельбы, и готовы пойти на сделку даже с дьяволом, лишь бы получить оружие, они должны быть безоговорочно исключены, равно как расстреляны те, кто в нужный час струсит (именно они, как правило, больше всего выказывают свое нетерпение сейчас). Нам нужны не гангстеры, не авантюристы, а люди, осознающие свою историческую ответственность, умеющие ждать и терпеливо работать на благо будущего родины.

Такова наша главная забота, и в этом направлении должны мы идти и для этого готовим руководителей путем постоянной учебы, выработки дисциплины и характера. Разве может для нас что-либо значить продолжительность тюремного заключения, если мы знаем, что в нужный момент выполним свою миссию? Я уверяю вас, что

никогда раньше на Кубе не готовилось ничего более замечательного.

Если эта линия неправильна, то почему же день ото дня растут симпатии народа к нам, в то время как круги, которые раньше были могущественными, слабеют?..

Благодаря нашим позициям мы можем рассчитывать на полную поддержку масс ортодоксов, которые стоят выше всех тенденций и насчитывают сотни тысяч граждан. Эти массы являются сторонниками независимой линии, которая всегда была нашей революционной линией. Открытое провозглашение ее было очень правильным шагом...

И что же нового в том, что мы лишним раз объявим о нашей солидарности с идеалами Чибаса, если мы привезли с собой в Сантьяго-де-Куба пластинку с записью его последнего выступления по радио, рассчитывая на то, что оно эффективно поможет поднять народ? И разве эта пластинка не содержит самое радикальное провозглашение этой линии? Защита ее вовсе не означает, что мы включаемся в какое-либо политическое течение, а лишь служит подтверждением перед лицом народа наших исторических позиций.

Мы возлагаем надежды не на группки конспираторов-полночников или запутавшихся студентов, а на народ. Давайте же как можно скорее выйдем на улицы с нашей программой, единственной подлинно революционной программой, и нашими идеями, чтобы организовать потом великое революционное движение, которое должно стать венцом идеалов тех, кто пал!

Вот в чем задача, ей вы должны посвятить вашу энергию и энергию тех товарищей, которые понимают эту истину. Я передаю вам это как приказ «Движения». Я дал вам на ближайшие недели непосредственные задания, и они должны быть обязательно выполнены. Любые другие намерения, которые выходят за рамки этой начер-

танной линии, особенно любой план немедленных насильственных действий, следует отставить. Газета «Патрия нуэва»¹ (великолепное название) должна ориентироваться на эту линию, стараясь, конечно, избегать ненужных потасовок. Что касается названия нашего «Движения», то этот вопрос пока не решен. Временно подписывайте любые заявления как «бойцы Монкады».

Доверие, которое мы вам оказываем, основывается на прошедшей проверке верности, смелости, заслугах и безграничной любви к нашему делу, но не на вашей опытности, и именно поэтому вы должны полностью верить тому, кто живет лишь для того, чтобы исполнить священную миссию, и знает, что он делает.

Вы должны отдать сейчас приоритет речи², и в этом деле вам следует добиться максимальной координации действий. Я хочу, кроме того, чтобы вы представили мне финансовый отчет, зашифровав его.

Позднее начнется другая работа. Очень настойчиво прошу вас беречь здоровье, потому что борьба будет длительной и тяжелой. Не нужно убиваться, нужно работать методически. Постарайтесь сократить до минимума поглощающие энергию поездки по провинциальным городам, стоящие сейчас задачи не требуют их.

Тех, кто вам будет говорить, что революция произойдет в такой-то день или в такой-то месяц, посылайте к черту.

Надеюсь, что вы сумеете полностью оправдать доверие к вам и нашу веру в вас. Не забывайте, что я буду строг, критикуя так же, как делал это, когда мы собирались на 25-й улице. Новые руководители должны суметь по-настоящему занять место тех, кто пал.

3 октября 1954 г.

В течение двух недель я глубоко и всесторонне продумал позиции и возможности нашего «Движения» в нынешней ситуации на Кубе. Неоспоримая реальность, превышающая мои силы, которые находятся в нечеловеческом напряжении уже несколько месяцев, элементарное чувство достоинства, долг и ответственности обязывает меня сделать решительные выводы. Они станут руководством к действию с момента их одобрения, после прочтения и обсуждения этого письма остальными заключенными товарищами, в руках которых до сего дня в принципе находилось высшее идеологическое и тактическое руководство нашей борьбой.

Ответственность, которая по праву и в силу революционной морали возложена в «Движении» на нас, находящихся в заключении, в настоящее время лишена всякого смысла. Признание того, что по историческим причинам высшее руководство находится здесь, абсолютно потеряло свою эффективность. Причины к тому различны. Главная из них — жесткие тюремные меры и почти полная изоляция, в которую мы поставлены. Однако отчасти причина кроется и в той незавидной роли, которую играют члены нашего «Движения» на воле. В известной степени она обусловлена непреодолимыми обстоятельствами, но

это ни в коей мере не исключает довольно большой личной вины.

Что касается меня, то я с непоколебимым терпением и несмотря на огромные препятствия, устремив взор в более или менее далекое будущее и с полной верой в успех, пытался, чтобы «Движение» заняло достойное ему место. Однако за блестящими моральными победами в тяжелые дни, последовавшие за 26 июля, на протяжении всего судебного процесса, наступил длительный период инерции, бесплодности, упадка. Мы оказались совершенно не на высоте тех непомерных препятствий, которые воздвигали перед нами трусость и убогость среды и жестокие преследования со стороны наших врагов. Наши советы, инструкции и инициативы ничего не дали. Совершенно напрасно писал я страницу за страницей, указывая, что делать. Среда, порочная атмосфера страны оказались сильнее. Нельзя претендовать на то, чтобы стать обновителями общества и руководителями народа, если нет способности противостоять глупым поветриям эпохи. У меня вызывает неимоверное страдание, когда я вижу наших людей запутавшимися в той рутине и тех дорогах, с которых мы должны были бы давным-давно сойти. Они жалко задыхаются в зловонии маразматического авантюризма, лишенного принципов и идеологии.

Сейчас совершенно невозможно указать какую-либо линию и быть уверенным, что ей последуют все товарищи. Мы, вне всякого сомнения, переживаем серьезный кризис, подобный тому, который в обстановке столько раз объявлявшихся революционных выступлений подрывал до 26 июля наши ряды и вызвал дезертирство многих ячеек. Наши товарищи, находящиеся в изгнании, перенося голод, трудности работы и разного рода беды, не могут не впасть в отчаяние. Материальная помощь, которую им оказывают те, кто имеет огромные средства, неизбежно связывает им руки. Я знаю, будь мы в Мексике, они пришли бы к нам, и все мы вместе, в этом я уверен, возвратились бы на Кубу даже вплавь и без особых объявлений на сей счет. Но мы находимся в заключении, а они вернутся с кем угодно, следуя зову родины, даже под угрозой смерти и под руководством того, кого им навязжут, у кого не более высокие идеалы, а большая мощь. Меня беспокоит их судьба, потому что они хорошие люди и Куба нуждается в них. «Движение 26 июля» исключается полностью из всех затеваемых революционных планов. Основную вину за это я возлагаю на тех руководителей, которые находятся на Кубе. Они слепы до самоубийства. Просто невероятно, как они не видят, что против «Движения 26 июля» плетется грязный заговор всех заинтересованных сил, потому что это событие выходит за рамки традиционных представлений, является беспрецедентным актом во всей нашей республиканской истории, подвигом всер и мужества горстки юношей, не имеющих никакого политического багажа и каких-либо ресурсов, которые не крали, не разбивали, не похищали никого, чтобы собрать деньги, которые виртуозно обманули всю службу безопасности диктатуры, которые с беспримерным подъемом пошли на штурм столь мощного бастиона и столь превосходящих сил противника, что другого подобного случая не было у освободительного движения, и которые, кроме того, имели четкий план борьбы и цельную революционную программу. Естественно, такое пробуждение нового революционного поколения поставило все социальные привилегии и все политические

¹ «Новая родина».

² Фидель Кастро имеет в виду свою речь «История меня оправдает».

иерархии под смертельную угрозу. Никогда еще не было столь единодушной реакции со стороны существующих политических сил с целью предать забвению, замолчать эпизод, столь выдающийся по своему героизму, идеалам, жертвенности и патриотизму. Вплоть до того, что по случаю чествования этой даты хотят за внешней похвалой скрыть самую ценную суть события: «Очень много говорится о том, что штурм казармы Монкада был необдуманным и безумным предприятием, не имевшим четкого плана. Но именно в этом критикуемом обстоятельстве и есть его самая сильная сторона. Они шли не за тем, чтобы взять власть. Они шли на смерть» (Араселио Аскуп. «Речь в Испанском клубе»). Другими словами, не отрицается то, что многие говорят, а принимается, и в этом хотят видеть заслугу. Тем самым нас лишают подлинной заслуги, состоящей в том, что люди шли на смерть ради великой цели, нас лишают наших идей, нам отказывают в революционной цели, а это равнозначно лишению нас всего. Наш долг состоит не в том, чтобы стать в результате бездействием сообщниками этого заговора молчания и мистификации, направленного на то, чтобы принизить и опозорить принесенные нами жертвы и нашу борьбу, а в том, чтобы выступить против него во всеоружии ума, ловкости и энергии. Это и должно было быть первейшей и главной задачей для вас, находящихся на свободе, которую вы не только далеко не выполнили, но даже не пытались выполнить. Чему вы посвятили свои силы в течение стольких месяцев? Ведь наемники заинтересованы в том, чтобы скрыть свои преступления и представить нас шайкой злодеев, а определенные политические силы — в том, чтобы замолчать наши подлинные заслуги. Что сделали наши товарищи, чтобы не позволить осуществиться этим замыслам? Не знаю, известно ли им, что все, что до сих пор сделано в этом смысле на воле, является результатом огромных усилий, предпринятых нами отсюда. Мы надеялись, что вы будете расчищать путь, пока мы куем здесь образцовых революционеров упорной работой по их образованию и политическому воспитанию. Надеяться напрасно... Поэтому у псевдоревolutioneров нет другой заботы, кроме того, чтобы расколоть «Движение» и поделить его останки, как стервятники, потому что они — жалкие политики, неспособные искать и готовить людей. Они не уважают «Движение» уважительного отношения и стремятся лишь использовать его членов в качестве пушечного мяса. Как все было бы по-другому, будь мы на свободе! Они это знают. Или была бы совершена серьезная глубокая революция, возглавленная «Движением 26 июля», или «Движение 26 июля» в одиночку пошло бы на революцию. Но никто не заинтересован в том, чтобы мы вышли на свободу. Если бы преступления, совершенные в Сантьяго-де-Куба, были бы достаточно полно разоблачены, если бы народ Кубы представил все величие нашего жеста, правительство было бы вынуждено открыть перед нами тюремные двери, как оно было вынуждено открыть их для Пинчо Гутьереса и вскоре откроет для заключенных по делу Кантри-клуба. У них были товарищи, которые посвятили свою энергию и ум борьбе за их освобождение. И пока мы гнием в тюрьмах, а аутентики и ортодоксы-заговорщики (то же можно сказать и об аутентиках, следующих за Грау) преднамеренно и подло замалчивают эти преступления, наши товарищи по штурму Монкады, забыв о павших и о своих идеалах, готовы участвовать в их балагане и служить им пушечным мясом. Нет! Нужно

иметь достоинство. Нужно уметь заставить уважать себя.

Если существует действительное желание свергнуть диктатуру, то почему же не используются все средства для борьбы за то, чтобы вызвать из тюрьм людей, которые могут внести решающий вклад в эту борьбу? Невозможно скрыть, что в данном случае преследуются не подлежащие разглашению цели реставрации власти или ее захвата, а мы являемся препятствием на пути этих амбиций.

Вы до сих пор никак не можете понять, насколько мне горько осознавать, что наши товарищи покоятся забытыми в земле, не будучи в состоянии служить даже знаменем в бою, служить делу разоблачения тирана, который их убил. Те, кто поступает так, забывают, что своей трусостью и недальновидностью они копают могилу для многих будущих революционеров. Если в Сантьяго-де-Куба было убито 70 человек, совершенно невиданное кровопускание и об этом публично еще не было сказано ни слова, в следующий раз осмелевшие палачи убьют 500 человек и, может быть, убьют еще много других из наших потерявших ориентировку товарищей.

Отсюда я не в состоянии положить конец путанице и хаосу, которые сегодня охватили «Движение». Такая задача не по силам тому, кто находится практически в изоляции. Кроме того, мне известно, что кое-кто дошел до того, что оспаривает право на высшее руководство «Движением» у общего собрания находящихся здесь заключенных и пытается придать такие организационные формы «Движению», которые свели бы на нет такое право для нашей группы, являющейся мозгом и душой «Движения». Мои инструкции, которые всегда даются с полного согласия других заключенных, не выполняются, или выполняются плохо, или полностью не признаются. В этих условиях мы не можем продолжать осуществлять руководство «Движением» отсюда. Знайте, что с этого момента такая обязанность целиком и полностью ложится на вас. Не нужно больше устраивать дискуссии по этому вопросу. Что касается меня, то с этого момента я полностью слагаю с себя эти полномочия. И не теряйте времени, пытайтесь переубедить меня. Мне не нужны ни призрачные посты, ни разговоры ради разговоров. В ваших руках жизнь всех наших товарищей и ответственность перед историей. Эту ответственность мы не можем взять на себя, не имея никакой информации и совершенно не зная, что на самом деле происходит на воле. Желаю вам осуществлять руководство достойно и лишь прошу не забывать о памяти павших и не делать ничего, что запятнало бы ее. Когда-нибудь мы соберемся вместе, обсудим все и потребуем ответа. Если в результате этого «Движение» распадется, если многие дезертируют и покинут прекрасное знамя, под которым мы пошли на смерть ради подлинных идеалов, мы, оставшиеся здесь, все начнем сначала.

Я знаю, что некоторые критикуют меня за то, что я говорю о гражданско-революционном движении вместо того, чтобы ратовать повсюду за повстанческие планы. Пусть только эти мастера «революционных дел» не забывают, что за несколько дней до 26 июля я занимался севом риса в Пинар-дель-Рио! Или, может быть, все мы, находящиеся здесь в тюрьме, перестали быть бойцами, потому что появилась новая порода, более радикальная, чем наша?

Я очень глубоко огорчен тем, как поступили с

речью¹. Больше я, конечно, не скажу ни слова об этом. Для чего я пошел на все жертвы и убивал себя за работой? Ведь не попусту же. Пяти месяцев оказалось недостаточно, чтобы донести ее до народа. Безразличие, проявленное в этом деле, свидетельствует о достойном сожаления невежестве в отношении того значения, которое имеют идеи в истории. Очень горько наблюдать, как рабочие просят свободы для арестованных по делу Кантри-клуба, даже не вспоминая об участниках штурма Монкады, так как не знают, что там отдавали свои жизни 80 молодых кубинцев — подавляющее большинство которых были бедными рабочими, — чтобы добиться не только свободы, но и реализации самой широкой и смелой социальной программы, за какую когда-либо пролилась кубинская кровь. Товарищ Хосе Суарес сообщил мне, что, как ему сказали в тюрьме Принсипе, речь была задержана потому, что некоторые товарищи считают нынешний момент неподходящим, чтобы выходить с ней. После того, как в течение 14 месяцев все замалчивают совершенные преступления, разве не бесовски таким поведением вносить свою лепту в это бесчестие? Разве позднее это будет нужно? Позднее нужно будет разоблачать другие преступления! Сделайте так, чтобы речь стала как можно скорее достоянием улицы. На сей раз это всего лишь просьба. Хотя бы для того, чтобы помешать повторению в ближайшее время подобных ужасных убийств арестованных. Скрывать ее — это преступление и предательство. Если начнутся репрессии, то они прежде всего будут обращены против меня, человека, который и без того перенес и продолжает переносить многое. Если кого-нибудь и убьют в камере при первой революционной вспышке, так это буду я. И тем не менее я хочу, чтобы речь сделала достоянием улицы, не теряя ни минуты. Не заставляйте мое сердце обливаться кровью из-за бессилия! Вы более жестоки, чем те, кто держит меня здесь в заключении.

Я хочу засвидетельствовать в этом письме свое удовлетворение той глубокой и примерной верностью, которую постоянно проявляли товарищи Мельба Эрнандес и Айде Сантамария.

Больше мне нечего добавить.

Это письмо будет подписано в случае их полного согласия всеми остальными заключенными на острове Пинос, для чего я немедленно передаю его в их руки.

15 марта 1955-г.

Быть заключенным — значит быть обреченным на вынужденное молчание. Слушать и читать, что говорится и пишется, не имея возможности высказать свое мнение. Выносить нападки трусов, которые пользуются обстоятельствами, чтобы выступать против тех, кто не может защищаться, и делать заявления, которые, будь у нас на то материальные возможности, заслужили бы нашего немедленного ответа.

Мы знаем, что все это нужно выносить стойко, мужественно и спокойно, как горькую жертвенную чашу, которую требует любой идеал. Но бывают случаи, когда необходимо преодолеть все препятствия, ибо невозможно хранить молчание в то время, как задвигается достоинство. Я пишу эти

строки не в поисках аплодисментов, которые так часто излишне дарятся за видимость заслуг, за театральные жесты и в которых отказывают тем, кто умеет выполнять долг просто и естественно. Я делаю это в силу чистой совести, внимания и уважения к народу, верности ему...

Заинтересованность, которую подавляющее большинство наших граждан проявило к тому, чтобы мы вышли на свободу, проистекает из прирожденного чувства справедливости у масс, чувства глубоко гуманного, свойственного народу, который не является и не может быть равнодушным. Вокруг этого ставшего необоримым чувства развязана настоящая оргия демагогии, лицемерия, оппортунизма и злой воли. Что думаем мы, политические заключенные, обо всем этом? Таков, возможно, вопрос, которым задаются тысячи граждан, а может быть, и не один деятель режима. Интерес в данном случае особенно велик, потому что речь идет о тех, кто был в Монкаде, кого не включили ни в одну из амнистий, кто является объектом всех надругательств, кто является гвоздем всех проблем. Речь идет о тех, кого больше всего ненавидят или, может быть, больше всех боятся...

Некоторые официальные представители говорят, что «будут включены даже монкадисты». О нас нельзя говорить без этих «даже», «включены» или «исключены». Они проявляют сомнения, колеблются, хотя отлично знают, что если провести опрос, то 99 процентов народа выскажутся за наше освобождение. Ведь народ нелегко обмануть, от него нельзя скрыть правду. Однако они не уверены в том, что думает один процент — те, кто носит военную форму. Они боятся не угодить этому проценту, и боятся не без причины, потому что военный из корыстных побуждений натравливает против нас. Фальсифицируют факты, вводят на 90 дней предварительную цензуру печати, принимают закон об охране общественного порядка — все это для того, чтобы никто и никогда не узнал, что произошло в Монкаде, — кто проявлял гуманность в бою, а кто допустил деяния, которые однажды с ужасом будут упомянуты в истории.

Какую странную линию проводит правительство в отношении нас! На публике нас называют убийцами, в узком кругу — рыцарями. На публике ожесточенно нападают на нас, а частным образом нас посещают на высоком уровне, угощают сигарой, предлагают книгу, все ведут себя очень вежливо. Несколько дней назад пришли три министра — приятные, обходительные, внимательные, один из них говорит: «Не беспокойся, это пройдет. Я сам подкалывал много бомб и готовил покушение на ~~Мачадо~~² в «Кантри-клуб». Я тоже был политическим заключенным».

Узурпатор проводит пресс-конференцию в Сантьяго-де-Куба и заявляет, что общественное мнение настроено не в нашу пользу. А несколько дней спустя происходит выходящий из ряда вон случай: масса жителей Орьенте во время митинга, устроенного партией, к которой мы не принадлежим, митинга, на котором, как свидетельствуют журналисты, собралось самое большое количество людей за всю избирательную кампанию, без конца выкрикивала наши имена и требовала нашего освобождения. Великолепный ответ благородного и преданного народа, который хорошо знает историю Монкады.

Теперь наша очередь ответить столь же гражданственно на моральный вызов, который нам бросает режим, заявляя, что амнистия будет в том

¹ Фидель Кастро имеет в виду свою речь «История меня оправдает».

² Кровавый кубинский диктатор, свергнутый в 1933 году в результате народного восстания.

случае, если заключенные и высланные из страны изменят свою позицию, если они созовут на себя молчаливое или открытое обязательство признать правительство.

Однажды фарисеи спросили Христа, должны ли они платить дань Цезарю. Ответ должен был поссорить его либо с Цезарем, либо с народом. Фарисеям всех времен хорошо знакома эта хитрость. Именно так пытаются сегодня дискредитировать нас в глазах народа или найти повод, чтобы оставить в тюрьме.

Я совершенно не хочу доказывать режиму необходимость проведения амнистии, меня это вовсе не волнует. В чем я заинтересован, так это в том, чтобы показать фальшь его аргументации, неискренность его слов, трусливость и подлость ловушки, которую он расставляет для тех, кто находится в тюрьме за то, что боролся против него.

Говорят, что они великодушны, потому что сильные. На деле же они злопамятны, потому что слабы. Говорят, что они не испытывают ненависти. Однако они обрушили ее на нас так, как это никогда еще не делалось в отношении любой группы кубинцев.

«Амнистия будет тогда, когда наступит мир». На каких моральных основаниях могут делать подобные заявления люди, которые вот уже на протяжении трех лет рекламируют, что совершили государственный переворот, чтобы дать мир республике? Значит, нет мира, следовательно, государственный переворот не принес мира, и, таким образом, правительство признает свой обман спустя три года после установления диктатуры, создается в конечном счете в том, что на Кубе нет мира с того самого дня, когда они захватили власть.

«Лучшим доказательством отсутствия диктатуры является то, что у нас нет политических заключенных». — говорили они в течение многих месяцев. Сегодня, когда тюрьмы переполнены и громадное количество людей находится в изгнании, они не могут говорить о том, что мы живем при демократическом конституционном режиме. Собственные слова осуждают их.

«Для проведения амнистии необходимо, чтобы противники режима изменили свою позицию». Другими словами, совершится преступление против прав человека. Нас превращают в заложников. С нами поступают так же, как поступали нацисты в оккупированных странах. Поэтому мы сегодня являемся не только политическими заключенными, но и заложниками диктатуры.

«Для проведения амнистии необходимо предварительное обязательство признать режим». Подлецы, предлагающие это, полагают, что за 20 месяцев мы под воздействием самых жестких мер, принятых против нас, утратили стойкость. С доходных и удобных позиций в правительстве, которые им хотелось бы сохранить навечно, они имеют низость разговаривать подобным образом с теми, кто, будучи в тысячу раз честнее их, похоронен в тюремных стенах. Пишущий эти строки вот уже 16 месяцев изолирован в одиночке, но у него достаточно сил, чтобы не унизить свое достоинство. Наше заключение противоположно. Я не понимаю, почему право должно быть на стороне тех, кто напал на казармы с целью ликвидации конституционной законности, установленной народом, а не тех, кто пошел на это, чтобы заставить уважать законность. Почему право должно быть на стороне тех, кто лишил народ суве-



Фидель Кастро вскоре после штурма казармы Монкада (на допросе).

ренитета и свободы, а не тех, кто вступил в бой, чтобы вернуть их народу. Почему они должны иметь право управлять республикой против народной воли, в то время как мы за свою аерность принципам чахнем в тюрьме. Посмотрите на жизненный путь тех, кто правит, и вы найдете там уйму темных дел, мошенничества, нечестно нажитых состояний. Сравните его с жизненным путем тех, кто погиб в Сантьяго-де-Куба, и тех из нас, кто находится здесь в заключении. На нем нет ни одного пятна, ни одного бесчестного поступка. Наша личная свобода есть неотъемлемое право, принадлежащее нам, как гражданам, родившимся в стране, которая не признает никаких хозяев. Силой можно отобрать у нас это и все другие права, но никогда и никому не удастся добиться от нас, чтобы мы согласились пользоваться ими ценой недостойного компромисса. Словом, за наше освобождение мы не отдадим ни крупицы нашей чести.

Именно они должны взять на себя обязательство уважать законы республики, которые бесчестно растоптаны ими. Именно они должны уважать суверенитет и волю нации, которые так скандально попораны ими 1 ноября. Именно они должны создать обстановку мира и спокойствия в стране, которую на протяжении трех лет держат в страхе и аолнении. Ответственность ложится на них. Без 10 марта не было бы необходимости вступать в бой 26 июля и никто из граждан не превратился бы в политического заключенного.

Мы не являемся ни профессиональными возмутителями спокойствия, ни слепыми сторонниками насилия при условии, что наше стремление сделать родину лучшей может осуществиться с помощью оружия убеждения и ума. Нет такого на-

рода, который пошел бы за группой авантюристов, пытающихся свергнуть страну в гражданскую войну там, где не царит несправедливость и мирные легальные пути открыты всем гражданам, участвующим в гражданском столкновении идей. Мы согласны с Марти в том, что «преступником является тот, кто толкает страну к войне, которую можно избежать, но и тот, кто не идет на войну, которая неизбежна». И кубинский народ никогда не увидит нас в роли поджигателей гражданской войны, которую можно избежать, но я повторяю, что всякий раз, когда Куба окажется в постыдном положении, как это случилось после 10 марта, преступлением явится отказ от неизбежного восстания.

Если бы мы увидели, что перемена обстоятельств и обстановка позитивных конституционных гарантий диктуют изменение тактики борьбы, мы пошли бы на это, но лишь в силу интересов и желания нации и никогда в силу трусливого и постыдного соглашения с правительством. И если от нас требуют этого компромисса как цену за предоставление свободы, мы отвечаем категорическим «нет».

Нет, мы не устали. После 20 месяцев мы стойки и непоколебимы, как и в первый день. Мы не хотим амнистии ценой бесчестия. Мы не станем к позорному столбу, поставленному бесчестными угнетателями. Лучше тысяча лет тюрьмы, чем унижение. Лучше тысяча лет тюрьмы, чем утрата достоинства. Мы делаем это заявление обдуманно, без страха и ненависти.

Сейчас, когда прежде всего нужны кубинцы, готовые принести себя в жертву, чтобы спасти гражданскую совесть нашего народа, мы с удовольствием предлагаем себя. Мы молоды и не страдаем от ублюдочных амбиций. Так что пусть нас не боятся политиканы, которые по разным более или менее замаскированным дорожкам уже спешат на карнавал личных вождельств, забыв об огромной несправедливости, от которой страдает родина.

И теперь не только амнистии, но даже улучшения условий тюремного содержания, через которые режим проявляет свою ненависть и ярость в отношении нас, мы не будем просить. Единственное, что мы приняти бы от наших врагов с удовлетворением, как сказал однажды Антонио Масео, так это окровавленный эшафот, на который другие наши товарищи, более счастливые, чем мы, сумели взойти с высоко поднятой головой и спокойной совестью человека, приносящего себя в жертву святому и справедливому делу родины.

В ответ на позорное соглашательство сегодня, 77 лет спустя после героического протеста Бронзового Титана¹, мы провозглашаем себя его духовными сыновьями.

2 мая 1955 г.

...Что касается материальных удобств, то, если бы не необходимость жить при минимальном материальном благополучии, поверь мне, я был бы счастлив, имея пристанище в коммунальной квартире и ложась спать на кушетку с ящиком для хранения постельного белья. Мне достаточно одного блюда из маламги или картошки, которые я нахожу столь же изысканными, как манна не-

бесная. Несмотря на всю дороговизну жизни, я могу роскошно жить на 40 разумно использованных сентаво в день. Это никакое не преувеличение, я говорю откровенно. От меня будет меньше проку, если я стану привыкать к необходимости иметь больше для жизни, если забуду о том, что можно быть лишенным всего и не чувствовать себя несчастным. Именно так научился я жить, и это делает из меня грозного, страстного, закаленного самопожертвованием идейного борца. Я смогу вести пропаганду собственным примером, что красноречивее всяких слов. Насколько меньше будут связывать меня нужды материальной жизни, настолько независимее и полезнее я буду.

Зачем я должен идти на жертвы, чтобы купить гуайяберу², брюки и все такое прочее? Я выйду отсюда в своем поношенном шерстяном костюме, хотя сейчас и разгар лета. Разве я не возвратил другой костюм, который мне не по карману и в котором у меня никогда не было нужды? Не думай, что я эксцентрик или стал таковым, просто нужно по одежке протягивать ножки — я бедняк, у меня ничего нет, я ни разу не украл ни одного сентаво, ни у кого не попрошайничал, а своей карьерой пожертвовал ради нашего дела. Ради чего я должен носить гуайяберы из тонкой хлопчатки, будто я богат, или чиновник, или казнокрад? Если сейчас у меня совсем нет заработка и, чтобы иметь что-нибудь, кто-то должен дать мне это, я не могу, не должен и не соглашусь быть хоть в какой-то мере нахлебником у кого бы то ни было. С того момента, как я оказался здесь, самые большие мои усилия были направлены на то, чтобы дать понять, и я, не устаю, делал это, что мне совершенно ничего не нужно. Мне необходимы лишь книги, а книги я рассматриваю как духовные ценности. Словом, я не могу не беспокоиться по поводу всех затрат, которые делаются в связи с нашим выходом из тюрьмы. И даже те, которые совершенно необходимы, очень беспокоят меня, потому что мне до сих пор не пришло в голову спросить, как ты выходишь из положения. Это не недовольство, а горечь от всего этого. Вы не можете чувствовать себя спокойно, пока так или иначе не покажете свою любовь и заботу в отношении меня. Я крепко, как дуб, безразличен к лишениям, мои нужды не стоят тех жертв, которые вы приносите и за которые я искренне выговариваю вам. Что за нужда каждый раз доказывать любовь, о которой я и так очень хорошо знаю? И не на словах. Это реальность, в которой нужно отдавать себе отчет. Меня очень трогает стремление доставить мне как можно больше маленьких радостей. Но ведь это прекрасно можно сделать и без материальных жертв! Хочешь пример? Увидеть мои книги в полном порядке по прибытии доставило бы мне удовольствие и радость, сделало бы меня более счастливым, чем что-либо еще, и в то же время не вызывало бы печали, недовольство и горечь. Я не имею права на слабость. Какими бы маленькими они ни были сегодня, завтра от меня уже ничего нельзя было бы ждать...

² Национальная кубинская рубашка, которая стоит относительно дорого и заменяет пиджак, особенно летом.

¹ Имеется в виду Антонио Масео — герой освободительной борьбы кубинского народа против испанского колониализма в XIX веке.

ПРОЗА

О П А Ю В К Н О К Д
А О С Ю В К Н О К Д
Т О М Н И Г П Е Н
Е Д Б У О А
С М Ф К П О Д Б Ф
Э З С М К В М
З Й Д З М К Р
Т Н Р М а
К Ю А Т А Ж
П Д К Ф Н О Ж И
Е



**ЛЕВ
ХАХАЛИН**

Москвич.
Ему 36 лет.
По профессии
детский врач,
научный сотрудник
Академии
медицинских наук.



ПОВЕСТЬ

ШАРОВАЯ МОЛНИЯ

(Комментарии к биографии известного лица)

*«Скорбь без гнева —
безрассудство».*

ЛЕОПАРДИ

I

Он жил уже свой пятнадцатый год, ему казалось — долго: так много он знал. А может быть, и это ему казалось.

Он вздохнул и уловил горчащий вкус: где-то разводили вялые дымные костры.

— Андрюша, закрой горло, — сказала мама.

Кузьмин оглянулся — она стояла с Николашкой на руках и большими глазами смотрела на него, на Кузьмина.

Он поправил шарф и потупился. Скоро, — напомнил он себе.

Последние дни были пыткой: отец, под чьим суровым взглядом он цепенел, мама и ее тетка, Анна Петровна, — все они пристально разглядывали его, будто обнаружив что-то новое на его деланно равнодушном лице.

Пятнадцатый раз для Кузьмина начиналась осень (а он уже знал, что это лучшая его пора) — приходило успокоение, тихий восторг, и в груди, казалось, рос живой горячий шар. Мир, великий мир со всеми своими запахами и красками осенью подступал вплотную. Ни звон и резкость зимы, ни неистовство и беспокойство весны не открывали ему мир в такой полноте, как тихое утро в сентябре. Не приносили ему той радости, которую, хоть мимолетно, он ощущал осенью и по дороге в школу и, случайно, среди безысходности его школьных будней, взглянув в окно.

— Опять мечтает... Ну, пошли! — сказал отец. Он склонился, заглядывая Кузьмину в лицо.

— Андрей! — сказал он. — Пожалуйста, слушайся Анну Петровну!

Рисунки
В. СКРЫЛЕВА.

Кузьмин ткнулся губами в его твердую гладкую щеку, почувствовал знакомый запах «Шипра» и перешел в мамины руки.

— Андрюшенька! — шепнула она ему, прижимаясь мокрым от слез лицом. — Андрюшенька!..

Николашка послушно поцеловал его мокрыми губами и поспешно опять влез маме на руки. Анну Петровну он целовать не стал, надул губы.

Они ушли в вагон, появились в окне, немые. Потом громко, напугав Николашку, крикнул паровоз, такой длинный, сыто лоснящийся, похожий на сжатую пружину (а отец сказал, что совсем он не похож), и, фукнув паром, увел покорные серо-голубые вагоны с табличками «Москва — Будапешт — Вена» в морозящую, мутную даль со странно-ярко горящими красными семафорами.

Отец и мама что-то немо говорили из уходящего окна вагона, и Кузьмин на все согласно кивал головой, а паровоз легко и быстро разогнался и уходил.

Кузьмин долго смотрел вслед поезду, не смаргивая, а Анна Петровна терпеливо ждала, неподвижно стоя у него за спиной. Наконец он повернулся к ней с тем равнодушным, выводящим из себя отца и учителей выражением и стал молча ждать ее приказа. Она молчала. Ему пришлось поднять голову.

Она спокойно и выжидательно смотрела на него. Пришлось сказать «Всё» и первым шагнуть по направлению к выходу с перрона.

Они прошли мимо пригородных платформ с зелененькими вагончиками и короткими, похожими на жуков паровозиками, через толпу суетящихся людей, и, когда Кузьмин остановился, разглядывая их и заодно испытывая Анну Петровну, она тоже остановилась. Потом они вышли на площадь, где на том же самом месте, что и час назад, стоял отцовский «ЗИМ», сели в него, и в последний раз добрый шофер повез их, но уже не домой.

В машине, где все еще оставался запах отца, тот, который пропитывал весь дом, все его мундиры и даже, казалось Кузьмину, людей, у Кузьмина сделался озноб.

Нет, у него не было предчувствия перемен, страха, жалости к себе или заискивающей суетливости, когда Анна Петровна взяла его за руку и вместе с ней он вошел в ее большую комнату с антресолями в коммунальной квартире старого трехэтажного дома на другом краю Москвы.

За окном были сумерки, нудно шел дождь. Она постелила ему на антресоли. Он сжался в комочек под одеялом и, согреваясь в подступающем жару — он простудился — и уже плавая в нем, почувствовал голчок в сердце: это из далекого далека маминой мыслью о нем толкнуло волнение.

«Мамочка!» — шепнул он, и тотчас натянулась звонкая струна, затретила его. В жару он заплакал, а струна все больше дергала его. Когда боль стала непереносимой, угрожающей, струна оборвалась, и, будто омытый его горячими слезами, наутро мир предстал перед ним в прозрачной яркости чистого синего неба и неразмытых контуров незнакомого города, прихваченного воздвиженским морозцем.

День начинался и заканчивался полосканием горла из тяжелой, толстого фарфора кружки с выцветшими васильками на стенках. От настоя голос бархател, наливался теплом, а в груди будто прибавлялось дыхания. Иногда Кузьмин даже пробовал петь. А ангины через год кончились.

Бич последних лет — ежевечерняя проверка домашних заданий — не свистел над головой, и Кузьмин приучился сам себя провирать: на первых же

неделях учебы в новой школе он нахватал двоек и, не слыша упреков и нудных нотаций, а видя только напряженное лицо Анны Петровны (Крестны), стал незаметно для себя стараться, и мало-помалу двойки исчезли.

Он становился общительным и веселым, играл за школьную команду в волейбол (в девятом классе он начал быстро расти, оставаясь худым и поджатым). На фотографии тех лет нескладный Кузьмин выглядывает из клубов дыма со сцены актового зала школы — показательный опыт на вечере отдыха.

Он долго отвыкал от озноба страха, державшего его в постоянном напряжении там, в старом доме и старой школе, и, когда короткий путь до школы стал легким, веселым, когда свобода незаметно вошла в его плоть, к нему вернулось любопытство, беззлая шкодливость и то известное чувство, когда нет рук, ног, горла, головной боли, а есть просто неутомимое тело: носитель, хвататель и прыгатель.

Он учился в девятом классе, когда появилась новенькая, и ее присутствие, ощущаемое всем телом как изменение, паралич, изменило его представление о своих приятелях и еще больше — о себе.

(В тот день у него особенно сильно зудели противные розовые прыщики на щеках; даже на контрольной он не переставал их расчесывать и, вернувшись домой, в нетерпении сразу же бросился к зеркалу. Толстое, благородно-овальное зеркало громоздкого трюмо — общее зеркало всей квартиры — по краям было замутнено, слепо, и только в центре холодно и глубинно сияло как бы изнутри освещенное поле.)

Волшебное зеркало стерло случайные черты — прыщики, царапину на подбородке, оспину над расщепанными губами, — и на Кузьмина издали внимательно посмотрел тонколицый красивый мужчина. Кузьмин отступил — одежда расплылась неопределенным пятном, а лицо осунулось, просветлели глаза, брови обрели излом, а губы сложились, упрямо подобралась.)

Он стоял и разглядывал себя — он понимал — настоящего, того, который уже существовал в той дали, и не знал, что лицо его в эти минуты меняется, сродняется со своим изображением.

Он показал себе язык. За этим занятием его застала Крестна, вышедшая из кухни посмотреть, что это он так замешкался. Ее лицо в зеркале разгладилось, открылась теплота взгляда, а губы ее, оказывается, все время улыбались. Кузьмин оглянулся на нее, настоящую, — и вдруг разглядел все это.

— Да, ты будешь красивым, — спокойно сказала Крестна, и Кузьмин заинтересовался. — Рот, лоб — все наше. Ты доброго человека как узнаешь? — вдруг спросила она.

— По глазам, — быстро ответил Кузьмин.

— А умного?

— По глазам!

— Выходит, глаза-то главное?

— Верно! — подумав, засмеялся Кузьмин.

А вечером, сыграв на его давнишнем интересе к большой черно-лаковой шкатулке, она допустила его к ней.

Кузьмин увидел улежавшиеся на своих местах пачку писем и документов, замшевый мешочек-кисет с набитым брюшком, две медали военного времени, позеленевший изящный наперсток и десяток фотографий на картоне.

Она была дерзко-красива, высокомерна: то присевшая на минутку в плетеное кресло (и нетерпение чувствовалось в туфельке, выглядывавшей из-под платья, в руке, сжавшей тонкие стебли тюльпанов), то в костюме амазонки шошедшая на ступени дач-

ной беседки (сжимающая хлыст, с раздутыми ноздрями и косящим взглядом она была все еще в азарте скачки); даже севшая у ног мужа с дочкой на коленях, она испытующе и гордо глядела на Кузьмина с этих фотографий.

— Какая ты была! — восхитился Кузьмин.

— Красотою красив, да норов — спесив, — усмехаясь, отзывалась Крестна.

— Ты была богатой? — еще раз разглядывая интерьеры, спросил Кузьмин.

— Мои мужья были богаты, — сказала Крестна. — Мы с твоей бабушкой бедные были. Какая же я тебе больше нравлюсь?

— Теперешняя, — не покривив душой, решил Кузьмин. — Там ты злая. — Он оглянулся на нее, боясь, что обидел.

Но она улыбалась.

— Свет ты мой ясный, — чистым голосом сказала она.

В темноте, в слабом свете лампы, дождавшись, когда она отмолится, он спросил с антресоли, где спал:

— Крестна, ты думаешь — бог есть?

И после долгого молчания, когда Кузьмин уже почти перестал дышать, дожидаясь ответа, готовый извиниться, она ответила:

— У тех, для кого свой крест тяжел, он есть.

Он подобрал на улице мокрого, грязного котенка. Обезумевший от ужаса перед катящейся мимо рычащей громадой машин, беззвучно разевающий маленькую беззубую пасть, горбя спину, котенок попятился от присевшего на корточки Кузьмина к стене, под струю из водосточной трубы. «Что, брат? — спросил Кузьмин. — Маму потерял? Пошли к нам жить!» Всея квартирой kota назвали Васюшкой. (Через год летом в деревне он исчез. И странно — долгие годы Кузьмин помнил о нем, пока что-то не подсказало ему, что Васюшки уже нет. Но то была уже иная, другая жизнь.)

Он опять стал много читать.

По воскресеньям, получив деньги на дорогу, он ехал в центр, гордо предъявлял офицеру читательский билет и проходил за ограду, шел мимо очереди в Мавзолей, в юношеский филиал Истринской библиотеки. Там, в недетской тишине, в высоком сумрачном зале уважительные, неторопливые библиотечарши выискивали для него вытребованные книги, и, устроившись поудобнее, он склонял над ними голову. От книги он хотел совсем немного — чтобы она не повторяла известного ему, и как правило, у такой книги было странное какое-то, временное название. Мир действительно был неисчерпаем, но не было в нем места для Кузьмина.

Однажды, утомившись и соскучившись над медленно разматываемой историей, он поднял голову и напротив себя увидел белобрысого Алешку Галкина, с которым познакомился в пионерском лагере, вступившись за него перед Косым. (Косой мордовал всех подряд, особенно безошибочно находя паникеров. Кузьмин, вышколенный в дворовых драках старого шумного дома, коротко двинул Косого в ухо и, вывернув ему карманы, вернул Алешке ножичек. Остальную добычу он сунул себе в карман, чем сильно разочаровал Алешку. И теперь Алешка несколько свысока разговаривал с Кузьминым.) Кузьмин соврал, что им по дороге, они разговорились, и после нескольких встреч в библиотеке Алешка ввел Кузьмина в свой дом. Вот тогда и началась эта дружба с Галкиным-старшим, В. А.

Кузьмину сразу же понравилась привычка В. А. гримасничать, щурить правый глаз, задавая ехидные вопросы.

Маленький, плешивый, В. А. стремительно двигался по квартире, оставляя за собой следы беспорядка — раскрытые книги, передвинутые с места на место стулья, папиросный пепел. Если его монолог затягивался, то постепенно на столе вырастали завалы книг — цитируемых, оспариваемых или просто взятых на всякий случай.

...Были тихие воскресные вечера за накрытым скатертью столом под шелковым, в те годы уже вышедшим из моды абажуром с бахромой, с чаем, неумотительными разговорами. Были дивные рассказы в лицах — о гениях интуиции, их видениях и миражах, об озарениях, нелепых ошибках и пустых капризах, слепых заблуждениях, о высоте помыслов и убогости средств — из уст бескорыстного человека, теперь работающего на тихой должности, спрятавшегося сейчас от напасти и наветов на нелюбимой работе, человека невыговаривавшегося и тайно надорвавшегося. «Гений популяризации», — отзывется когда-нибудь о нем Кузьмин.

Если бы не долговязый, скептически настроенный ко всему на свете Алешка (из отцовского уголка на диване зло и ехидно комментирующий рассказы В. А.), если бы не откровенное любопытство его мамы к подробностям жизни генеральской семьи Кузьминых, сконфуженно обрываемое В. А., если бы не тень неуважительности в их отношении к В. А., то дом Галкиных стал бы для Кузьмина незамутненным источником.

Общаясь с В. А., он узнал всю меру своего невежества и безмятежно принял это к сведению. Но пришло время, и лучший в мире слушатель стал задавать вопросы, и их опережающая рассказ дальновидность поразила В. А. Он осторожно подслушал Кузьмину давние работы отечественных генетиков: полупантастические, масштабные, они будили воображение, переступая через скучные мелкие факты, недоказуемость некоторых положений.

Кузьмина поразил рассказ В. А. о Кольцове. В. А. работал с ним и объяснил грузного человека, сумрачно косящегося на тихую лабораторную возню, человека с чудовищной интуицией, заменяющей ему и электронный микроскоп и биохимическую лабораторию.

Не ведая робости, Кузьмин спрашивал в который раз:

— А как же это он делал?

У В. А. начинало пылать лицо, потел нос, он метался по комнате под ожидающим взглядом Кузьмина, он пытался что-то объяснить, но рано или поздно ему приходилось выдавливать из себя:

— Это талант...

Кузьмин отмахивался:

— Нет, как он это делал?

— Андрюша, есть выражение: «Ученый — это тот, у кого не руки чешутся, а мозги», — понимаете?

Кузьмин не понимал. Кузьмин снимал газетную обертку с возвращаемой книги, устраивался на стуле и начинал задавать вопросы.

Очень скоро В. А. почувствовал царапающую хватку еще молочных зубов Кузьмина, и поразительная легкость, восприимчивость, с которой Кузьмин в споре усваивал труднейшие умозрительные доказательства, удивили его, многоопытного.

Затем, случилось, он однажды перебил Кузьмина. «Этого не может быть, Андрюша», — сказал он твердо, как в былые времена, председательствуя где-нибудь на семинаре. И на него, истребляя все возражения, обрушилось доказательство, которое, он знал, играючи было рождено сейчас, в эту ми-

нута. В. А. откинулся на спинку стула, пряча растерянное лицо в тени. Алешка засмеялся, жмурясь от удовольствия, и, покраснев, В. А. потребовал, чтобы он замолчал. В. А. попросил: «Объясните мне все от начала до конца, Андрюша!»

И Кузьмин развернул перед ним поразительно гармоничную картину устройства своего мира, мира, в котором не было места заданности.

Со смущением и тихим восторгом, как перед неярком открывшейся наготовой совершенства, в отдельных фрагментах этой картины В. А. с изумлением узнал уже раньше рожденные, но ныне объявленные еретическими идеи; недоступные для ознакомления, преданные анафеме, они вдруг стихийно рождались вновь.

Но главное было в диалектичности, естественности, с которой Кузьмин объяснял живой мир: «Не он, а мы случайны! Какой великий дан нам шанс!..»

В. А. перевел разговор на другую тему, и мальчишки уже дурачились, а он сел на диван, закрылся от них газетой, и по нему ударила вторая волна — он испугался. Испугался, что это чудо, искра задохнется. В следующий приход Кузьмина он попытался расспросить его о доме — и встретил отпор. Он угадал причину и, полный сочувствия, навсегда отступился от расспросов.

Он принял на себя добровольное бремя: охранить, напитать искру, вздуть пламя...

— Таких книг, дорогой, еще нет, — все чаще стал отвечать он Кузьмину. — Вот статейку из «Нейчер», свеженькую, я бы мог вам дать. Но ведь вы английский язык не уважаете, не? — Он насмешливо улыбался.

А Кузьмина поражало иногда топтание В. А. на очевидностях, иногда В. А. рассказывал ему вещи, о которых он, Кузьмин, как будто раньше слышал. Однажды они поссорились. В. А. крикнул ему: «Много на себя берете, Андрюша! Ведь вы даже не дилетант! Как вы можете спорить!» Алешка из уголка подал реплику: «Не кричи! Сам говорил, что у него...» В. А. замахал на Алешку руками.

Безошибочно угадав, В. А. открыл Кузьмину Баха и Бетховена и, деликатно промолчав всю обратную дорогу с концерта, был вознагражден трудным «Спасибо!».

Ему же он открыл тайное тайных: дал изданную в 1922 году на шершавой желтой бумаге тетрадочку: «Опрокину мир, разломлю луну! Разбужу грозу, молнией сгорю!» — и, смущаясь, выслушал вежливые комплименты. «Ни черта вы в стихах не понимаете, Андрюша!» — сказал он, странно досадуя на то, что Кузьмин не может, не станет его изначальной копией.

Однажды вечером Алешка прибежал к Кузьмину домой: «Пошли скорей! Отец зовет!» Была зима, но они бежали всю дорогу, не обращая внимания на соблазнительные сугробы и накатанные ледяные дорожки. Алешка бежал очень быстро и все время оглядывался на Кузьмина.

Еще в прихожей Кузьмин почувствовал знакомый запах валерьянки. В. А. лежал на диване, лицом к стене. Узнав Кузьмина по шагам, он просто ткнул рукой в сторону стола.

— Доказали! — сказал он. — Все доказали! Запоминайте, миленький: Уотсон и Криг. Доказали спиральную структуру ДНК.

— Спираль! — ахнул Кузьмин.

— Конечно же! — взмолился В. А. — Экономичко, компактно и чудо как просто. А знаете ли вы, миленький, — взревел он, усаживаясь на диване, —



знаете ли вы, что еще лет двадцать назад на обыкновенном семинаре Кольцов так и сказал — и о радикалах и о нелинейной структуре!.. Боже мой, опоздали мы, Андрюшенька!.. Дайте мне папиросы!! — скомандовал он домашним. — Это же бред! Держать в руках ключи к ядру клетки и получить за это по рукам! Андрюша, миленький! Если — тебе! — когда-нибудь! — примерещитесь что-нибудь такое-этакое! — не болтай попусту! Доказывай! Не спорь! Работай! Пусть все эти шукари, чиновные рожки говорят, что ты сумасшедший! Что ты не материалист! Что ты не читал того-то и сего-то! Плюй!! С Ивана Великого! Доказывай!.. Да дайте же мне, наконец, папиросы! — другим тоном попросил он, и Кузьмин разыскал их на подоконнике.

— Слушайте! — сказал В. А. — Русская наука всегда — со времен Ломоносова! — была на узловых проблемах. Мы же великие! Мы же от громадности своей только глобальными темами и занимаемся, мы же фантазеры! Вот так — с мелком, по досточке — какую гипотезу родили! А чтоб проверить — ни-ни! Спорить — будем, но доказывать — мы гордые, не станем! Ах, Кольцов, Кольцов!.. — В. А. закурил, обвел их всех, сидящих у дивана, обиженным взглядом и приказал Кузьмину: — Идите на кухню и читайте — я журнал на работе украл, завтра он по рукам пойдет, потом его не сыщешь. Дайте ему чаю!!

В первом часу ночи, когда Кузьмин, пришептывая губами, разбирал последнюю страницу труднейшего английского текста, В. А. вышел к нему на кухню, отобрал журнал, перевел последние абзацы и провалил до дома.

— Запомни этот день, — после долгого молчания обронил он. — Началось! Взяли бога за бороду!..

— Алешин папа заболел? — спросила Крестна.

— Да, — сказал Кузьмин, валясь на кровать. — А хуже всего, что теперь ему не поможешь. Сердце у него болит.

— Спи, родной, — попросила Крестна. — Сердце много стерпеть может.

2

Как обычно, весной он становился беспокоен.

Прибывающий на улицы свежий возбуждающий воздух и какой-то резкий свет, дрожащее в небе солнце, давняя детская тревога, случалось, тянули его за двери, но чаще он вдруг испытывал острейшее безотчетное чувство счастья и тогда стремился к уединению. Изо дня в день что-то росло в нем, не сообразуясь со вчерашними планами и сегодняшними заботами, и бродило, вызывая смену настроений. Последней школьной весной Кузьмин повадился лазить через низенькую стену Монастырского сада — прибольничного парка — и однажды увидел Мишку-одноклассника, мелькнувшего в окнах заброшенного корпуса.

Мишка страстно искал клад. Он планомерно и настойчиво изучал весь этот трехэтажный пузатый корпус, начиная от сырого подвала, а Кузьмин, покопавшись немного вместе с ним в хламе, поднялся на чердак этого скелета, в свое время бывшего монастырским приютом, гостиницей, учрежденческим корпусом, жилым домом.

Ветер нанес на чердачный песок тонкий слой земли, и у растрескивающихся стен уже укоренились тонкие деревца; жесткая высокая трава росла

под открытым небом, и какие-то лишайники ютились в сырых углах. Сгнившие тряпки, сломанные стулья, проржавевший и рассыпающийся остов дивана лежали в мало-мальски прикрытых углах, а все открытое пространство было обжито неприхотливой жизнью — травой, деревцами, злой короткой крапивой, жирующей на прахе материи.

Он с удовольствием познавал, что по освоенному травой песку можно смело шагать, твердо ставить ногу, а под сыроватой голью трещат перекрытия, и вся ближняя поверхность приходит потом в шороховатое движение. Чтобы слышать этот, казалось, непостоянный шорох, он ложился на песок и внимал; над ним текло небо с ватными клочками облаков, под ним, покачиваясь, вращалась земля, и, если раскинуть руки, при замирающих ударах сердца приходило освобождение: он воспарял над собственным телом. Сначала отрешенность возникала на мгновения (он с испугом и восторгом возвращался из нее), но ледяная ясность мышления манила, и он повторял эти опыты до бесконечности.

Мишка, разочарованный неудачей — он верил, этот невысокий толстун, обрастающий диким черным волосом, что монахи спрятали где-нибудь здесь камешки и монетки, — поднялся из глубины подвала на крышу и все так же упорно стал простукивать киянкой печные трубы, кирпичные стены. В одной из труб он вскрыл пустую нишу. Когда свет нырнул в нее, ограниченную первоначально розовыми кирпичами, Мишка долго бессмысленно разглядывал что-то в ее глубине, а потом со вздохом сел на песок.

— Чего разлегся? — буркнул он. — Не надеешься, что ли?

— Неинтересно стало, — лениво сказал Кузьмин. — Ну его, клад этот! На фиг тебе деньги, Мишк?

Мишка недоверчиво и даже как-то обиженно посмотрел на Кузьмина.

— Придуриваешься? — Он насупленно оглядел Кузьмина. — Для жизни. К морю, например, съездить. Одеться вот, как ты. У меня папаша не генерал...

— Ты давай папаш не трогай, — предостерег его Кузьмин. И, помолчав, сказал: — На такую жизнь и заработать можно.

— Ага! — Мишка сплюнул. — Уродоваться!

— Если клад не найдешь, будешь ведь уродоваться?

— Как все, — угрюмо согласился Мишка. — Не повезет — я на север от папаши смотаюсь.

— Мишк! — сказал Кузьмин, начиная хихикать. — Я, наверное, дурак — мне денег совсем не хочется... Знаешь, Крестна рассказывала — и деньги у нее были и удовольствия всякие, а счастья не было, одни хлопоты.

— Счастье в труде, да? Это мы учили!

— Ну, а в чем?

— В достатке, уважении, — объявил Мишка. — Ну, в личной жизни...

— Каком, чьем уважении? — спросил Кузьмин. Ему и в голову не приходило, что насупленный Мишка все так точно знает.

— Чего ты привязался? Ну, самоуважении — подходит? — сказал тогда Мишка и еще потратил много лет, работая тяжело и яростно, созревая до этого смысла.

Они приняли в свою компанию Алешку — в качестве эксперта-историка, — и тот, весьма начитанный, указал им места в парке, где следовало бы покопаться. Кузьмин нахотелся до слез, слушая деловой разговор своих компаньонов — так серьезны они были, так рассудительны.

Вечерами, после того, как больных загоняли в палаты, засидевшихся картежников, а то и замершую в укромном уголке парочку спугивала компания деловитых молодых людей с лопатами в руках. Во время этих сельскохозяйственных работ Кузьмин попробовал впервые вино (инициатива Мишки) и табак (Алешка уже покурился).

Они много спорили — заканчивался десятый класс, двое собирались поступать в институты, — лениво ковыряясь лопатами в тяжелой, сырой земле, дурачились. Алешка до икоты боялся вкрадчивых вечерних шорохов и, когда копать и куролесить надоедало, рассказывал им жуткие истории, а они, переглядываясь, шуршали ветками за своими спинами, попугивали его.

Иногда Алешка читал им свои стихи, и замороженный Мишка и притихший Кузьмин были первой его аудиторией.

О, предначертанность случая!

Однажды Мишкина лопата странно скребнула в земле. Они бросили свои шуточки и принялись копать всерьез. Обнажилась округлая стенка бочонка. Ручками лопат они стучали по ней, вызывая глухой звук. Они оглядывались, начали суетиться. Шепотом лоспорили — монастырская казна или монастырское вино?

Уже смеркалось, и они заспешили: подкопав бочонок, откатили его в сторону, заметили, переглядываясь, что внутри него что-то перекачивается.

— Дубовый! — быстро ощупывая бочонок, сообщил им Мишка. — Солидно заховали. Значится, так, как договорились: мне — половина, вам — другая!

— Д-давай открывай, — зикаясь, бормотал Алешка. — Торце-вой обруч сним-ай, дурак.

Им пришлось выламывать дно. В темноте в узкую щель разбитого дна ничего не было видно; они толкались вокруг бочонка, руки их суетились.

— Ну-ка, Леха, снимай куртку, постели — я на нее добро вывалю, — распорядился потеющий Мишка.

Алешка подчинился; втянув голову в плечи и подавшись вперед, он зябко обхватил себя руками. Ноги у него дрожали.

Мишка перевернул бочонок, и что-то, стукаясь о стенки, высыпалось. Сгрудившись, все трое сели на короточки перед бочонком, и Мишка осторожно отвалил его.

— О-о-о! — схватился за щеки Алешка и, опрокинув Кузьмина, сиганув через него, высоко подпрыгивая, ринулся в сторону, прямо на освещенные аллеи парка, навстречу переполошенному собакему лаю. Было слышно, как он икает, ломаясь через кусты.

Воспоминание о выражении Мишкиного лица в ту минуту всю жизнь вызывало хохот у Кузьмина.

— Атанда! — на карачках отползая, шепнул Мишка. Он кинулся к монастырской стене.

На коричневой подкладке Алешкиной курточки белели разъятые косточки детского скелетика, а поодаль — маленький череп.

Кузьмин, сначала тоже подавшийся в сторону, еще посидел над ними, ожидая возвращения ребят, а потом, все сильнее разбираемый смехом, пошел домой. За чаем (по обычаю, все жильцы вечером собирались на кухне — пить чай) Кузьмин прыскал, и пьяненький дядя Ваня, распаренно-красный, чисто выбритый по случаю пенсии, ласково ему кивал, и Кузьмин уже совсем было собрался рассказать им эту смешную историю, но Крестна, царившая за столом, взглядом пресекала его попытки.

— Тот пьяный, хоть и старый, а ты как себя вел! — отчитала она Кузьмина в комнате. — Что за пересмешки!

— Слушай, Крестна... — хихикая, начинал в кото-

рый раз Кузьмин. Наконец ему удалось рассказать ей.

— Ох, дураки! — закачала она головой. — Монастырь-то был женский, захудалый! Ослушник там держали! Косточки-то хоть зарыли? Отведешь меня завтра.

Она разбудила Кузьмина чуть свет, перелезла вместе с ним через стену. Оглядев разорение, озаченно покачала головой.

Она встала у ямы на колени, сложила на ее дне косточки, подкатила к ним черепочек. Потом бросила в яму горсть сырой глины и выжидательно посмотрела на Кузьмина. Он бросил на косточки горсть земли, и в нем что-то изменилось.

— Засыпай, — сказала Крестна.

Кузьмин взялся было за лопату, но происшедшая в нем перемена подтолкнула его, и он стал глину сыпать в яму руками.

— Засыпь ровней и дерном прикрой, — настояла Крестна. — Чтобы больше его никто не беспокоил. — Она встряхнула Алешкину курточку и подала ее Кузьмину. — Ну, иди!

Кузьмин отошел и услышал, как Крестна сказала: «Ну, прощай!» — поклонилась и пошла к стене. У самой стены они оглянулись.

— Вот матери бываю! — высказался дома Кузьмин. — Людоедки!

— Ей воздалось, Андрюша, — шепнула Крестна. — От кого же это? Может быть, от бога?

— От людей, от совести... Назови это так.

— Так не бывает, — зло сказал Кузьмин. — Такие люди не меняются. Это не люди вообще-то.

— А я? — Крестна подняла на него полные боли, с проступившими слезами глаза. — Какая я, Андрюша?

— Ты? — изумился Кузьмин.

— Я обманула первого своего мужа, Николая Ивановича, и он застрелился. — Она говорила это и все выпрямлялась, поднимала голову, становилась огромной, а он, Кузьмин, — все меньше и меньше. — Да, Андрюша. А в день моей второй свадьбы умерла Лялечка — поперхнулась наперстком. — Крестна судорожно вздохнула. — А того мужа я бросила в восемнадцатом году... И он умер в тюрьме, от сердечного приступа...

Кузьмин с вытаращенными глазами затряс головой.

— Неправда, Крестна! — останавливая ее, сказал он.

— Это было, миленький мой. Не бойся правды обо мне. Но посмотри на меня — разве это живое лицо? — Она потрогала, как чужие, лоб, щеки и губы. — Я их не чувствую — их нет... Прости меня! И пойми: все плохое делается от головы, а хорошее — от сердца. Живи сердцем!

Кузьмин не понимал ее. Из-под него выбили опору, и он висел над землей, и не за что было схватиться.

Он подошел к Крестне, уперся лбом в жесткое ее плечо.

— Какая страшная штука жизнь! — решил он, помолчав.

— Только когда оглядываешься, — тихо возразила Крестна. — Люби меня по-прежнему, Андрюшенька! — сказала она, всматриваясь в его лицо. — Я тобой свою душу спасаю.

— Я люблю тебя, — ответил Кузьмин. И она прижалась к нему лицом. — Выпей валерьянки, — заволовновался он, — сердце болит, да?

— Не волнуйся, — отстраняясь, сказала Крестна. — У меня сердце крепкое. Мне еще тебя выводить а люди надо. А человек живет, пока что-то не сносится: душа или тело. Дело держит человека, душу

ему укрепляет. — Она приклонила к нему голову. — Тебе в школу пора, — напомнила она, с любовью оглядывая его, и понаблюдала, как он собирается.

Он ушел, а она прилегла отдохнуть. Закрыла глаза и вспомнила тот жаркий летний вечер, почти ночь; затемненный город, глухую тишину пустых улиц, свою слабость и облегчающие слезы в живой теплоте храма, общего горя и общей молитвы. В тот день она получила повестку-похоронку на третьего своего мужа, но было много работы, она печатала до спазма в пальцах, и внимательный начальник канцелярии отпустил наконец ее отоспаться и выплакаться. Город, куда она попала с эвакуированным наркоматом, был мал, жили в тесноте, раздражающей ее, и, придя к себе «домой», слушая тихий плач детей соседки, она припомнила недавний рассказ знакомого о хворающем сыне племянницы. Ей представилось, что он так же скулит, но тут же поняла, что дети плачут вместе с матерью-вдовой, и, взвинченная этой всей безысходностью, она кинулась на улицу, на работу, но, не дойдя до нее квартала, свернула, вошла за ограду церкви. В храме она пробыла до утра, отходя и согреваясь проступившими наконец-то слезами. С того дня лицо у нее стало меняться. На службе к этому долго не могли привыкнуть — она чувствовала на себе удивленные взгляды бывших поклонников, и у нее иногда, против воли, появлялась на губах улыбка — они казались ей, старухе, детьми. Их удивление прошло, странно сочетаясь с испугом и настороженностью, когда она сдала в банк прежде сберегаемые и тщательно запрятанные драгоценности — подарки второго мужа, «цацки».

Когда она вспоминала о том лете, у нее начинала кружиться голова.

Сейчас она встала, оправила постель и пошла на кухню — надо было готовить обед.

— Извини, Анна Петровна, — сказал дядя Ваня, — за вчерашнее. Фронтовики собрались, ну и... Андрюша...

— Андрюша своему делу смеялся, — успокоила его Крестна.

3

Приближались выпускные экзамены и конкурс в институт, а на тумбочке у Крестиной кровати в английском, тонком, с подкладкой конверте лежало письмо, в котором впервые за эти годы четким мелким почерком отец обратился к Кузьмину.

Почти три года Кузьмин писал родителям поздравления к праздникам и дням рождения, трафаретно сообщая об отметках, благодаря за подарки. А Крестна округлыми буквами дописывала короткие письма, дважды в год отсылая им фотографии Кузьмина. В ответ шли наставительные письма, изредка, с оказией, они получали посылки с вещами — пальто, костюмами, обувью. Все эти вещи всегда были впору, потому что на обороте фотографии Крестна указывала рост и размер обуви Кузьмина.

И теперь, круша привычную жизнь, с папиросной бумаги он услышал громкий голос отца: «Дорогой Андрей! Все эти годы я не имел повода упрекнуть тебя, так как ты сознательно относился к своим обязанностям и сильно подтянулся в смысле учебы. Надеюсь, что теперь ты не тот равнодушный мальчик, которого мы с мамой со страхом и болью оставили на Родине».

Думаю, что аттестат зрелости у тебя будет посредственным, и это почти не оставляет тебе шан-

сов для поступления в серьезный институт. Это расплата за легкомыслие и недисциплинированность, которые ты проявлял раньше. Анна Петровна сообщила нам, что благодаря знакомству с биологом ты выбрал медицинский институт. Это огорчает меня».

Я всегда чувствовал глубокое уважение к медикам, ты много раз слышал о том, что во время Великой Отечественной войны они спасли мне жизнь. Это дает мне право, помимо родительского долга, сказать, что у тебя, к сожалению, нет качеств, которые позволят стать тебе настоящим врачом: усидчивости, упорства, воли, чувства ответственности. Я пишу об этом, потому что чувствую себя в ответе за твой правильный выбор жизненного пути.

Я хотел и сейчас хочу, чтобы ты знал — только армия может помочь слабовольным людям. В армии, где сама структура пронизана дисциплиной, человек неглупый обязательно обретает чувство собственного достоинства, так как обязательно находит свое место, как говорится, в общем строю.

Подумай обо всем этом, Андрей, и, прошу тебя, ответь мне, несмотря на свою занятость, хотя бы коротко.

Крепко целую. Передай мою благодарность и пожелания здоровья Анне Петровне. Твой папа».

Письмо, адресованное лично ему и прочитанное сначала им, а потом Крестной, лежало на тумбочке, нарушая привычный порядок.

— Зачем ты написала им? — недовольный, спросил он Крестну.

— А чего же прятаться? Ты решил — держи ответ.

Он все тянул с ответом, как вдруг пришла телеграмма — мама и Николашка возвращались домой.

...Сломали на знакомой двери разошедшиеся печати, он вошел в как бы уменьшившуюся квартиру; он узнал, казалось, позабытый запах родного дома.

Крестна мыла окна; Кузьмин безошибочно расставил мебель, снял наволочку, жесткую и желтую, с люстры, и вечером, когда ее зажгли, чтобы попить чай на дорогу, он оказался почти дома, перенеся на три года назад, в невозможное, оцепенелое время.

Загудел тихо лифт, поднимая кого-то к ним на этаж, и знакомый озноб пробежал по его плечам. Он, кажется, побледнел, и Крестна заметила это.

— Тесно здесь будет, — сказала она.

— Можно я у тебя жить буду? — не глядя на нее, спросил Кузьмин.

— Хорошо, — отозвалась Крестна и отвернулась.

Он поразился тому, какая у него красивая мать.

— Войдем в купе, — сказала мама, и быстрые слезы в ее прекрасных глазах исчезли.

Они сели на мягкие диваны и молчали, любовно переглядываясь.

— Ты совсем не изменилась, Крестна! — улыбнулась мама. — Даже помолодела.

Крестна отмахнулась:

— Вот ты, Ниночка, прямо настоящей дамой стала. — Говорила она это одобрительно и любовалась мамой. — Коля-то большой какой!

— У меня часы есть! — сказал пригоженький Николашка. — И тебе купили, — сообщил он, сидя напротив Кузьмина и разглядывая его, как будто зная про него что-то особенное.

— Посиди спокойно, Коля! — строго сказала мама. — Как твои экзамены, Андрюшенька? — Она смотрела на Кузьмина, и ему казалось — гладила рукой по лицу.

— Нормально,— прокашлявшись, ответил Кузьмин.— Четыре, четыре.

У мамы были новые, нерешительно округлые жесты. Он поразился мягкому, ласкающему движению руки, когда она взяла сумочку, длинный цветной зонтик, поправила завиток волос над нежным ушком. От нее чуждо пахло, она была новой. Он опять удивился, поняв, что эта красивая женщина — его мама.

Едва вошли в квартиру (мама радостно и как-то растерянно огляделась в комнате, провела-погладила рукой сервант), как Николашка потребовал еды. Кузьмин повел его мыть руки.

— А где ванна? — плаксиво спросил Николашка.

— Нет у нас ванны.

— Где же ты моешься? — приговаривая заревел, спросил он.

— В бане.

— В сауне? — поморщился Николашка.— Я не люблю сауну, а папа любит, но ему нельзя. А кто тебе спитку трет?

— Дядя Ваня,— улыбнулся Кузьмин.

— Кто это — дядя Ваня, твой папа?

— Смотри, рукава намочил, балда,— сказал Кузьмин.

Он чинно сидел за столом, деликатно, по кусочку, без хлеба сглатывал неведомой нежности колбасу, смаковал крепчайший кофе. Рядом с чашкой, в нетерпеливо и неаккуратно надорванной упаковке лежали пластинки жевательной резинки, и он косился на них. Взять ее он решился только после того, как Николашка, намусорив, заявил, что он сыт, и потребовал конфет. Мама, слегка нахмурясь, протянула Николашке упаковку, а потом, спохватившись, предложила ее и Кузьмину. Потом Кузьмина отправили укладывать Николашку спать в ящики за портьерой, на родительской кровати под голубым одеялом.

— А пижама?

— Поспи сегодня без пижамки, Коленька,— отозвалась мама.— Куда она запропастилась?

Мама рылась в распахнутых чемоданах.

Николашка притворно захныкал.

— А ну, давай спи,— шепотом сказал Кузьмин.— Не то щелбан заработаешь!

Николашка прикрыл один глаз, выложил ручки, пай-мальчик, на одеяло, но хитрил. Кузьмин угрожающе выпятил подбородок. Тогда Николашка что-то очень быстро сказал ему по-английски и замер, с испугом и интересом ожидая реакцию.

— Спи, иностранец! — сказал Кузьмин и, отвернувшись, еще долго улыбался.

Когда Николашкин нос уткнулся в подушку, полуоткрылся рот, лицо потеряло капризное выражение, Кузьмин вышел в комнату.

Мама и Крестна с удовольствием, молча, рылись в чемоданах, извлекая из них массу красивых вещей. «Все для тебя!» — довольным голосом сказала мама, и Кузьмин, повинувшись странному чувству, попытался благодарно ее поцеловать. С удовольствием он надел лишь тяжелые часы; весь остальной гардероб смутил его изобилием.

«Что бы почувствовал Мишка, успокоение?» — подумал он. Самоутверждающий вид — оценил он себя, глядя в зеркало, однако мама и Крестна находили, что он очень хорош. Они занялись какими-то воздушно-легкими женскими вещами, а он сел в угол дивана и стал пистать кипу журналов, привезенных мамой.

Там было много боевой техники. Со вкусом снятая, она вызвала восхищение своим законченным видом: в танках ощущались тяжесть и ломовая сила, в самолетах — коварная стремительность, а ракеты

едва удерживались на стартовых площадках. В статьях, помеченных отцом, были угрозы, хвастовство, насмешка.

— Там интересно жить? — спросил Кузьмин, листая журнал мод.

— Нашим — очень трудно,— отозвалась мама, перебирая какие-то свертки в чемодане.— Сумасшедший мир. Для них войны как будто и не было... Несутся без оглядки куда-то... Лицо у мамы было озабоченным — она не могла что-то отыскать в чемодане.

— А как Вася? — негромко и как бы между прочим спросила Крестна.

— Он подал рапорт о возвращении,— рассказывала мама.— Очень устал. И еще...— Мама строго и внимательно посмотрела на Крестну и Кузьмина.— Он считает, что его место здесь, дома — там забыли весь пережитый ужас, опять лезут на рожон. Ну, а папа,— сказала она Кузьмину, откладывая какую-то вещь,— ты ведь знаешь, Андрюша,— человек долга. Он не идет с совестью на компромиссы.

— Что, может быть война? — тихо спросила Крестна. У нее было очень напряженное лицо, в наступившей тишине заметил Кузьмин.— Ведь прошло всего одиннадцать лет!

— Как папа жалеет, что ты не хочешь стать офицером! — сказала мама со вздохом.— Но вот в этом — весь он.— Она протянула Кузьмину тяжелый сверток — «Биологию» Вилли. На суперобложке отец написал: «Желаю — с полной самоотдачей и без жалости к себе».

— Вот тебе мой отчет,— сказал Крестна маме, доставая из своей сумки толстую тетрадь, в которой все это время она вела бухгалтерию.

— Какой отчет, Крестна! — Мама оттолкнула от себя тетрадку.— Сколько ты для меня сделала!.. Как мне тебя отблагодарить!..

— Ну, обживайтесь,— сказала раскрасневшаяся Крестна, пряча тетрадь обратно в сумку.— Пойдем мы с Андрюшей... Пусть у меня поживет, а ты пока устраивайся, Ниночка.

Мама растерянно оглянулась на Кузьмина:

— Как же так?

— Ему ж заниматься нужно,— тихо сказала Крестна.

— Я каждый день к тебе приходить буду! — сказал смущенный Кузьмин.

— Так... неловко... — Мама смотрела на него, на Крестну.— Только пока экзамены, да?

Дома Крестна сразу же стала развешивать их обновы в своем большом шкафу — каждую вещь она еще раз ощупывала, оглаживала — и, покончив с этим, села, довольно улыбнувшись Кузьмину:

— Что, хорошая книга?

— М-м-м! — Кузьмин помотал головой, не отрываясь от текста.

К маме он приходил после каждого экзамена; иногда гулял с Николашкой во дворе, вводя хныкалку в традиционно спящий коллектив бывшего своего мира. А мама была озабочена ремонтом, оформлением документов, Николашкой; Кузьмин все сильнее любил ее, совсем незнакомую, ничем не напоминающую прежнюю тихую, молчаливую, но такую родную маму. Теперь почему-то он не мог вернуть ей маленькую записочку, подобранный им с пола, когда он расставлял мебель: «28 сентября. Поезд № 129, путь 6, вагон 9. В 13.40. Сказать про горло у Андр.» — последнее, что мама написала перед отъездом.

Потом мама и Николашка уехали на юг, а Кузьмин, беззаботно наплясавшись на выпускном вече-

ре, подал документы в медицинский институт, лично сдал экзамены и был принят.

Отец приехал, когда Кузьмин уже веселился на зимних каникулах в спортлагере, и встретились они не сразу

4

В ответ на мою просьбу профессор Ю. Ф. Лужин написал: «Студенческий научный кружок нашей кафедры в те годы особой любовью студентов не пользовался... Тем более было неординарно, что в кружок пришел второкурсник, изменив кружку при кафедре патологической физиологии, увлечению второкурсников.

Руководя кружком (я был доцентом), я следовал правилу развивать способности студентов к самостоятельному поиску, ограничивая, впрочем, тематику кругом интересов кафедры.

Проблема биологических стимуляторов и их воздействия на человеческий организм не была научной темой кафедры, и, к слову сказать, широких исследований по ней не проводилось ни у нас, ни за рубежом. По-видимому, за массой дел я выпустил Кузьмина из виду, а потом, часто видя его работающим вместе с ассистентом кафедры Тишиным Б. Б. (ныне профессором, зам. директора института фармакологии), решил, что они проводят одно из тех крупных экспериментальных исследований, которые создали имя уважаемому Б. Б. Тишину. В тот период Кузьмин как-то отделился от кружка, перестал посещать его заседания. Поэтому, когда в октябре 1961 года (я восстановил это по архиву кружка) Кузьмин предложил мне заслушать материалы его трехлетней работы, я, как говорится, «ухватился» за это предложение — зная наверное, что речь идет о фрагменте из работы Б. Б. Тишина. По этой же причине я не потребовал предварительного представления текста доклада.

Предупредив руководителя кафедры — покойного академика АН СССР Агеева А. С. — и сотрудников о том, что, вероятно, будет интересный доклад, я постарался придать тому заседанию несколько официальную обстановку. Помню, что мы заняли не ассистентскую, а учебную комнату...

Кузьмин был как-то особенно тщательно одет и сильно волновался. Помнится, что я обратил внимание на его горящие уши и сказал что-то вроде: «А мы вас за них еще и не трепали!»

Он отказался от привычных в те годы иллюстраций в виде таблиц, а использовал диапроектор (в чем сказало, на мой взгляд, уже тогда его умение пользоваться наиболее эффективными методами работы). Кузьмин вызвал удивление и смех аудитории, испросив час времени для доклада...

Академик еще что-то закруглял в своем вступительном слове, а у него, Кузьмина, уже запылало лицо и глухо забило сердце. Он перешел к экрану, взял холодными пальцами навязанную ему Лужиным указку и, сдерживая себя, будто со стороны слыша свой утончившийся голос, медленно и громко сказал ключевую фразу, эпитафию, неуместный в этой аудитории: «По своему действию биостимуляторы напоминают эффект живой воды, не оставляя, как и она, органических следов своего присутствия».

Краем глаза он увидел, как взметнулись брови академика, поймал его удивленный взгляд и, отвлекаясь от всего этого, глубоко вздохнув, начал докладывать.

Сначала он сухо изложил им содержание таблиц. Он рассказывал им удивительные вещи, великим тщанием добытые будничными вечерами, каникулярными днями; рассказывал им, как сказку, как историю чужих находок и заблуждений, о связях отдельных фактов, об их грозном невидимом значении, и, загоревшись, уже открыто пылая лицом, потеряв над собой контроль и становясь от этого красноречивее и убедительней, не следя за их реакцией, он все сильнее и сильнее убеждался в верности самостоятельно складывающейся концепции. Сейчас, проверяя на слух уже давно про себя подозреваемую истину, он вдруг увидел, именно в эту минуту ощутил ее гармоничность, естественность и, главное, громадность, узрел ранее не замеченные им связи собственной концепции с другими, казалось, необъяснимыми фактами. В эту минуту он готов был крикнуть: «Это истина!»...

...Уже в конце первого курса Кузьмин понял, что учеба превратится в тоскливую зубрежку, если он не приложит к чему-нибудь свои голову и руки. Первая же лекция по патофизиологии, вдохновенно прочитанная молодым профессором, привела его в кружок на этой кафедре. Он взял тему для реферативного сообщения, явился к В. А., с восторгом рассказал о своих планах, но В. А. сморщился, как от лимона. Выяснилось, что и Алешка (он учился на истфаке МГУ) записался в кружок. Прехитрый В. А., помучив скепсисом, допустил их к своей запертой в шкафах отдельной библиотеке, собравшей в себе следы увлечений Алешкиных предков — философа-натуралиста, историка — и биолога, самого В. А. Копаясь в неслыханно интересных книгах, Кузьмин позабыл жалкую тему своего реферата, открыв, что тоненьким, пересыхающим ручейком реку отечественной медицины питало и малоизвестное направление — о воздействии биостимуляторов на человека. Они с Алешкой, склонным к изысканиям чудес и кладов, разделили работу: Алешка создавал историческую композицию этого направления, а Кузьмин по крохам собирал фактический материал.

На заседании кружка он сделал вопиюще-увлеченное сообщение и был побит камнями — за отсутствие критического отношения к чудесам этих ветхих старичков и земляных бабушек, пророков и колдунов.

С удовольствием выслушав рассказ Кузьмина о его позоре, В. А. подсказал: «Иди в фармакологию». И в течение всех этих лет подкармливал его свежайшей зарубежной информацией. «А это не блеф?» — возвращая очередной журнал, спрашивал Кузьмин. «Все ваши учебники — просто Ветхий завет, сборник анекдотов и урна для праха!» — кричал В. А.

Сначала Кузьмина волновали, влюбляли и просто разили наповал сами факты. Он долгое время пребывал в восторге от самого процесса их добычи. Но вот они стали складываться в таблицы, в них непонятно сосуществовать, и Кузьмин, еще продолжая заниматься добычей этой руды науки, начал время от времени задумываться, разглядывая результаты своих трудов. Он показывал таблицы В. А., Тишину, спрашивал их совета. Оба они, казалось, сговорившись, отвечали ему: «Здесь что-то есть...» Он сам чувствовал это и долго ждал какого-то откровения, озарения, искал ответ в чужих работах...

Мудрость пришла к нему тихим шагом. И вот однажды, прочитав последнюю страницу очередной статьи, он ощутил себя изменившимся — он ясно и определенно знал, что известные ему объяснения фактов его не устраивают. Незаметно для себя он



стал фантазировать, и медленно, очень медленно, но всегда рывками, ступеньками вверх, что-то стало прорисовываться, и в таком законченном виде, что он не сомневался в истинности.

...И теперь, заканчивая сообщение, он легко разделился на две части — одна его половина еще делала последние выкладки, управляла его рукой, подававшей знаки ассистирующему за диапроектором Тишину, языком и телом, а другая — со знакомой легкостью уже жестоко препарировала его собственный доклад, и, наконец, словно возвращаясь из полета и складывая крылья, он оглянулся на высоту, в которой только что был, испугался ее и не сказал — сбробел, засмутился — заранее приготовленное: «Эти данные подтверждают известное мнение, гипотезу о том, что в основе всякой болезни лежит временная несостоятельность организма или органа и, следовательно, средство лечения любой болезни находится в самом организме. Его надо только возбудить».

Смолчав на этот раз, спрятав эту фразу, он смутил себя навсегда, ибо сказано было: «Смутное чувство бездонно».

Закончив, он развязно махнул рукой — давая знак Тишину, — и сел у экрана, мгновенно вспотев и почувствовав слабость, дурноту и почему-то стыд.

Академик, потыкивая карандашом в листочек с повесткой заседания кружка, сидел задумавшись. Брови у него были огорчительно-удивленно подняты. Кузьмин увидел серебристое сияние седой его шевелюры на макушке и усмехнулся про себя мысли о возможном символическом значении этого сияния.

Лужин, приоткрыв рот, озадаченно и растерянно смотрел на Кузьмина и, когда они встретились взглядами, сморгнул и, встряхнувшись, деловито завертел головой.

Тишин, издали поглядев на Кузьмина, чуть-чуть усмехнулся. Ассистенты и кружковцы перешептывались, поглядывая на Кузьмина.

— Кто хочет высказаться? — прокашлявшись, громко спросил академик.

После минуты тишины он сказал:

— У меня есть несколько вопросов, э-э, Андрей Васильевич.

Отвечая ему, Кузьмин рассказал, что он пользовался аптечными препаратами, что опыты с культурами тканей он ставил с сотрудниками институтов морфологии и рака, что микрофото делались там же, что он читает на двух языках и что он сердечно благодарит Тишину за помощь и консультации.

Отмахнувшись от убогих вопросиков Кузьмину с мест, академик сказал:

— Мы имеем дело с законченным исследованием. По уровню исполнения — на диссертационной глубине, — заключил он, поглядев на реакцию Кузьмина поверх очков. Потом он их поправил. — Ряд приведенных фактов принципиально нов, и их достоверность не вызывает сомнения. Разработана оригинальная методика... Академик и в самом деле бормотал стандартные фразы, как на какой-нибудь защите. — Однако, — академик встал, набирая в голосе и канонизме, застегнул все пуговицы на пиджаке, — однако бросить эту работу, не оформив ее соответствующим образом, было бы позором и бездарностью. — Он повернулся всем корпусом и уставился на Кузьмина. — Что это вы сидели в уголке три года? Где публикации? — Академик свирепо поглядел на Лужина и Тишину. — Боря, — сердито сказал он Тишину, — вы-то куда смотрели?!

Потом выступали ассистенты, старательная староста кружка, а Тишин смолчал. Только один раз он заговорщицки подмигнул Кузьмину.

Уже расходились; Кузьмин, делая вид, что не замечает любопытных взглядов, упаковывал отцовский диапроектор, когда в дверь заглянул Лужин и увел его в ассистентскую, где на диване без пиджаков и с чашками в руках сидели академик и Тишин. Лужин сунул в руки Кузьмину чашку горького кофе и подпихнул его к стулу, поближе к дивану. Здесь Лужин держался по-хозяйски гостеприимно. Сладкая улыбка на его лице о многом сказала Кузьмину.

— А на экзамене наш Андрюша едва на четверку вытянул, — насмешничал Тишин. — А еще надежда кафедры!

— Это пустяки, — сказал академик, глядя в чашку. — Я у вас и вовсе «неуд» получу. Суть в другом, — сменив тон и явно прицениваясь к Кузьмину, протянул он, — хватит ли у этого милого юноши терпения, а не старания доказать то, что он сегодня местами декларировал? Насчет живой воды, а?

— Хватит, — после паузы хриплым голосом сказал Кузьмин.

— Ну, договорились, — сказал академик. — Через год — понимаете? — через год посмотрим! Не понимаете! — Академик улыбнулся. — Я о распределении вам толкую, чужак вы этакый!

Тишин тоже насмешливо и укоризненно, как на глупого, смотрел на Кузьмина.

— Спасибо, — сказал Кузьмин и встал. Пол под ним качался.

— А работку со всеми официальными справочками мне через недельку представьте. И каждый квартал — мне отчет!

Только по дороге (он ее и не заметил) до Кузьмина дошло все значение этого «Посмотрим!».

Ах, как он мучился с этой своей первой публикацией! Потом ни одна статья так дорого ему не стоила — тогда он отмутился за все свои работы сразу.

То непомерно большая, то куцая, она изводила его всю неделю, не отпуская от себя ни на минуту, отравляя утро и вечер. Он не мог смотреть в сторону машинки — повторенные по многу раз фразы бесили его своим утраченным смыслом, невняtnостью. Он пробовал вычеркнуть их, написать по-новому и бился над бумагой с сотнями слов; но с неумолимостью истины рано или поздно из-под ленты выбивалась та, первая, исходная фраза.

Наконец вечером, накануне последнего дня, более или менее чисто перепечатав работу, он решил сократить статью, сведя все таблицы в одну, и провозился до ночи.

Среди механической работы, которую он разнообразил тихим насистыванием, пританцовыванием и всевозможными междометиями, ему стала мешать навязчиво пробивающаяся со столбцов таблицы некая указательная тенденция результатов, но он уже был утомлен — и отмахнулся от нее. Со слипающимися глазами, найдя в себе силы убрать машинку в футляр, выбросить мусор и истерзанные черновики, он тихонечко проскрипел ступеньками к себе на антресоль, повалился на кровать. Сразу уснуть он не смог.

Когда отпустила затекшая спина, прошла тяжесть в затылке и сделался прохладнее лоб, в голове стали суетиться обрывки мыслей, в ухо то басом, то дискантом полез голос академика: «Через год — через год!» — шевельнула хвостом мысль о зачете по любимой хирургии... Когда он ворочался, эти обрывки, казалось, пересыпаются, стучаясь друг о друга, в голове.

Чужь какая-то, лохмотья, подумал он. Спи-засни, попросил он, оставь все для подкормки. Тишин

прав — все стоящее не пропадает. Он сел, достал из-под матраца сигареты, закурил и стал вглядываться в мрак, рассеиваемый лампадой, там внизу, под антресолю. Когда огонек стал подпалывать ему нос, он пригасил сигарету и лег с закрытыми глазами.

Сначала он лежал, уговаривая себя: тише, тише. Сон пришел, как пробуждение — испуганное, внезапное. На миг в голубом свете перед его глазами вспыхнула таблица, странным образом, бессистемно раскрашенная. Сворачиваясь в лист, обретая трехмерность, она приманивала к себе, а когда он потянулся к ней рукой, стала уклоняться. Наконец эта борьба надоела ему, во сне еще он притворился равнодушным, безразличным, и она встала перед ним. Но как только он внимательно взгляделся в нее, она расплылась, обманув его.

Плавая по самой поверхности сна, в этой борьбе он переваливал свое неуклюжее длинное тело через какой-то край и с этого края неведомыми еще анализаторами схватывал кусочек успокоительной тишины комнаты, ровное дыхание Крестны, легкие отблески лампадного света и только тогда позволял себе вернуться в сон.

Утром он проснулся невыспавшимся, с равнодушно-оценочными мыслями, но с тем знакомым чувством наполненности, которое всегда означало, что из глубины сна он вынес находку.

Впереди был ужасно суетливый день — он уже цедился сереньким светом через итальянское окно на его антресоли; внизу, на уголке обеденного стола, аккуратной стопкой листов лежала перепечатанная статья (он даже обрадовался ее законченному, оформленному виду), а Крестна в углу шептала молитву.

Вчера на лекции Маринка написала ему: «Великий ученый! Если ты не сводишь меня на этой неделе в кино — берегись!» «Идилице мое, я делаю карьеру, образумься!» — ответил ей Кузьмин. Сейчас он решил, что отдаст статью и уведет Маринку в кино вместо сдвоенной лекции, а потом рванет в лабораторию.

Крестна с поклонами трижды перекрестилась, провела рукой, как умылась, по лицу и отошла от икон. Кузьмин осторожно покашлял.

— Когда же ты лег?

— Еще темно было, — ответил Кузьмин, потягиваясь. — Слушай, Крестна, а что за сны с четверга на пятницу?

— Все сны вещие, — в который раз сказала ему Анна Петровна, Крестна.

5

Она скорострительно умерла в декабре 1962 года, перед самым Новым годом.

Кузьмин пришел из института рано, сбегав с лекции по психиатрии, предполагая пообедать, заглянуть в магазины и, дождавшись конца рабочего дня деятелей науки, засесть в лаборатории института рака с новым интересным знакомым — аспирантом этого института Н., очень целеустремленным парнем.

В почтовом ящике он обнаружил открытку из «Медкниги» на переводную монографию и, на ходу размышляя об этой книге, поднялся к себе на третий этаж. (В доме не было лифта. Когда-то громадные многокомнатные квартиры разгородили на коммуналки, и теперь часть жильцов поднималась к себе по гулкой парадной лестнице, а Кузьмин — по черной, узкой, халтурно покрашенной. На стене ме-

жду вторым и третьим этажами сохранились еще давнишние его надписи. Проходя мимо в хорошем настроении, Кузьмин перечеркивал их пальцем — и они уже почти стерлись.)

За разболтанной, никогда не задерживающей кухонные запахи дверью, слышался голос диктора радио; ключ лежал в портфеле — и Кузьмин позвонил. В эти часы в квартире оставалась только Крестна, и он удивился тому, что она не идет, шаркая одной тапочком, открывать ему дверь.

В прихожей, поставив на тумбочку трюмо портфель и мельком взглянув на себя в зеркало, Кузьмин сбросил пальто. Он насвистывал и перед тем, как идти мыть руки, привычно заглянул в комнату.

Крестна лежала на полу у стола, подогнув под себя руки и отвернув лицо. Край платья задрался и был виден конец короткого чулка.

Он сразу все понял — по позе, по обвисшей тишине комнаты. Он подошел к ее телу, ступая осторожно и нерешительно, взял тяжелую ее руку, заглянул в чужое, незнакомое лицо — увидел пятна, широкие зрачки. В руке, подвернутой под живот, была разбитая пилетка, а на краю стола лежал опрокинутый пузырек с глазными каплями, тот, который еще позавчера он принес из аптеки и за которым она потянулась в ту последнюю минуту, когда, сказав ей из коридора «Пока!», он открыл входную дверь.

Он посидел около нее на корточках, с закрытыми глазами, потом, отвернувшись, поправил платье и вышел в коридор.

У телефона он сел на стул и задумался — звонить ли маме на работу. Он вызвал милицию. Через час приехал участковый и какой-то мужчина в гражданском. Милиционеры кое-как допросили его. Он помог им перенести Крестну на ее кровать и сел рядом с ней.

Когда он подписал протокол, участковый пожал ему руку и, вглядываясь в лицо, сказал: «Сочувствую вашему горю. Я сам вызову медиков».

Потом приехали грубые мужики в синих халатах с носилками, а потом он остался один, глядя на непривычно затоптанный пол.

Ему захотелось есть. На кухне, увидев прибранный стол и подумав, что ему придется есть одному последний приготовленный ею обед, он почувствовал ужас.

На улице было слякотно. Навстречу ему с рынка несли жидкие елочки, оранжевые шарики апельсин в авоськах, все вокруг торопилось, толкали его плечами, ношей задевали по ногам. В кафе на него странно посмотрела кассирша. Он ел теплые разваренные пельмени и считал их. Потом он шатался по улицам; когда замерзало лицо, заходил в первый же подъезд, вставал у батареи отопления и грелся. Внутри у него была пустота, и чужие случайные слова долгим повторяющимся эхом стучали в голову.

Когда он открыл входную дверь, в коридор вышли соседи: дядя Ваня, одинокая соседка-старушка. Лица у них были уже заплаканы; от небритого дяди Вани застарело пахло неухоженностью, он обнял Кузьмина, зарыдал ему в ухо... Они выпрашивали подробности, охали и снова принимались плакать. Утеревшись, дядя Ваня сказал: «Вымолила Анна Петровна себе прощение — легко-то как померла!»

Он позвонил родителям. Мама заплакала, сказала, что сейчас придет. Пришли они через час.

В комнате, оглядевшись и поплавав, глядя на Крестнину кровать, тумбочку, мама по-простому высморкалась в платок.

— Ах! — сказала она. — А ведь Крестна, бедненькая, предчувствовала! На прошлой неделе всю родню обошла, в кои-то годы! К нам приходила, — ска-

зала она Кузьмину.— Говорипа, что поздравительные открытки всем отправила... Надо смертное ис-кать,— сказала она Кузьмину.

Отец, Николашка и Кузьмин сидели за столом, а мама поднялась, открыла шкаф. На полке, в глубине, лежал как-то отдельно большой узел. Развернули грубый холст, Кузьмин увидел белые, почти физкультурные тапочки с неудобной твердой подошвой. Под бельем лежал конверт — «Кузьминым».

Из него на стол выпали две сберкнижки, гербовая бумага и сложенный вчетверо лист почтовой бумаги.

«Дорогие мои родные! Пришло мое время. Благо-словляю вас на долгое житье в добром здравии, благополучии и радости! Не скорбите обо мне сер-дцем, вы знаете, что я свое прожила.

Простите мне невольные вины, я же прощаю вам. Спасибо тебе, Ниночка, и тебе, Вася, за то, что украсили мою старость Андрюшенькой, очистили мое сердце.

Положите меня между Николаем Ивановичем и Лялечкой, поставьте православный крест, памятни-ков не надо. Все заботы о могиле я поручила хра-му Св. Петра, там же меня и проводят.

Деньги на похороны и обряд отложены, Ниночка, на твоё имя на отдельную сберкнижку. Полным на-следником всего (здесь отец с мамой перегляну-лись) остального имущества оставляю Андрю-шеньку. Бумага в этом конверте.

Андрюшенька, любимый мой!

Благословляю тебя на жизнь, в счастье и уважении. Живи достойно. Прощай. Прости.

Прощайте, мои родные, благослови вас бог!»

Похороны оказались неожиданно торжественными и легкими, несуетливыми для Кузьминых.

Еще когда автобус подъехал к воротам кладби-ща, их удивило скопление старушек в черных плат-ках, стариков с сизыми носами; знакомая Кузьмину молчаливая и суровая старуха (никто из Кузьминых ее чина так и не узнал), жестом раздвинув толпу и так же коротко выслал из толпы незаметных кре-пеньких мужичков — помочь вынести гроб, — покло-нилась маме, приняла, ковшиком, из рук в руки, деньги, туго завернутые в платок. Пристойно, спер-воначалу подравнявшись, а потом в ногу шагнув, мужички внесли гроб в церковь.

На следующий день, приехав, как им было веле-но, в церковь к трем часам, Кузьмины застали ко-нец отпевания. Гроб нескромно стоял вблизи про-хода, окруженный множеством свечей. От высокого ли мрека, дрожания голосов, запаха свечей, неиз-вестности церемонии у Кузьмина сделался озноб, притом, что видел, слышал и обонял он необыкно-венно ярко.

Кто-то, толкнув его плечом, быстро пробежал к гробу, в котором неподвижно-величественно и уко-ряюще лежала Крестна, заглянул в ее лицо и при-пал к рукам, захлебываясь в слезах и лепете. Этот человек в длинном черном пальто, круглый и корот-кошей, оглянулся на Кузьмина, что-то шепча, и Кузьмин узнал дебила, которого дразнили все маль-чишки в округе, — и содрогнулся.

А тот шептал: «Вечная память, вечная память!»

Кузьмин закрыл рукой глаза. И тотчас рядом ока-залась мама. Он освободился от ее рук.

Долго, с какими-то многозначительными паузами заканчивалось отпевание. Слабоголось хор печаль-но выводил слова, и Кузьмин стал ощущать тяжесть пальто на плечах, подступала дурнота; но тут вы-шел батюшка.

С нескрываемым любопытством, какими-то озор-ными ясными глазами он оглядел всех Кузьминых и

их родственников и сделал приглашающий жест. Мама громко зарыдала.

Кузьмин поцеловал Крестну в белую бумажку на разглаженном спокойном лбу, отошел, издали раз-глядывая ее лицо.

Падал снежок, было очень холодно. Гроб вынес-ли, деликатно подождали (мама замешкалась с кутьей), пока Кузьмины займут свое место во главе процессии. Двинулись мелким шагом к могиле.

Вслед за Кузьминым шел хор, слабо что-то голо-сивший, какие-то дети со свечами в руках догнали его.

«Навсегда, навсегда», — внушал он себе.

Уже у могилы, кружа вокруг гроба, священник среди скороговорки бросил Кузьмину: «Ухо по-три!»

От стука молотка вздрагивала кладбищенская ти-шина, ссыпался с веток снег.

Поминки прошли тихо: были соседи, какая-то старушка (она все благодарила маму за Крестнины вещи), незнакомый пьяненький мужичок. Посидели, выпили и, не зная, о чем друг с другом говорить, разошлись.

Мама вымыла на кухне всю посуду, одарила со-селей закусками и вернулась в комнату.

Отец сидел за столом, как раз на Крестнином уг-лу, сидел на том самом месте, где она упала, и ли-стал библию. Кузьмин как-то отрешенно заметил, что у него стали совсем седые виски и уже набух-ли под глазами мешочки. Надо бы ему сменить лин-зы, подумал Кузьмин, заметив, что отец часто сни-мает очки, трет глаза.

— Пересядь, пожалуйста, — сказал он отцу, и отец пересел на диван, к Николашке, тресожно глянув на Кузьмина.

Мама села к Кузьмину за стол, положила руки на скатерть и сказала:

— Как же жить теперь будешь, Андрюшенька?

Он непонимающе посмотрел на нее.

— Быт как устроишь? — объяснил отец.

— Я все умсю, — вяло сказал Кузьмин.

— Поживи у нас!

— Вам и так тесно. Здесь я буду жить, — вздох-нул Кузьмин.

— Летом переедем, — твердо сказал отец — Дом уже отделяют.

— Тебе надо перевести лицевой счет на свое имя, — подсказала мама Кузьмину. — Ах, Крестна! Обо всем подумала, спасибо!

— Ты ей многим обязан, — с дивана сказал отец Кузьмину. — Но принципиальность сохрани — она хоть в бога верила, но святой не была... Он во-просительно посмотрел на Кузьмина. (Кузьмин вспомнил: «Ты недостойн быть пионером, — проц-дил отец, пристально его рассматривая. — Я исклю-чаю тебя! Сними галстук!» — приказал он и, не дож-давшись, пока заплакавший Кузьмин распустит узел, рванул треснувшую ткань.)

— Вася! — попросила мама. — Сегодня!..

— Ох уж эта сентиментальность, — отец посмо-трел на своих сыновей. Николашка по-волчьему оскла-бился. — Ладно-ладно! — согласился отец. — Мне уже говорили — неделикатен! Ну, пошли!

Уже когда одевались, он сказал наставительно, не удержался:

— Деньгами распорядись с умом. Не так-то их много!

— Может быть, они вам нужны? — спросил Кузь-мин. — Ну, переезд ведь... Он отметил только ост-рое любопытство в дьявольских Николашкиных глазах. — Или не давайте мне денег, я на эти про-живу, Крестнины...

— Что ты! — сказала мама укоризненно. — Это же завещанное!

Они ушли чем-то озабоченные, а он остался, не зная ни где лечь ему спать, ни что делать с обедом, стоявшим в кастрюлях в холодильнике, ни что делать с узлом ее постели, положенным на время поминок на антресоль.

Обед он в тот же вечер отдал дяде Ване. Он выпил с ним водки, но от еды отказался, просто, испытывая впервые странное удовольствие, понаблюдая за тем, как побритый и от этого помолодевший, дядя Ваня ест. И остался у него ночевать.

Негасимая лампадка погасла через день. Он спохватился, внезапно на занятиях вспоминая, что не подлил в нее масла, и бросился домой, но, когда вошел в комнату, иконы были уже темны, а лик Христа невнятен. «Нет тебя!» — сказал Кузьмин ему.

Первого января он вынул из почтового ящика поздравительную открытку на свое имя. Крестна писала: «С Новым годом, с новыми радостями и новым счастьем!..»

В зимние каникулы к нему пришла Маринка (она выскочила все-таки на пятом курсе замуж, только что развелась и, веселая, бойкая и уже взрослая, теперь пыталась снова прибрать Кузьмина к рукам). Они выпили совсем немного, и выговаривался, в основном, Кузьмин, а она, научившаяся в своем коротком замужестве, слушала, свернувшись клубочком на диване. И лицо у нее горело. (Около полуночи у самых дверей комнаты начал беспокойно ходить и кашлять дядя Ваня, и Кузьмину стало страшновато. «Выключи свет», — сказала Маринка. — И он уйдет»). Утром, оглушенный, Кузьмин был готов отдать ей все, что угодно, и она унесла одну из икон. Оставшись один, он поглядел на развороченный стол, на лежащую на боку лампадку — она пила из нее — и все вспомнил, волнение отступило; он снова долго вернулся в печаль.

Маринка приходила еще раз, уже во время государственных экзаменов, с ничтожным поводом, что-то недоговаривая. Он поглядел на нее, чуть располневшую, игривую...

— Позови меня замуж, — сказала Маринка в темноте.

— Нет, Идолище, не могу. — Он поцеловал ее. — Как другу тебе говорю — не надо.

— Ну, скажи мне, товарищ, почему «не надо»? — Маринка села, расчетливо прикрываясь простынкой.

— Этого не объяснишь, — тихо сказал Кузьмин, по кошачьему отсвечу глаз угадывая, где она. — Для тебя же во мне нет тайны?

— Андрюшенька! — сообразив, сказала Маринка. Потом она засмеялась: — Нет такой любви, Андрюшенька, поверь! Уж как я Левку любила, всю жизнь — сама себе не верю. А потом вдруг все кончилось. Начались деловые отношения: я ему — быт, он мне — зарплату, я для него — женщина, он для меня — мужчина. Нормально, в общем.

— А почему вы развелись? — Кузьмин закурил.

— Очень уж скучно с ним стало, разговаривать перестали даже. Ну, согнавшись, дурашечка! — Маринка потянула его за руку, отобрала сигарету. — Я — во! — какой женой буду!

Но замуж он ее не взял.

Колесо все раскручивалось: сдав терапию и хирургию, вместе со всеми остальными он почувствовал, что впереди уже близко — поворот, и ему ужасно сильно захотелось поскорее заглянуть за угол, вам знакомо это чувство?

Прошло еще два года.

В «протоколе апробации кандидатской диссертации аспиранта второго года Кузьмина А. В.» написано буквально следующее: «...Диссертация непомерно раздута, содержит много отвлеченных рассуждений, затуманивающих интересные конкретные факты и выводы».

Он был страшно удивлен — они не поняли, нет, не захотели понять! Он с ревнивым страхом вложил в эти листочки всю картину ясного чистого мира, а они... Ему не хватает плечи или, быть может, седина, они думают, что он упражняется в... Он мучительно покраснел и обиделся, когда Тишин глухо сказал: «Занесло!»

К этому времени он уже не был так по-детски влюблен в него, уже видел потолок Тишина; с раздражением, еще не привыкнув, замечал, что Тишин не всегда успевает за ним, медленно, без смака, осмысливает повороты, в которые их толкают, втягивают прекрасные неумолимые факты, и боится, топчется у границы обозреваемости, не хочет заглянуть в блеклую тень, мир догадок.

Эти два года Кузьмин жил с аппетитом: почти не отвлекаясь, он лез в дебри. Не ограничивая себя, он фантазировал нелепые условия экспериментов и, когда все хорошо доказывали бредовость его желаний, садился на телефон и разыскивал лаборатории, безвестные НИИ, влезая то в биофизику, то в генетику; заразил скептиков-математиков, и те, наивные, строили ему математические модели его пробирочных чудес по оживлению клеток.

Временами нечеловеческая интуиция вела его из эксперимента в эксперимент, открывала короткие тропинки в джунглях вероятностей, переносила через нагромождения невнятных результатов. Пришло благословенное время!

Поставив эксперимент и добившись устойчивого результата, он сбрасывал его на руки лаборантам (академик — шеф — подзирал ему двух «рабов») и шел дальше, и все не мог угнаться за опережающим шагом догадки. И этому пути не было конца.

Дома росли вороха бумаг — таблиц, отдельных листочков, на которых он сам себе объяснял ошеломительные результаты.

Время от времени шеф требовал с него оброк — статью. Кузьмин строил таблицу, приписывал к ней страничку текста, и статейка выпархивала из рук.

Время от времени Тишин мимоходом бросал: «Остановился бы! Проверь в клинике. И вообще — для кого ты работаешь?»

— Рано еще об этом, — бормотал Кузьмин, с вождением взгляды в окуляр микроскопа. — Нет, ты погляди! Она же оживела чуть-чуть, а? Миленькая, — говорил Кузьмин, — да ты же умница! Сейчас я тебя подкормлю...

Крайне вежливо Лужин шептал: «Не забудьте о практической ценности работы, Андрей Васильевич!»

— Никоним образом, — отвечал Кузьмин. — Вот консервант улучшили чуть-чуть... (Делались первые пересадки почки у человека.) Но ко всему прикладному он относился как-то равнодушно.

На кафедру зашел Н. Негромкий и вежливый, он внимательно изучил препараты Кузьмина — бодры культуры клеток, обработанных живой водой, — и, чем-то озабочаясь, тихо распрощался.

Пожимая его маленькую твердую ручку: «Все мышцы качаешь? Молодец!» — позавидовал Кузьмин и объяснил:

— Не могу, понимаешь, сейчас разбрасываться! Извини, ладно?

Несколько дней его немножко грызла совесть — он знал, что приход Н. связан, наверно, с неладными в лаборатории, но тут обнаружилось, что под действием его жидкой воды клетки вдруг замерли, застыли, будто дожидаясь от него какого-то нового толчка, инструкции.

В. А., учинив строгий допрос, говорил: «Смелее, Андрюша, смелее! Это что-нибудь да значит! Мир велик, а в твоей живой воде слишком много простой воды, а!» Ему Кузьмин решался сказать: «Пожоже, она (клетка) соображает, что хочет!»

Родители видели, что он счастлив. Мама следила за его костюмами, длиной волос над воротничком и весом; отец (он нашел себя на какой-то новой работе), ставя Кузьмина в пример Николашке, напоминал: «Цени, как тебе повезло!»

(— Дз, пап! — говорил Кузьмин. — Но для чего это все надо, если люди заготовили такую кучу оружия? Против лома нет приема.)

— Ох! — говорил отец. — Занимайся своим делом! Между прочим, у тебя оборонная тема! Что вы топчетесь, медики-биологи! Шевелитесь! Вся эта сволочь такие гадости наприготовила! Голыми не окажемся?

— Не окажемся! — взывался Кузьмин. — Что же вы их в сорок пятом не добились? Они же ведь все живое хотят уничтожить. Жи-во-е. Великое, единственное, невоспроизводимое! Отнять у человека его единственную жизнь!..

— Ну и дурак ты, сын, — сказал отец с неожиданной обидой. — «Жизнь! Живое!» Это что — твое собственное? В бою люди жизнь отдавали — что же, от них ничего не осталось? Честь — вот единственное, что принадлежит тебе лично. А твоя жизнь принадлежит Родине, делу, если человек, конечно, не скотина у кормушки. А о таких и говорить нечего.)

Он выезжал на картошку со студентами, бывали загулы в Алешкиной компании болтливых гуманитариев (там гремели магнитофоны, свечи потрескивали от табачного дыма, и с лент на разных языках орало: «Ты моя любовь, мое счастье, мое солнце! О, я люблю тебя!» — страстно, нежно, томно, печально, торжествующе и лживо). Было два коротких романа, болезненно давших Кузьмину навыки веселой игры — в любовь с открытыми глазами.

А свои двухмесячные аспирантские каникулы он проводил в экспедициях, где с успехом совмещал приличный приработор и поиски своих трав.

В конце второго года аспирантуры шеф остановил его, танцующего от спешки, в коридоре.

Посмеиваясь, он оглядел — с ног до лохматой головы — беспардонно недовольного задержкой Кузьмина и вытянул у него из рук громадный штатив с разноцветными пробирками; стрельнув из них взглядом, шеф хмыкнул. «Кажется, это уже не по теме диссертации, а? Молодец! Оформляй работу — через месяц апробация. Должен успеть, понятно?» — сказал он.

Задав лаборантам работу, Кузьмин затворился дома и, в один день переломав привычный ритм, сел писать этот злосчастный первый вариант диссертации. Он писал, выдавая по двадцать страниц в день, самостоятельно освоив экспресс-метод иллюстрирования — вырывая нужные таблицы из копий собственных статей. Он еще играл в бирюльки, баловень: все, что рождалось в нем при сведении материала в целое, казалось блестящим ходом мысли, имело, он считал, самостоятельное значение, и он писал легко, раскованно, без тени сомнения.

А теперь, принимая из рук Лужина исчерпанную пачку листов, всю в крючках и занозах знаков препинания, — вот теперь он скис.

Начинались каникулы. С Алешкиной помощью пристроившись в археологическую экспедицию (ему необходимо было попасть в Среднюю Азию — раздобыть «солнечный корень»), он весело прожил полтора месяца и вернулся в Москву дочерна загоревший, с корявыми — он ощущал их лопатами — руками, с набитым карманом и парочкой корней в рюкзаке, распыряемом засушенными травами, местной бузиной и неведомым органическим составом в бутылке.

На раскопках он встретил удивительно дружно живущего со вселенной парня, заразился — на время — от него философией фаталиста («Слушай, брат, не суетись. Все, что с тобой должно случиться, случится!»), и поэтому, встретив прежде других на кафедре бледную физиономию Лужина, проторчавшего все лето в Москве, он не принял всерьез напоминание про окончательный вариант диссертации.

В сентябре шеф потребовал ее.

— Я бы хотел кое-что довести, — сказал Кузьмин, прижимая к груди бутылку со среднеазиатской панацеей.

— Э-э, дружок! — протянул шеф, понимая поглядывая на бутылку. — В докторской доведете. Место ждать не будет, понимаете?

Сев заново над листочками, Кузьмин обнаружил, что с некоторыми замечаниями он согласен. Зато никем не тронутые «Выводы» обескуражили его своей поверхностью. Он переписал их, и тогда, естественно, пришлось ломать текст.

Он сам того не заметил, что за лето в нем произошли некоторые перемены, как будто его мозг (машинка — называл его про себя Кузьмин) утряс всю известную ему сумму фактов, рассортировал их по полочкам, и снова освободилось место, и снова была неясности.

— Опять что-то новое, — пожаловался Лужин шефу, покачивая на ладони легкий кузьминский труд.

— Вы анархист, — изрек шеф для Кузьмина и забрал диссертацию с собой.

Кузьмин ходил на кафедру каждый день, но теперь больше околачивался в ассистентской: варил кофе для преподавателей, изредка подменял кого-нибудь из них (к радости студентов), ходил в библиотеки, сидел в Институте рака с Н., помогая ему наладить новые методики, и легкомысленно ждал вердикта.

Никто не знал, что Лужин, познакомившись со вторым вариантом диссертации и сделав из этого знакомства правильные выводы, воспользовался паузой и занял уготованное в институте фармакологии Кузьмину место своим заочным аспирантом, который хоть и опаздывал с диссертацией, но не был ни выскочкой, ни торопыгой. И когда шеф, вполне наладившись чтением кузьминской диссертации и даже сделав маленькие выписочки в свой секретный архив, позвонил самому директору института и они, обменявшись приятельскими приветствиями, заговорили о деле, одними только цитатами из Кузьмина шеф заинтересовал его. Но на следующий день директор разыскал шефа в Академии и оговорил. Шеф бросился на кафедру, яростно выкручивая у машины руль, но по дороге вспомнил, что дальновидный Лужин уже поправляет здоровье в Кисловодске. В ученом совете шефу удалось отсрочить утверждение протокола апробации Кузьмина на две недели; но не более, сказали ему.

Кузьмин же устраивал печатание автореферата. Он познакомился с вежливыми вымогателями от полиграфии, собирал последние бумажки и оттиски статей в свое «Дело», и высокомерные девицы из секретариата ученого совета уже стали узнавать его.

Поднялась суета. Тишин обзавивал друзей, искал достойное место для Кузьмина, но все больше и больше убеждался, что кузьминские проблемы пока мало кого интересуют. (Ему говорили: «Да что ты! Во силен! Жаль, у нас даже пристегнуть его не к кому!...»)

Кузьмин узнал об этой суете случайно, перехватив ненароком разговор шефа. Он перестал ходить на кафедру, сидел дома, к телефону не подходил. Не блаженное опустошение — безразличие владело им. Откуда-то появилась сонливость, и, случалось, целыми днями он валялся на кровати, собирая вокруг себя пепельницы, полные окурков, и грязные бутылки из-под кефира. Осаждалась муть, подобная обиде, безадресной и давнишней.

Однажды заспанный дядя Ваня позвонил ему к телефону. («Тебя академик кой-тех наук спрашивает», — зашептал он озабоченно.) Шеф предложил Кузьмину место на кафедре в Челябинске. Кузьмин сразу же отказался — дремавшая все это время интуиция, которую он воспринимал как подталкивание изнутри, а со стороны это выглядело как капризничанье, метание, — интуиция воспротивилась.

— У вас очень сложное положение, — попытался объяснить ему шеф. — В прикладные лаборатории вы не пойдете — это я прекрасно понимаю. Но тематических лабораторий пока, увы, нет. Надо думать, что делать: досрочное завершение диссертации — это не столько почетно, сколь хлопотно, понимаете? Зайдите-ка ко мне завтра, а?

Дядя Ваня, подмерзая на линолеуме босиком и в исподнем, дожидаясь, пока Кузьмин закончит разговор.

— Точно — академик звонил? Стряслось чего? Ты скажи.

— Пустые хлопоты, дядя Вань. Иди спать. Извини!

— Если чего — ты скажи...

— Спасибо! — Кузьмин слабо улыбнулся ему. — Это судьба, дядя Вань.

Назавтра Тишин с огорчением доложил, что приказ о досрочном отчислении Кузьмина из аспирантуры подписан и документы направлены в министерство. Пуповина оборвалась.

— Знаете, — сказал Кузьмин шефу и Тишину, сознательно усаживаясь на то же самое место у дивана, что и четыре года назад, — все даже к лучшему. Мне надо оглядеться.

Они непонимающе смотрели на него.

Вечером Кузьмин с шампанским зашел к Галкину-старшему, новоиспеченному пенсионеру. (В. А. совсем облысел; его маленькие глазки за толстыми пинзами пучились, он нездорово обрюзг. «Совсем крабом стал», — доверчиво посетовал он еще в прихожей, энергично стаскивая с Кузьмина пальто.)

— За чаем о серьезном не говорим, — потребовал В. А., и Кузьмин потешал Галкиных рассказами о своих летних приключениях.

В. А. оспорил философию фатализма, но не очень-то он был убедителен.

— Ну, а как вам моя новорожденная? — спросил Кузьмин, кивая на экземпляр диссертации, подаренный им В. А. и теперь весь проложенный закладками.

— Заслуживает, — махнул рукой В. А. — Далеконыо вы ушли!

— Это я ушел, — сказал Кузьмин.

— Ну-ну! Где же будете работать, кандидат?

— Что-то никуда не тянет, — признался Кузьмин. — Подходящее место — тью-тью! Если бы не деньги — просто поболтался бы.

В. А. даже расцвел. Он перебежал из своего угол-

ка на диване к Кузьмину за стол и стал зачарованно его разглядывать.

— В пасечники, в лесники охота пойти, да?

— Ну, телепат!.. — сказал искренне удивленный Кузьмин.

— Хе-хе! — ужасно чем-то довольный, сказал В. А. — Слушаешь, как травки шепчутся, птички поют...

— Ох, хорошо! — вздохнул Кузьмин.

— Вся истина в том, что себе надо довериться, — сказал В. А., вспоминая что-то свое. — Все, что через силу, — комом идет и отрывается. Подари! — Он протянул Кузьмину диссертацию. — Нет-нет, надпиши по всем правилам, строго: «Многоуважаемому...» Вот так штука! — сказал он. — А у нас-то — транспозиции инициалов!

— Верно! — сказал Кузьмин. — Сие что-нибудь да значит, а? — Он написал: «Первому Учителю от Кузьмина».

— Ох, нескромный ты! — пожурил его В. А. — Хотя правильно: вера, она горы сворачивает.

— Если честно — сам не знаю, что у меня получилось. Иногда чувствую — истина, иногда кажется — какая-то приблизительность. Надо чтобы отстоялось... — тихо рассказывал Кузьмин.

Они еще пили чай, ждали Алешку; он пришел, выпотрошенный, рассказывал про своих дураков из восьмого «А»; они вспоминали себя, свои шутки, потом провожались — словом, когда Кузьмин вернулся домой, было поздно. На кухне он взбодрил еще теплый чайник, заварил зеленый чай и стал пить его, чашка за чашкой, как этим летом в экспедиции, по ночам, пропитывая себя водой, ушедшей днем потом, сиплым дыханием и слюной.

Телевизора у него не было, репродуктор сломался, и только мощный ход будильника регистрировал истекающее время. Кузьмин залез на антресоль, накурился до одури и заснул, когда исподволь пошел шелепящий дождь — на рассвете.

В министерстве ему легко дали уговорить себя, и, получив тонюсенькую папочку со своими документами, он вышел на улицу, имея, как говорится, все при себе.

Деньги кончались, они расплывались, потому что он стал много болтаться по улицам, стараясь не сидеть дома, чтобы не дергаться от телефонных звонков. А ему звонили: Тишин, Н., даже Лужин. Попытка дозвониться до него и отец.

Вечерами дядя Ваня отчитывался перед Кузьминым по бумажке, присовокупляя к каждому звонившему характеристику: настырный, вежливенький, начальник какой-то...

А на улицах и в самых неожиданных местах Кузьмин встречал массу знакомых, на их вопросы он отвечал уклончиво, и все они, представьте, думали, что он темнит по соображениям государственной тайны. Его брала досада — так слепы они были!

Однажды, очутившись неподалеку от Маринкиного дома, он позвонил ей. Ее мама дала ему новый номер телефона.

— Узнай меня, Идолище! — сказал Кузьмин.

— Андрюшенька! — обрадовалась Маринка, а за ее голосом в трубке Кузьмин услышал нежный младенческий плач. — Как живешь, Великий ученый?

— Успокой ребенка, — сказала ей Кузьмин.

— Сейчас папочкино дежурство, — хихикнула Маринка. — Пусть отдувается. У меня парень, знаешь?

— Все нормально? — спросил Кузьмин и пожалел: что-то сиротское было в его голосе.

— А ну-ка, расскажи, — велела Маринка. Вытянув из него новости, она сказала: — Какой ты, Андрюшенька, еще ребенок!.. Ходи по земле!

За два дня она нашла ему работу.

Подстриженный, приодетый, он явился. Деловая женщина — директор медучилища, — скептически поглядев на него, подписала заявление, познакомилась с преподавателями.

— ...Голубкова! Не списывайте, пожалуйста! Спрячьте зеркало, Сапожникова!.. Сегодня, девочки, мы познакомимся с обезблiviaющими...

— Андрей Васильевич! Вы женаты? А сколько вам лет?..

Пожалуй, только через месяц он научился не падать в открытую на отовсюду торчащие круглые коленки, на точеные шейки, обвитые прячущимися в вырезах цепочками, на дерзко облегчающие свитера. У него появилась новая привычка — перед выходом из учительской поглядеть на себя в зеркало.

И из сотен их веселых, нежных лиц где-то в самой глубине Кузьмина стало складываться одно единственное, необыкновенное, нежность и тайна которого не сравнимы были ни с чем. Лишь изредка оно мелькало где-нибудь в толпе, и он бросался ему навстречу, и всегда оказывалось, что он ошибся.

А в декабре он случайно узнал, что неподалеку, в ближайшем Подмосковье, создается новая лаборатория с широкой медико-биологической тематикой, с перспективой превратиться в НИИ. Шеф и Тишин сели на телефоны и, выяснив все подробности, нагрянули, приехали к Кузьмину домой. До прихода Кузьмина они сидели у дяди Вани и играли с ним в шашки на деньги, несколько проигрались, но были веселы, озорно возбуждены.

Шеф обошел всю комнату, поднялся на антресоль и изрек оттуда, перевесившись через перила:

— Неплохой у вас кабинетик, Андрюша. Мне бы в свое время такую лафу! А он хитренький, — сказал шеф Тишину. — Он не зря на эту лабораторию засмотрелся — он там будет пророк и основоположник. — Шеф подмигнул Кузьмину. За столом он сел на Крестино место, по-домашнему расслабился и, как всегда, не чванился.

Одарив Кузьмина официальной справкой с перечислением заслуг, за чаем с любопытством выслушав рассказ дяди Вани о приключениях батальонного разведчика, они отбыли.

— Не беспокойся, Андрюша, — потирая коленки, сказал дядя Ваня, — я деньги им в карманы ссыпал. Это я — чтоб они не скучали. А старый-то — азартный, страсть! Кто ж такой? — И удивился: — Ну, дела!

— Опять ноги болят? — спросил Кузьмин. — Я тебе другую пропись на растирку дам!

— А может, твоей водой побрызгать, а? — безнадёжно спросил дядя Ваня.

Собрав нужные бумаги, с отменной характеристикой («И не извиняйтесь! Другому повороту я бы удивилась», — сказала директор медучилища), заверенный в любви и уважении Лужина («Большому кораблю — большое плаванье!»), Кузьмин поехал знакомиться.

7

Дорога, как всегда в первый раз, показалась долгой. Выйдя на заваленную снегом платформу, почти в одиночестве, Кузьмин повертел головой, у противоположного края платформы увидел красное пятно — стрелку-указатель; нахватав в ботинки снега, он дошел до нее, прочел название лаборатории.

Стрелка была нацелена на поле, пустое и почти ровное из-за лежащего на нем снега. По нему бе-

жали спиральки холодных ветерков, взвываясь и опадая. Едва натопанная тропинка привела к опушке леса, к расчищенной асфальтовой дорожке.

Лес был гулок, пушист. Четким стуком где-то вдали работал механизм, но ни голосов, ни других живых звуков больше не было. Кузьмин сориентировался, пошел налево, в глубину леса, и дорожка уперлась в зеленые ворота, из-за которых почему-то слышалось требовательное мычание.

Кузьмин разыскал кнопку звонка и долго звонил, ему казалось, беззвучно. Открылось окошечко, он просунул в него уже отвердевшее от холода лицо и объяснил усатому вахтеру кто-что, был впущен за ворота, на пустынный, заметенный снегом плац, в глубине которого стояли низенькие, напоминающие казармы дома.

Тут же, рядом с воротами, за веревочное кольцо была привязана корова с ужасно вздувшимися черно-белыми боками.

Она посмотрела на Кузьмина довольно-таки вприсительно, потом задрала вверх голову с белыми закрученными рогами и опять требовательно замычала. Кузьмин с опаской поглядел на ее бока и живот. За спиной раздался скрип снега — подошел вахтер с белым эмалированным ведром, присел и, не обращая внимания на Кузьмина, стал доить корову. Она перестала орать и теперь уже с любопытством начала разглядывать Кузьмина.

Кузьмин присвистнул, цокнул языком и, ухмыляясь, пошел разыскивать товарища Герасименко.

— ...Только ваша инициатива и желание будут определять круг проблем. Нас интересует все, буквально все! Но у нас нет ничего готового. Вам самому надо создавать лабораторию, покупать, получать оборудование. Даже грузить его, возможно, придется лично. Есть деньги, штатные должности — давайте работать! — горячо говорил товарищ Герасименко, сняв только шапку в нетопленной, скучно покрашенной комнате.

Во время произнесения этой речи Кузьмин смотрел на отечные глаза, пробивающуюся седину на висках Герасименко, и, вероятно, у него менялось лицо, потому что Герасименко говорил все горячее и горячее. Он сидел за неказистым канцелярским столом в овчинном полушубке, а сбоку, грея ему щеку, стояла электрическая плитка. Герасименко перехватил взгляд.

— Мы ведь начинаем только, — объясняюще сказал он. — Ну?

— Я подумаю, — постаравшись, веско сказал Кузьмин. Он пожал руку Герасименко и вышел, тщательно притворив дверь, на заснеженный двор, ограничиваемый белыми коровниками, как он теперь догадался. На его глазах к торцу одного из зданий подъехала машина, и две тепло одетые бабы стали сбрасывать на снег легкие кубики прессованного сена. Пахло летом, полем.

Герасименко удивленно поднял голову от бумаг, когда Кузьмин, крепко прихлопнув дверь, снова вошел в комнатку. Герасименко принял папочку с бумагами, сунул ее в стол и сказал:

— Зачислим с завтрашнего дня как «и. о.», а потом проведем по конкурсу, младшим научным пока, конечно, до защиты.

До лета Кузьмин всего десяток раз и бывал на этой экспериментальной базе лаборатории, а все остальное время он бегал по канцеляриям, приемным, складам и базам, осваивал науку быть победным и терпеливым, терпеть хамство и чиновную вежливость, пробивая аппаратуру, посуду, реактивы

мебель, а заодно — корма, кирпич, спецодежду, транспорт и великое множество других важных вещей.

Когда телеграммой его вызвали в ученый совет (шеф втиснул-таки Кузьмина вне очереди на защиту), он даже в первое мгновение подсадовал — срывалась важная деловая встреча, — но потом опомнился, обрадовался.

...Банкет был в «Будапеште». Кузьмина славословили. Шеф очаровал отца категоричностью выносимых им характеристик, с ловкостью дамского угодника ухаживал за мамой, пел туристские песни и произносил кавказские тосты.

Тишин сказал прочувствованную речь (кое-кому она показалась длинноватой), но Кузьмин правильно понял все намеки.

Поразительно: торопливо и горячо говорил Н. Он даже размахивал руками, будто что-то обнимая. Могло показаться, что он подавлен существом работы Кузьмина и видит в ней какой-то другой, скрытый смысл. Кузьмин благодарно кивал ему, привставал, прерывая, а Н. все пытался что-то ему объяснить. («Ну, рожай, рожай!» — пробормотал — Кузьмин с удивлением услышал — шеф.)

Тихо, без аффектации выступил В. А. Когда Кузьмин подошел к нему — целоваться, В. А. в ухо ему шепнул: «Ты прости, Андрюшенька, я ж совсем пьяный!»

Кузьмину желали скорее написать докторскую, книгу... — словом, было сказано все, что полагается говорить на банкете.

Импровизируя ответную речь, Кузьмин обнаружил, что ему надо благодарить каждого сидящего за столом.

После банкета Кузьмин провожал до дома старенького своего оппонента. Тот решительно отказался от такси и всю дорогу громко объяснял Кузьмину важность каких-то там ферментных групп, а в подъезде, долго трясая ему руку, вдруг сказал, заглядывая в глаза:

— Знаете, я не разобрал сначала, решил, что диссертация-то — докторская. И, честное слово, так отзыв сначала и написал. А в Совете меня отговорили — сложностей много, рассмотрение затянется... Конфуз получился... — Он виновато глянул на Кузьмина.

— Да, действительно конфуз, — легко согласился утомленный Кузьмин и хохотнул, что, как он полагал, от него требовалось.

Старичок отстранился, оскорбленно сказал:

— С вами конфуз приключился, молодой человек, с вами!

Летом Герасименко начал строиться и очень бурно. Он перелез в сапоги, ходил все время в каске, не стеснялся орать или подсобить строителям.

Кузьмина (то ли оттого, что он был первым сотрудником, то ли Герасименко испытывал к нему какую-то симпатию) посадили на бумаги: лаборатория объявила конкурс, и в корпусах и во дворе понемногу стали появляться новые люди.

За это время Кузьмин обучился давать уклончивые и дипломатичные ответы, вежливо отказывать, пренебрегать лестью. Ему довелось разговаривать по телефону с легендарными личностями, как правило, стеснительно просившими за кого-нибудь; он сам звонил знакомым ребятам и сманивал их в лабораторию Герасименко.

Но вот время конкурса истекло, и Кузьмин явился в уже несколько более солидный кабинет Герасименко, торжественно выложил ему на стол «Дела». Он собирался дать свое заключение на каждо-

го соискателя, но сильно изменившийся за лето Герасименко довольно-таки грубо выставил его за дверь.

— Спасибо, — сказал он, не вставая с кресла и нехотя поднимая голову. — Идите, я сам разберусь, кого вы приглашали.

Холуйское выражение своего лица Кузьмин почувствовал сразу же за дверью кабинета. Он скомкал рукой возникшую сразу после слов Герасименко нерешительную полуулыбку и, задыхнувшись, на одном ударе сердца выскочил за проходную.

Он долго ходил по лесу, успокаиваясь, начиная трезво оценивать весь фонтан судорожно пришедших порывов: написать заявление об уходе, вернуться в кабинет и потребовать объяснений, надуться и не разговаривать с Герасименко...

Совсем поздно, в сумерках, по-воровски прокрадываясь на территорию лаборатории, шмыгнув под освещенными окнами герасименковского кабинета, он на ощупь разыскал в своей комнатке портфель, плащ и шляпу, а потом пошел на станцию. Еще по дороге он заметил устало идущего туда же, к ярким станционными огням, Герасименко и сбавил шаг, сошел с асфальтовой дорожки на мягкую пыльную обочину, чтобы не выдать себя. И уехал он на следующей электричке. Поужинал в грязноватом вокзальном буфете, против обыкновения не обращая внимания на грязь, шум и толкотню. Опять вокруг была суета, отождествляемая им в детстве с течением жизни, а теперь — только с придонным колытанием ее муты.

«Господи, куда же я делся», — спросил он себя.

В первый же удобный день, сказавшись занятым, он приехал на кафедру. Начинался учебный год, все пришли из отпусков, были веселы и ничем не озабочены. Кузьмин строил из себя облеченного полномочиями, успешно темнил, а сам приглядывался к шефу, Тишину, ребятам.

Они попивали кофе в ассистентской, и загоревший в горах шеф обронил фразу:

— Всегда есть два пути — лезть вглубь или оживлять теории практическим применением. Любой из путей всегда персонифицирован, и что-то мне не припомнится удачных раздвоенный личности...

Вечером Кузьмин пошел в кинотеатр, пытался познакомиться там с девушкой, но, то ли шутки у него были злые, то ли чувствовалось, что ему хочется поплакаться, девушке он не понравился. Вернувшись домой, он разыскал методические указания и написал программу для своей группы, очень удачно сочетаящую поиск с прикладным направлением, надеялся он.

С официальным видом он передал эту программу равнодушному и вялому Герасименко. Герасименко сидел в кабинете, один, распустил узел галстука (все труднее и труднее стало заставить его в одиночестве); он мелко глянул в листочки, удовлетворенно хмыкнул и сунул в ящик стола. Потом он поднял на Кузьмина глаза, и Кузьмин, сатанея от прочитанной в них насмешки, попятился к двери.

— Задержитесь на минутку, — остановил его Герасименко, и в нагнетом кабинетике явственно пронеслось коньячный запашок. — Послезавтра приедет комиссия, — сказал Герасименко, отводя глаза. — Конкурсные выборы, прием строительных работ, ну и разные другие дела. Постарайтесь быть на виду...

И опять в его глазах Кузьмин увидел непереносимое выражение какого-то знания.

Кузьмин был представлен членам комиссии, было названо имя шефа. Кузьмин сподобился быть на бан-

кете «а ля фуршет», Кузьмин сказал короткий гост, но через две недели пришло утвержденное и измененное штатное расписание, и группа биостимуляторов в нем не предусматривалась.

Кузьмин узнал об этом на совещании, куда пришел без приглашения, полагая, что его просто не успели оповестить — в тот день была такая суета, такое возбуждение!

Герасименко — в новом костюме-тройке, в ослепительно белой рубашке, воротничком которой подпиралось еще смуглое с лета его лицо, — говорил как-то резковато, и в полной тишине аудитории голос его звучал наставительно, по-директорски. Закончив сообщение, он пригласил заведующих лабораториями к себе в кабинет.

Помучившись четверть часа, Кузьмин не выдержал и заглянул туда — в кабинете сидели новые, мало-знакомые сотрудники, дым стоял коромыслом, и Герасименко опять горячился. Морщась, он попросил Кузьмина зайти через час. По взглядам Кузьмин понял, что помешал... Он с удовольствием опять побегал бы по лесу, но уже шли затяжные дожди, лес промок, был гол и продуваем ветром с поля, поэтому он вернулся в не свою уже комнату, сел за еще не отчужденный от него стол и размашисто написал заявление об уходе.

— ...Вы меня обманули, — сказал Кузьмин.

— Меня самого обманули! — сказал Герасименко, обмякая на глазах. — Вы думаете, я что-нибудь могу? Может быть, через год меня самого здесь не будет! Еще бы! Вы все так ловко написали планы, — он безошибочно достал из ящика анакомые Кузьмину листочки с программой, — что мы и на космос и на рак выходим... Кому же, как не какому-нибудь академику, этим заниматься!

Он закурил, не предложив сигареты Кузьмину. Кузьмин вытащил свою пачку.

— Знал бы ты, как со мной в Академии разговаривают! Как? Как с «временно исполняющим обязанности»? Очень уж мы масштабными получаемся, не по мне должность! И ты хорош — собрал цветник: гений на гении. Лаборатория-то вышла — лакомый кусочек! — Герасименко поднял, наконец, на Кузьмина усталые, запавшие глаза.

— Я уйду, — сказал Кузьмин, обретая решительность.

— Надо бороться, — убежденно сказал Герасименко. — Надо доказать, что только ты, именно ты можешь сделать рывок. Это азбука в науке: А пусть-ка без меня некоторые попробуют достать и животных и все остальное, тут-то они и!..

Герасименко думал о себе и о лаборатории, но только как о своей лаборатории; обида мучила его, задерганного, спеленатого высокими рекомендациями выложенных блатных сотрудников, дипломатично-уклончивых в высказываниях, как-то быстро нашедших друг с другом общий язык, заполонивших своими машинами плац, но томных и ленивых, боящихся коров, морских свинок, смеющихся над фермой кур, что казалось ему, ветеринару, противоречественным и претило.

— После банкета я прочитал твои статьи, — совсем переходя на «ты», после долгого молчания сказал Герасименко. — Ну, и приятель твой, этот Н., объяснил мне, что к чему Ты — на уровне! Почему ты ко мне пошел? Деваться было больше некуда?

— Я думал, что здесь не будет прикладных тем... — признался Кузьмин. — Биостимуляторы — это пока лабораторная проблема.

— Ну? А Н. говорит, что... Он, между прочим, очень высокого о тебе мнения. Почему ты к нему не пойдешь? У него проблема будь здоров! И какие возможности!.. А тебя рак не интересует?

— Почему же... — сказал Кузьмин. — Как модель и он годится. Но ведь там Н. Он ведь работает параллельно.

— Ну, дела! — негромко засмеялся Герасименко, и глаза у него потеплели, ушла напряженность. — Я и определения такому случаю не найду! Приятеля подводить не хочешь? А если он тупой?

— Он не тупой, — со вздохом стал объяснять Кузьмин. — Он экспериментатор не очень сильный...

Глаза у Герасименко смеялись, и даже толстоватые губы смягчились.

— Ладно! — махнул он рукой. — Значит, так: рви свое заявление, — он глазами показал на папочку в руках у Кузьмина, — и отправляйся в библиотеку. Читай, пиши, словом, давай печатную продукцию. Срок — месяц. За это время я что-нибудь придумаю... Нет, это я хорошо решил, — сказал он, оживляясь. — Спрячу-ка я тебя куда-нибудь подальше, а то ведь втянут тебя в какую-нибудь дрязгу.

До самых ноябрьских праздников Кузьмин усердно готовил обзор по медико-биологическим проблемам, вчитывался в последние работы генетиков, иммунологов и биофизиков, находя все новые и новые стимулы к размышлению. За этот месяц в нем дописалась, просохла и перевернулась страница; он освободился от последних связей со своей диссертацией; он как бы распахнул окна, впустил свежий ветер и свет. К нему вернулось чувство легкости и свободы, хотелось заняться чем-нибудь новым.

А Герасименко устроил ему командировку.

— Ну, смотри! — сказал он тоном, который теперь почему-то не коробил Кузьмина. — Я тебя к своей учительнице посылаю. Других таких людей не бывает. Задание у тебя одно: помоги ей, чем можешь. Если понравится, останься, поработай. И вообще приглядишься: дело там делают или так...

И Кузьмин поехал к Коломенской в маленький город, в центр России.

8

В город поезд пришел днем. Прелестная русская речь и степенность поразили Кузьмина еще на вокзале: он вертел головой, изумлялся.

Ветеринарный институт стоял на краю старого города, открываясь своими фермами в поля. С боем прорвавшись через проходную, Кузьмин долго искал административный корпус и запутался. С чемоданом, оттягивающим руку, он одиноко бродил между невысоких построек, сильно напоминавших ему только что покинутую экспериментальную базу лаборатории Герасименко. В пижонские полуботинки набился снег, потому что на многих дорожках и следов-то не было. У одних двустворчатых ворот были свежие крупные собачьи следы. Не волки ли, подумал он. Ему захотелось подурочиться, и, подойдя к воротам вплотную, он подвыл. И долго стоял, приносясь к живому теплу.

Чистенький двухэтажный корпус лаборатории прижимался к самому забору. На площадке второго этажа разлетевшийся Кузьмин чуть не сбил двух женщин. Бормоча извинения он ринулся к двери и стал дергать ее, запертую.

«Вы к кому?» — спросила его пожилая женщина в длинном синем халате поверх душегрейки. Он сказал. «Это я. Сейчас у нас обеденный перерыв, и вы нас застали просто случайно», — ответила Коломен-

ская. Кузьмин вглядывался в ее грустное узкое лицо, ему показалось, что он видел ее раньше.

Представив директору (они нашли его в телятнике, инспектирующим маленькое суетливое стадо), Коломенская вновь привела Кузьмина в лабораторию. Его посадили пить чай, накормили жареной картошкой с салом, показали ему лабораторию — довольно слабо оснащенную, познакомили с сотрудниками. В четыре часа помощница Коломенской, Любочка, отвела его — через дырку в заборе — во флигелек на усадьбе злой институтской вахтерши — он оставил там чемодан, — а потом в столовую камвольной фабрики: показала Кузьмина гардеробщику и смешливым девчонкам на раздаче. С этого дня был Кузьмина устроился.

Имея несколько дней перед командировкой, Кузьмин, добросовестно попытался познакомиться с работами Коломенской, но, обшарив весь авторский отдел в медицинской библиотеке, не нашел ни одной ее статьи. Немного озадаченный и готовый выступить в любой роли, Кузьмин привез сюда оттиски своих статей, он вручил их Коломенской вместе с личным письмом Герасименко.

— Какие чудесные вещи вы проделываете, — сказала ему Коломенская через два дня, возвращая оттиски. — Может быть, вы нас подучите? Нам надо максимально возбудить клетку, подготовить ее к удару.

В ученицы Кузьмину дали тихую светлицу Любочку, старшего лаборанта — чуть медлительную девушку, прячущуюся в синий халатик. Как сурово он обращался с ней! В его терпеливости совсем не было теплоты, легкости или даже насмешливости. У Любочки под его взглядом дрожали руки, она тихонько бегала плакать в тесную фотокомнату, особенно если он, сморщившись, цокал языком и сам брался за флакончики со средами. Около шести вечера Коломенская останавливала работу, и Кузьмин отправлялся домой, во флигелек.

Здесь, в средней полосе, начиналась тихая снежная зима: иногда по утрам Кузьмин пыхтел, отворяя наружную дверь, приваленную пушистым ночным снегом. По воскресеньям с утра он колол на всю неделю дрова, потом мылся в хозяйкиной баньке, стоявшей над оврагом среди высоких голоствольных сосен. На задах усадьбы забор был повален, и она, переходя в овражистый лес, казалось, продолжалась до самого горизонта. С этой стороны и заходили тугие снежные тучи, заравнивающие овраг и ключ на его дне.

После бани, начистившись, Кузьмин отправлялся на обед к Коломенской. В просторном ее доме он с удобствами располагался около книжного шкафа и, беря наугад книги, успевал проглотить несколько страниц прозы, а чаще стихов.

Вернувшись от Коломенской, он опять шел в баню — стирать. Первое время он щеголял в своих модных нейлоновых рубашках, но потом, главным образом из-за холода во всем лабораторном корпусе, перелез в свитеры. К Коломенской же он всегда являлся при галстуке.

В декабре, накануне годовщины смерти Крестны, он получил поздравительную телеграмму от родителей и, еще не понимая, к чему она, пришел в лабораторию. Из заказного письма (переслал Герасименко) выпала открытка: ВАК утвердил его в звании кандидата наук. Он обрадовался.

— Это такой важный этап! — сказала Коломенская, когда вино было разлит в лабораторные стаканчики и тигли. — Всегда трудно найти подходящие слова, если хочешь быть искренним, поэтому я



повторю стихи: «Я пью за здоровье не многих, не многих, но верных друзей, друзей неуклончиво-строгих в соблазнах изменчивых дней...»¹. Дорогой Андрей Васильевич! Вы работаете у нас недавно, но мы уже полюбили вас за умение работать, быть неуклончиво строгим. За ваши успехи!

С Кузьминым чокались, торжественно пожимали ему руку, а Любочка отлучилась куда-то на минутку, а потом под аплодисменты вручила ему роскошную ручку с золотым пером. Он благодарил их всех и кланялся, а они все хлопали, пока он не догадался поцеловать ужасно смущенную Любочку.

Он обучил Любочку своим методикам и теперь только краем глаза следил за тем, как она работает.

После Нового года (он благобно отпраздновал его у Любочки, кроме него, в гостях была еще Коломенская) он беззащитно сунул нос в соседние комнаты, где работали ребята-аспиранты — милые солидные парни, поначалу потешавшие его своей сугубой основательностью. С московской легкостью он перешел с ними на «ты» и стал поглядывать на их пробирки.

Пожалуй, только добродушно-мордастый Федор добровольно и даже несколько суетясь подпустил Кузьмина к своим хилым культурам тканей. Руки у Кузьмина зудели, и он целую неделю провел у Федора в комнате, натаскивая его на культивировании фибробластов. Пока у Федора совсем ничего не получалось, Кузьмин был терпелив, вежлив, по-столичному академичен. Когда же Федор стал из раза в раз все тверже творить чудо оживления этой ленивой клетки, Кузьмин стал придирчив, язвитель и нетерпелив. При всем том он делался смешно благожелателен и даже сюсюкал, когда Федор хоть чуть-чуть начинал задумываться о модификации методики. «Это же классная идея! — говорил Кузьмин. — А ну, попробуем!»

Однажды он увязался с ним на ферму, но всей процедуры забора крови и кожи не выдержал, ушел, когда увидел набывшееся, оступившее лицо Федора.

А в Любочкиной комнате были милый порядок, тишина. Любочка гнула спину над препаратами. «Попробую устроить один фокус!» — пообещал Кузьмин и порывшись в термостате, ему попались подходящие культуры ткани (он даже не спросил, зачем они здесь), и он начал, дурачась, импровизировать.

— Любаш, — сказал он через два дня, — посмотри, какая прелесть! Давай делать вот так, а? А потом раздобудем другие стимуляторы и ка-ак!..

— Да, интересно, — отозвалась Любочка, выбираясь из-за его микроскопа и принимаясь за свою рутину. — Опять ругаться будут — не успеваю!

— Что это на тебя наваливают! — возмущился большой начальник Кузьмин, отбирая у Любочки часть стекол. — Считать трансформации?

Игнорируя правила лаборатории, он закурил и, привычно, механически точно заправив под прижимные клеммы стеклышко с отпечатком ткани, стал считать клетки. Потом он взял следующее стеклышко, потом еще одно.

— Что за черт! — сказал он. — Любаш, почему ты останавливаешь трансформацию на этой стадии?

Любочка подняла голову от окуляра микроскопа, вздохнула и, умоляюще поглядев на Кузьмина, объяснила: это они испытывали противоопухолевую вакцину!

Кузьмин засмеялся, он смеялся, откинувшись на стуле и шаркая ботинками по полу. Отсмеявшись, он

покашлял, стараясь быть серьезным, осторожно высказался:

— Очень странный путь, Любочка! И вообще где логика?

Любочка только грустно поглядела на него.

Кузьмин сбежал к Федору, взял кусочек опухолевой ткани и поставил опыт собственными руками.

Последние три часа он жил как на иголках. Пока стеклышки сушились, он выскочил в коридор покурить. Любочка со своего места оцепенело наблюдала за ним. В тот же день он повторил опыт, взяв другую опухолевую ткань.

Через трое суток он постучался в дверь кабинета Коломенской.

— Неужели так просто? — спросил он ее, протягивая свои препараты.

Коломенская рассмотрела препараты под микроскопом.

— Если бы это случалось каждый раз! — вздохнула она. — А этому я не перестаю удивляться сама...

— А если для усиления попробовать стимуляторы? — сам себя спросил Кузьмин. — Тогда трансформация короткая, антигенность максимальная... — Он думал вслух.

— Я надеялась на то, что вы поможете нам, — сказала Коломенская.

Кузьмин поднял голову и наконец-то понял, что заставляло его вглядываться в ее лицо, — она была очень похожа на Крестну: взглядом, вопрошающим «Кто ты?», лицом стойка, несуетливыми движениями человека, экономящего силы.

Вернувшись во флигелечек, он рассеянно затопил печь, сбежал с ведрами за водой. Он двигался, делал все механически правильно, но как с закрытыми глазами, ибо видел только то, о чем думал. («Это бред, это чудо! Шаманство, находка, случайность?..»)

Как всегда, он начал с программы. Она получилась большой, на полгода. Коломенская написала Герасименко. Тот ответил: «Согласен! Желаю успеха!»

Сначала ничего не получалось: злые толстые клетки почти не чувствовали его живую воду.

Не хватало реактивов, стимуляторы работали отвратительно, нужны были свои: чистые, мощные.

Кузьмин за три дня обернулся в Москву и обратно: набил чемодан старыми запасами, побегал по аптекам и складам, где у него были знакомые; взглянул на час к родителям, но полдня просидел с Тишиным, кланяясь, выпитывая и подначивая; он обзвонил ребят, имевших выходы на электронный микроскоп, аналитическую аппаратуру, иммунохимию, но что-то удержало его от звонка Н. и Галкиным.

...Неудержим азарт поиска: сначала идешь шагом, вздрагиваешь от неожиданных теней, миражей, но вот мелькнула цель, и ты узнаешь ее мгновенно, по обрывающему сердце испугу. Тогда — вперед! Что-то выпрыгивает из-под ног, что-то цепляется за руки, но вперед, вперед! Вдруг — удача, снова цель мелькнула раз, другой... Поворот! — береги дыхание — в одну сторону, в другую! Настигаешь ее на проложенной кем-то неизвестным твердой тропинке, уже ближе, ближе удача, и вдруг проваливаешься в болото — рвешься из него! — вырвался! И вот она — цель, близко, перед глазами — загоняй ее под флажки, ставь облаву!..

...Как только он вернулся к методичной лабораторной работе, вернулась, вызывая недоумение окру-

¹ Вяземский П. А. «Друзьям».

жающих, его аспирантская привычка поздно вставать.

Очнувшись от глухого сна, он, прикрыв глаза, покуривал; потом, накинув на плечи одеяло, добегал до печки, бросал в топку на угольки заготовленную щепу и полешки и снова забирался под одеяло, иногда задремывал. Когда флигелек прогревался, он напяливал на себя свитер и делал зарядку. Возбуждаясь от яркого искрения снега за окном, он пил теплый чай, брился и отправлялся на торжок.

В лабораторию он попадал к полудню, с ярким румянцем во все щеки, то с кульком льдистой квашеной капусты, то с мочеными яблоками, возбужденный, с сияющими глазами, напоминая беззаботного отпусника болтливостью, суетным любопытством к чужим делам и запасом ничего не значащих впечатлений. Лучшие часы наступали вечером.

Коломенская и Любочка быстро поняли, что его стихия — одиночество, работа в полном согласии и понимании, и стали подлаживаться, оставляя его в лаборатории одного пораньше.

«Я остался без котлет — муха съела мой обед. Люба кашки принесет и от гибели спасет», — так он тихо пел по вечерам, иногда насвистывал этот мотивчик. И в самом деле, хлопала внизу дверь, и появлялась Любочка, в полушубке, укутанная платком, с кастрюлькой. Идиллия — он ел кашу, почти урча, а она смотрела на него. Днем, случалось, он все еще покрывал на нее или, цокнув языком, принимался готовить препарат сам, но вечерами, когда она приходила к нему в лабораторию и сидела тут же, рядом — протяни руку! — в домашнем платье, он начинал дурачиться. Смешно, но он заметил — их стараются оставлять вдвоем. Иногда он думал: она? Тихая, ласковая, верная... Под домашним платьем обозначались формы, складенькая фигурка, но ни разу ему не хотелось положить руку на ее плечо, вдохнуть запах ее волос. Иногда, когда он очень уж упрашивал, она пела; чистый ее голос, выводящий медленные слова, волновал его, но не к ней обращено было это волнение.

После ухода Любочки он начинал работать еще собранней — было не до насвистывания.

Если от запахов и голода его начинало мутить, он открывал в соседней комнате окно и, вывалившись до пояса наружу и разглядывая яркие ночные звезды, пил холодный вкусный воздух. Каждый вечер, около полуночи, дождавшись мигания в проеме окна красного сигнального огня беззвучного рейсового самолета, он уходил из лаборатории и пробирался по черноте узких заметенных переулочков к себе во флигелек. Редкие, золотистым дрожанием светящиеся окна томили его в эту глухую пору, как и самолет, ушедший на Москву, и он поспешал, окончивший, к теплу.

В черную метель, когда вихрь, кружа, обхватывал его голову, врывался под опущенные уши шапки, он, ослепший, шатался под ветром, упираясь и размахивая руками, и однажды, в сине-белой вспышке замыкания уличных проводов сквозь зажмуренные веки увидел себя как бы со стороны: на серебрино-сверкающем снегу, отчаянно, как с призраком, борясь с невидимым сопротивлением, стоял одинокий человек. «На свету и в тьме ночной одинокий я, нагой. И дрожу, а вдруг все так: воровской я слышу шаг?» — вспомнились Алешкины стихи.

Растопив печь и ужасно боясь угореть, полусонный, он тыркался по флигелечку, жуя на ходу, и одинокая свеча (там не было электричества) да пламя из топки, стелящееся по полу, не освещающее потолок, делали его дом похожим на нору.

Он наметил дорожку. Теперь следовало протоптать ее, ощупать ногой и глазами каждый милли-

метр. Опыт пошел в серию, и Кузьмин немного освободился. Мало-помалу его охватила знакомая хандра — признак неудовлетворенности. Он вдруг обратил внимание на то, что Любочка стирает его халаты, и придал этому какое-то особое значение, сконфузил ее, а через час, отойдя духом над препаратами, спросил, бестолковый, пойдет ли ему борода. А вечером вдруг написал письмо родителям.

9

Он пришел обедать в столовую фабрики. Сел на свое постоянное место и, меланхолично прихлебывая суп, отметил, что сегодня он не в одиночестве, — за другим столиком сидели четыре девушки. Трое из них, видимо, убеждали четвертую и, похоже, уже давно, потому что время от времени они отвлекались, поглядывая по сторонам, и Кузьмин, конечно, попался им на глаза.

Одна из них повернулась к нему вполоборота, и Кузьмин застыл с ложкой в руке, проливая суп себе на колени.

Он растянул обед на полчаса, все разглядывая ее.

Она мало говорила, и ее голоса он не расслышал, но жесты — она поправляла короткую толстую косу, провела рукой по плечу — напомнили ему плавностью и законченностью маму. Он пригласился к другим девушкам, несколько развязным, с вульгарными, как он определял это про себя, жестами, с громкими голосами, и сразу и навсегда потерял к ним интерес.

Она встала, и он увидел легкую ее фигуру, а когда вся компания прошла мимо него, он разглядел ее лицо, немного холодноватое из-за глаз, но прекрасно вылепленное, с благородным подъемом бровей, маленьким высокомерным ртом. Он ощутил спрятанную в этом лице тайну, загадку, ту самую, которую хотел обрести и узнать. Он загляделся ей вслед.

Назавтра, естественно, он был на посту, но пообедал в одиночестве. Поразмыслив, он походил вокруг фабрики, нашел афишу Дома культуры и, приодевшись, явился на танцы, готовый ко всему. Он проторчал в зале у стены до самого последнего вальса и ушел, странно опустошенный. На следующий день в лаборатории он был рассеян и дважды ходил обедать.

Еще целую неделю он, подгадывая разные часы, высиживал в столовой по сорок минут, но встреча не случилась.

К этому времени он стал работать с человеческой тканью, беря образцы опухолевых клеток в отделениях городской больницы, прямо в операционных.

...Он спускался по лестнице из гинекологического отделения, когда из окна увидел эту девушку с двумя подружками.

В кармане у него лежали образцы, и надо было торопиться, но, поглядев на часы, он разрешил себе полчаса опоздания и деланно неторопливо спустился в вестибюль.

Девушки стояли и уговаривали равнодушную, твердо сидящую на стуле гардеробщицу отнестись в отделение пакет-передачу, говорили, что отпросились с работы, их голоса были просительны высокими, но среди них Кузьмин не услышал голос светловолосой.

Он подошел и спросил: «В чем дело?» По тому, как они посмотрели на него, он понял, что узнал. Спросил-то он всех, но глядел на одну светловолосую.

сую. Она и ответила, прямо и спокойно поглядев ему в глаза.

Он взял передачу и размеренным шагом человека в своем праве поднялся в гинекологию, нашел четвертую подружку, передал ей пакет, велел ей, обалдевшей, писать записку, а сам разыскал закуток ординаторской, попросил «историю болезни» этой девушки и убедился: конечно же, «прерывание беременности».

Спустившись вниз, он, как и надеялся, увидел, что светловолосая одна и ждет: в расстегнутом пальто, спустив платок на плечи, она стояла у стены, рассматривала мрачные медицинские плакаты. Она прочитала записку, холодно сказала ему: «Спасибо», — и, на ходу застегиваясь, пошла к выходу. Лихорадочно быстро (под насмешливым взглядом гардеробщицы) Кузьмин оделся и побежал догонять. («Девушка, девушка! У меня ноги больные, не успеваю!..») Он проводил ее до проходной фабрики, весь путь балагуря и пытаясь ее разговорить, но узнал лишь, что ее зовут Наташа.

Забавляя ее, он не забывал греть ладонью флакончики с клетками и никак, никак не мог выключить тикающие в ухе часы. Когда они подскказали, что время отсрочки истекло и опыт не может быть признан безупречным, он незаметно выбросил флакончики в сугроб.

Когда они с Наташей распрощались (она только кивнула, так и не ответив, где они встретятся), он припустился бежать в лабораторию, а Наташа осторожно подглядывала за ним через заиндевевшее стекло проходной. На работе ее засыпали вопросами подружки; она отшучивалась и смеялась вместе с ними.

На следующий день, встретив Наташу в столовой в свой обычный час — и не удивившись этому! — он не вернулся в лабораторию, а поехал в центр города покупать билеты в кино.

Еще было слишком холодно, чтобы прогуливаться по городу, поэтому приходилось по несколько раз посмотреть один и тот же фильм (то, что раньше раздражало Кузьмина — перешептывания в кинозале, — теперь казалось естественным и правильным), ходить к Наташе в общежитие под прокурорские взгляды комендантши.

Постепенно она разговорилась, перестала косить на него; если ей надо было что-то ему сказать, она поворачивала голову, и он обалдело любовался тем, как она говорит, как размыкаются ее губы, как она хмурит брови и, недовольная его глупым видом, отворачивается. Иней опушал платок и уголки воротника ее жалкого пальтеца, и из этой глубины, пронизывая, парализуя, на него внимательно-холодно смотрели серо-голубые глаза. Кузьмин поражался тому, как много может сказать мимолетная улыбка, взгляд, стремительно охватывающий всего его, и плавный жест руки, поправляющей клапан кармана на его пальто. Он опять стал тщательно бриться, придирчиво проверяя ладонью гладкость кожи, опять перелез в белые рубашечки.

Он узнал, кто она и где родилась; что она учится в вечернем техникуме, а мечтает быть художником-костюмером, что в Москве она была только раз, на два дня, и ей понравилось. Она узнала о нем много больше, почти все.

Он приглашал ее в один из трех ресторанов города, он навязывался познакомиться с ее родней, но она так взглянула на него — он не знал, что и подумать.

И когда однажды, прерывая декламацию стихов, она сама, без всякого нажима, пригласила его на танцы в Дом культуры, он, уже зная кое-что об укладе городка, принял это приглашение как дар, как награду за подавляемое желание взять ее за руку, приблизить к себе ее лицо и узнать, внять его тайне.

А на танцах он усвоил и еще один урок: будучи приглашенным, он получил, оказывается, на этот вечер какие-то права на нее — она танцевала только с ним, в паузах держала его за руку, подвела к своим подружкам, познакомила его с ними и позже в тесном буфете выпила с ним вино из одного стакана. И в тот вечер он впервые поцеловал ее.

Она, как сумела, постаралась ответить на его поцелуй, и он с восторгом, мальчишеским чувством превосходства над всем миром отметил, что делать этого она не умеет.

А через неделю она согласилась прийти к нему после занятий в техникуме.

Он волновался: перегрел, а потом слишком vystудил флигелечек, наставил на стол бутылок и всякой чепухи, а не подумал о том, что она просто голодна. Она сама приготовила яичницу на двоих, выпила без всякого жеманства вина, когда у печки ей стало жарко, пересела поближе к нему.

— А Таню выписали, — сказала она.

— Как долго! — отозвался Кузьмин. — Зачем она?

— Правильно сделала, — сказала Наташа. — Зачем ей ребенок, если папаши нет. Мы ей все так и объяснили.

— Я видел, — сказал Кузьмин. — А ведь мог родиться человек... Может быть, и папочка бы нашелся!

— Брось! — усмехнулась Наташа. — Он даже с фабрики уволился, когда узнал. Вот так!

— А вдруг узнал бы о ребенке и вернулся...

— Может быть, ты и вернулся бы, — улыбаясь, сказала Наташа, — но чтобы Валерка вернулся — нет!

— Наташк! А люди ведь меняются...

— А-а! Горбатого могила исправит!

Они сидели при полной иллюминации — три свечи и печная топка. Наташа задудла ближайшую к себе свечу.

— Смотри, без света останешься.

— Ну, а если бы ты попала в такую ситуацию: с ребенком и без мужа?

Наташа засмеялась:

— Ты меня совсем не знаешь, Андрей. Если я на это пойду, значит, я решила навсегда. — Она посмотрела на него, и он понял, что она хотела сказать ему этим взглядом.

— Слушай, — сказал Кузьмин после молчания. — Но ведь это невозможно решать навсегда. Это как сделка. Например, вдруг ты разлюбишь?

— Это мужикам легко говорить: любишь-разлюбишь... — сказала Наташа. — Вот такая уж я есть.

Они смотрели друг на друга, и тишина и пламень становились непереносимыми. Он поднялся с пола, шагнул к ней, не шелохнув язычки свечей; она потянулась навстречу его рукам, тесно прижалась грудью, одной рукой обхватывая его за шею и пряча свое лицо в его лице, но другая ее рука сторожила его движения. В самые мучительные мгновения он даже чувствовал отпор этой руки; наконец он оторвался от ее губ и, отстраняясь, поцеловал эту руку, теперь слабую, доверчивую. Ласка этой руки была самой нежной, самой значительной, и Наташа отдала ему эту руку — до самых дверей общежития. Там она подставила ему щеку и, попрощавшись уже холодеющим взглядом, исчезла.



«Март неверен: то плачет, то смеется», была от-
тепель, оказывается.

Полдороги Кузьмин целеустремленно месил рых-
лый снег, карабкаясь на холм, а на его вершине,
задохнувшись, остановился. Под ним лежал покой-
но задремывающий городок с пунктирным обозна-
чением улиц, с маленькими, придавленными снегом
домишками; где-то в этой темноте ложилась спать
Наташа.

В лицо Кузьмину мягкой, влажной волной, от са-
мых звезд, повеял ветер. Кузьмин снял шапку.
«Наташа,— позвал он шепотом,— Наташенька!» — И
долго стоял с закрытыми глазами, дожидаясь хотя
бы эха. Когда он открыл глаза, мир был прежний,
но все-таки изменившийся.

Неужели это она? — подумал он. Не ласковая, не
тихая... Господи, да разве мне мать нужна? Он ныр-
нул в себя, прислушался: пришло ощущаемое ко-
жей, вызывающее головокружение и слабость вос-
поминание движения ее пальцев по лицу. Нет, по-
нял он, это навсегда, она уже во мне. Все, Кузь-
мин? — спросил он себя.

Их разговор оставил в нем осадок, и он знал,
что навсегда, как заклятье. Ну, что ж, вот такая
она есть, подумал он и ошибся.

Во флигелечке он разулся, рассовал носки, бо-
тинки, брюки вокруг еще теплой печки, допил ви-
но и, отведя, как рукой, все тревожное, лег на кро-
вать. Не заснул: пришла знакомая ясность. Он под-
нялся, набросал в топку дров.

Со стороны казалось — вытянувшись, почти обжи-
гая ступни о разогревающуюся печь, лениво поку-
ривая, лежит человек, то потрогает себя за ухо, то
вздохматит волосы, и лицо у него спокойное. А бы-
ла легкость, быстрота. Он пробежался по результа-
там опытов последней серии, быстро рассортировал
их и прикинул длину дистанции.

Коломенская, методично изучив препараты (в то-
мительном ожидании Кузьмин успел помрачнеть),
сказала:

— Боюсь, что это не совсем то. Я не вижу обыч-
ных «включений».

— «Включения» были, кажется, на предыдущей
стадии трансформации,— Кузьмин пододвинул к ней
грудь стеклышек.— По идее — это первая стадия
нормализации.— Он начал сердиться.

— Я не упрямлюсь, дорогой Андрей Василье-
вич,— сказала Коломенская, складывая, как девочка,
руки на коленях.— Поверьте, все пятнадцать лет я
видела эффект только после появления «включе-
ний». Вы же знаете: факт неоспорим!

«Посмотрим!» — бормотнул про себя насупленный
Кузьмин.

...Лаборатория снова потребовала всего его внима-
ния. Любочка, Коломенская, перешедший в их ко-
мнату Федор — он не ощущал их рядом. Дни летели
кувырком — перепроверяя себя, он вдруг обратил

внимание на странную краткую метаморфозу опухлевой клетки, и вот уже целую неделю, задержавшись на этой стадии, он получал поразительные результаты. Ему не хватало большой техники, той, которая через несколько лет тяжелым шагом пройдет этот путь, а пока он бился, захлебываясь, силась переварить значение и суть открывшегося феномена. И, главное, не мог погасить внезапно, интуитивно возникшую тревогу.

Кажется, он загрузил себя вдосталь — появилась и не уходила тупая головная боль, однажды он испытал известное ему по клиническим учебникам «чувство падения в лифте» — это пропустило удар сердца. За эти дни в его лице произошли грубые перемены — на лоб легли морщины, уголки рта поднялись, появилась прищур. Иногда, обхватив голову руками, подолгу он сидел, рассказывая, над микроскопом, перебирая возможные объяснения. У него появился чудовищный аппетит к сладкому: за три дня он съел литровую банку с медом, невесть откуда (для него) оказавшуюся в лаборатории. Он машинально отметил, что в те дни голова не болела, и позже сообразил: то постоянное сосущее чувство пустоты в животе — просто глюкозный голод. Пожалуй, он впервые подумал о себе — надо себя питать, а то тело сносится.

И все-таки он был в тупике. Уже прошло желанное доказать свою правоту, хвастливое чувство превосходства, он остался один на один с загадкой и оказался бессилем.

Утомленный, он возвратился к простой, будничной работе, но сосредоточенность взгляда, медлительность движений и приступы внезапных «отсутствий» не прошли.

Все это время, возникая и исчезая в столовой, Наташа улыбалась ему странной, ожидающей улыбкой. А он воспринимал ее, как через стекло; ему доставало сил только на внимательное рассматривание ее. Все, что она говорила, он тотчас забывал.

Он не знал, что пока он сидит до полуночи в лаборатории, она ходит вдоль забора, пропуская занятия в техникуме, мучаясь недоверием и ревностью к Любочке, только что ушедшей с кастрюлькой домой. И вот однажды сквозь лабораторные шумы ему послышался стук на наружные двери корпуса.

— Кто там? — рывкнул он, сбегав вниз (наверху застывал агар, и надо было следить за температурой его охлаждения).

— Это я, — услышал он Наташин голос. И обрадовался.

Он прижался к ней, настывшей, и она, стяхнув варежку, прижала руку к его лбу.

Укутавшись в пальто, она тихо ходила по гулкой лаборатории, приглядывалась к его рукоделию и даже нашлась, когда надо было перехватить флакончики. Он сел за микроскоп с фотонасадкой, настроил его, со вздохом убедился в стабильности непонятной ему картинки, а она хозяйственно вскипятила чай, налила ему в блюдечко сгущенки и села в уголке на Любочкин стул.

Взвешенный, какой-то обсосанный Кузьмин наконец сладко потянулся:

— На сегодня все! Пошли, Наташенька. — Он вдруг разглядел ее новое красивое платье.

— Я уже неделю в нем, — сказала Наташа.

— Знаешь, Нат, я был ужасно загружен, — смутился Кузьмин. И не удержался: — Прости, а?

Он встретил ее странный, изучающий взгляд и, вообразив, что сейчас был хвастлив, смутился.

Он тщательно закрыл все окна, навесил засов на наружную дверь внизу, спрятал ключ и уже на тро-

пинке к дыре в заборе, отходя на морозце, по тишине, яркости звезд и устойчивости плотного воздуха понял, что время позднее.

— Тебя же не пустят в общагу! — испугался он, наивный.

Она кивнула, поднимая на него неразличимые в темноте глаза. Он отвел с ее лба прядку волос, взял ее лицо в ладони и долго-долго, перенесясь далеко вперед, разглядывал его, покорное, с прикрывающимися глазами.

— Я люблю тебя, — сказал он.

— Да, — сказала Наташа. — И я люблю тебя.

Она лежала рядом, уступив ему во всем смело и откровенно, с первой минуты, как бы решив для себя пройти этот путь до конца. Они не спали. Он боялся, что ей тесно, отодвигался, но ее рука, та, что раньше упиралась ему в грудь, теперь ненавязчиво касалась его, и отчуждения не возникало.

В пять утра на стекле появился отсвет. Сиплым от курения голосом Кузьмин спросил:

— Выйдешь за меня? Я люблю тебя.

И опять та нежная рука, вытянувшись из-под одеяла, легла ему на сердце, а другая обняла за шею, притянула.

Был будний день, и Наташа ушла на работу. Целую Кузьмина, она сказала, во сколько придет в столовую, велела купить торт и вина.

Вечером она перенесла к нему чемодан; чуть позже, к накрытому столу, появились девчонки. Когда они с обязательным визгом ввалились в флигелечек, Кузьмин смутился, был скован, а Наташа — естественна, и это сильнее другого открыло ему разницу в их решимости. Он другими глазами смотрел на нее, представлял ее в московской квартире, в Алешкиной компании, и знал уже, что и там она будет так же естественно держаться, останется такой же красивой и близкой ему. Он подумал о том, что она говорила: о верности и многом другом, — и обрадовался.

Кузьмин танцевал с девчонками под музыку из транзистора, припоминал для них смешные анекдоты и подглядывал за Наташей.

В десять часов она без церемоний выставила девчонок (все они дружно обсмеяли предложение Кузьмина проводить их до общежития), принесла дрова и закрыла дверь.

Весь этот день, открывая его от дела, она была с ним памятью прикосновений, вырвавшегося стога и быстрых слез.

Он сейчас обнял ее, не жадно и слепо, а нежно, решив про себя пробиться навсегда к ее ровному теплу — ведь каждого человека что-то греет!

Они больше не говорили о любви; слова уже были однажды сказаны, и, значит, каждый поручился за себя; Кузьмину оставалось только ждать, и однажды он, размыкая объятия, уловил задерживающее прикосновение ее осторожных пальцев к своим плечам, и, наконец, пришла ночь, когда она заснула, обняв его за шею.

А он не спал, лежал, не шевелясь, прислушиваясь, и вдруг, как услышанный вздох, пришло: «Динь-дон! Динь-дон!». Слышишь этот тихий звон? В сердце он ко мне стучится — значит, что-нибудь случится?»

(Окончание следует).

АЛЕКСАНДР ПАСТУШЕНКО

Александр Пастушенко
27 лет.
Служил в армии,
сейчас работает
электриком на ВДНХ.

РАССКАЗЫ



I. марш-бросок

—Рота-а-а!!! В ружье!..— не прозвучала— пронзила Алешкино сознание команда дневального. Спрыгнув со второго яруса койки на пол, он в полутьме рукой нащупал табурет, на котором аккуратной стопкой было сложено обмундирование, быстро схватил его и принялся напяливать на себя.

Сосед по койке Ахмед Джанибеков больно толкнул локтем— голова окончательно прояснилась. Брюки—раз, куртка—два. «Теперь сапоги. Только бы успеть, только бы успеть». Лихорадочно ухватив портянку, Алешка Седых одним движением обмотал ею ступню и сунул ногу в сапог. Моментально тем же способом натянул и второй сапог. Взяв ремень и пилотку, выдернул из-под койки вещмешок, бросился к «пирамиде» с оружием. Краем глаза успел заметить, что Ахмед еще возится с пуговицами на брюках.

Рванув крышку «пирамиды», отбросил ее вверх. Автомат на плечо, противогаз—на другое. Теперь самое противное, как считал Седых: штык-нож, подсумок с магазинами, шанцевый инструмент. Как долго с ними всегда приходится возиться—ужас. Дрожащими от волнения руками нанизал все это на ремень и бросился в сторону от «пирамиды». На ходу поправляя сползшую с плеча лямку сумки противогаза и застегивая ремень, выскочил из казармы. «Старики» уже стояли в строю. «И как это они успевают?—удивленно подумал Алешка.—Ведь всех раньше, кажется, вскочил, а они уже тут».

—Опаздываете, рядовой Седых,—суровым голосом произнес стоящий перед строем и смотрящий на секундомер старшина.—Пооперативнее надо работать.

«Опять придирается,—с раздражением подумал о нем Алешка, занимая свое место в строю.—И что я ему плохого сделал...»

Через несколько секунд вся рота была в сборе. Строгим взглядом окинув строй, старшина зычным голосом скомандовал:

—Рота-а-а! Равняйся! Смирно!—И не спеша, внимательно осматривая солдат, пошел вдоль строя. «Сейчас наверняка подойдет ко мне и к чему-ни-

будь придерется. И что за человек. Вечно мною недоволен, вечно ему что-то не так. Чего он меня так не любит?»

Алешка служил уже второй месяц и, как ему казалось, с первого же дня не понравился своему старшине. Всегда придирается к нему, делает замечания: неправильно честь отдал, неправильно обратился, неправильно отошел. До наряда вне очереди, правда, дело еще не дошло, но гроза уже надвигалась. Алешка это чувствовал. «Вот и сейчас, всех пройдет, а возле меня обязательно остановится,—думал он.—Чем-нибудь я ему обязательно не понравлюсь. Такое уж, видно, создание—этот старшина. Если не взлюбит—то до конца. Эх, не повезло со старшиной».

—Рядовой Седых, что у вас за вид?—сурово заговорил старшина, остановившись напротив.—На каком плече должен висеть противогаз? Почему пуговицы обмундирования расстегнуты? А это что такое?—Нагнувшись к Алешкиному сапогу, старшина двумя пальцами потянул торчащий из голенища кончик портянки.

«Вот оно, начинается. Никому ни слова, а мне целую кучу замечаний».

—Вольно!—скомандовал старшина.—Обмундирование и снаряжение привести в полный порядок!

Алешка торопливо перебрал лямку сумки противогаза с одного плеча на другое и быстрыми движениями пальцев принялся застегивать пуговицы своего обмундирования. Едва он застегнул последнюю пуговицу, раздалась команда:

—Равняйся! Смирно!

Алешка вытянулся и замер.

—Нале-во! Шаго-ом марш!

Через несколько минут рота была за пределами военного городка. Вышагивая по пыльной дороге, он на ходу засунул портянку поглубже в сапог и время от времени бросал взгляды на шагающего сбоку старшину. «Ишь какой,—неприязненно думал Алешка.—Ручищи что кувалды, а ноги как у слона. Такому можно хоть сто километров без отдыха шагать. И вечно придирается».

Неожиданно ему вспомнилось, как старшина сделал первое замечание. Их рота построилась на обед. А перед построением Алешка не успел почистить сапоги, что обязательно надо делать. Уже в строю он потер ногой об ногу, стараясь смехнуть

пыль. Спереди сапоги вроде заблестели, но вот сзади... Сзади на них лежал густой слой пыли. «А-а, сойдет,— подумал он.— Авось, не заметит». Но старшина, осмотрев строй, внезапно приказал: «Кру-гом!» И вся грязь и пыль Алешкиных сапог бросились в глаза. Наряд он ему в тот раз не объявил, но внушение сделал серьезное. Алешка до сих пор помнит его строгий колющий взгляд.

— Рота-а-а! Бего-ом марш! — скомандовал старшина, прерывая его воспоминания.

«Вот оно, начинается,— недовольно подумал он,— сейчас будет, как в бане. Ох, старшина, старшина...» И Алешка ушащенно заработал ногами.

В строю бежать тяжелее и в то же время легче. Тяжелее — потому что нельзя самостоятельно выбирать себе дорогу; нельзя петлять, словно заяц. А легче — потому что постоянно ощущаешь локоть товарища, и в прямом и в переносном смысле этого слова. В трудную минуту, когда кажется, что нет больше сил, когда уже задыхаешься и чувствуешь, что вот-вот готов свалиться замертво — глянешь на соседа справа, на соседа слева, и будто открывается второе дыхание. Они-то ведь бегут — и ничего, а ты чем хуже? Алешка знал это еще с учебного пункта. Именно это во время бега прибавляло ему сил, не давало свалиться под ноги своим товарищам, заставляло бежать, бежать и бежать. До тех пор, пока не звучала команда: «Стой!» Вот и сейчас, правой рукой сжав ремень автомата, а левой прижимая к бедру сумку с противогазом, он бежал и ждал только одного: команды «стой» или же в крайнем случае «шагом марш».

Но старшина скомандовал:

— Газы!

Это слово прозвучало резко, хлестко, для Алешки оно было словно пощечина. «Вот когда начинается «бана», — машинально подумал он, выхватывая из сумки шлем-маску противогаза и натягивая ее себе на лицо. Дышать сразу же сделалось тяжело. Стекла очков мгновенно запотели и все вокруг поплыло, как в тумане. «И кто только изобрел эти проклятые намордники? Самого бы изобретателя сюда. Нет, не изобретатель виноват. Ох, старшина, старшина... А может, и не старшина».

— Подтянись! — услышал Алешка голос старшины. — Шире шаг!

Когда рота пробежала километра три-четыре, Алешка почувствовал, что его начинает подташнивать. Дышать становилось все труднее и труднее. Стекла шлем-маски окончательно запотели, и он едва различал спины впереди бегущих солдат. «Когда же это кончится, когда? — шептал он самому себе. — Долго ли еще бежать? Ну, старшина, ну, погоди».

— Не отставать! Шире шаг! — глухо, будто откуда-то из подземелья, донеслась команда старшины. «Во, только и знаешь кричать», — уже без недовольства, как-то равнодушно подумал Алешка. Сапоги словно сделались свинцовыми и отрывать от земли их стало невыносимо. Хэбэ пропиталось потом, который к тому же еще и застилал глаза. Вытереть или хотя бы смахнуть его было невозможно! Мешала шлем-маска. А снять нельзя: «Газы». «Газы» — и все тут, ничего не поделаешь. Многие, очень многие таится в этом слове...

Легким не хватало воздуха. Алешке казалось, что еще минута, еще секунда — и он задохнется... Упадает. Но проходила минута, другая, третья, а он не задыхался, бежал, бежал, все бежал и бежал. Он даже удивился. И это придавало ему силы. Распотырив локти, почувствовал, что и слева и справа от него бегут такие же, как и он. Бегут. И ничего. И впереди него бегут и сзади. Значит, и он будет

бежать. Будет, будет, будет, черт побери, будет. И он бежал. «Вот она. Вот она — солдатская служба, — лихорадочно вертелось у него в сознании. — Вот она какая... Вот что такое армия... Вся тут, в этих мгновениях. Вот как. Вот. И бежать еще целых два года, целых два года. Два года, два года... Два года...»

— Рота-а! Шаго-ом марш!

«У-ух, наконец-то! Наконец, — выдохнул Алешка, сбавляя темп бега, переходя на шаг. — Еще бы противогаз сдернуть...»

— Рота-а! Отбой!

Молниеносным движением Алешка сорвал шлем-маску с лица. Раскрыв рот, принялся хватать воздух.

— Ух, ох, ух, ох, — стонал он. — Хорошо! Как хорошо!

Пот катился с его лица. Теперь, когда у него была возможность, он даже и не пытался вытереть его. Не до этого. Воздух. Какой воздух! Глубоко, всей грудью он вдыхал его и не мог насытиться. Таким воздухом, казалось, он еще ни разу не дышал. Чудо. Истинное чудо, а не воздух. Как хорошо, что он есть, что его много. Хватит надолго, на всю жизнь, на вечность. А может быть, и на всю армейскую службу — на целых два года! Хорошо. Как хорошо! Да, оказывается, только в армии можно познать всю цену этого сокровища. А Алешка и не знал этого раньше. Вот как бывает.

Поправив ремень автомата, он радостно улыбнулся и глянул на шагающего сбоку старшину. Тот строго и в то же время как-то снисходительно поглядывал на молодых солдат, словно ничего и не произошло. Весь его вид как бы говорил: «Ничего, скоро привыкнете, втянетесь, возмужаете».

«Чудак-человек, — подумал о нем Алешка, — такой воздух чистый, а он не радуется».

Прошагав еще несколько сот метров, старшина остановил роту на привал. Алешка, не снимая с себя снаряжения, бухнулся в траву и блаженно закрыл глаза. Несколько минут лежал он неподвижно. Потом, перевернувшись на спину и усевшись прямо на земле, отложил в сторону автомат, принялся стаскивать с ног сапоги. Старшина, сидя на невысоком полусгнившем пеньке, о чем-то беседовал с сержантом Краснухиным — командиром отделения, в состав которого входил Седых. Кончив говорить, он поднялся с пеньки и направился в Алешкину сторону. «Ну, опять гроза надвигается. Опять ругать будет. К чему-нибудь да прицепится. И чего ему от меня надо? Вот человечина».

— Ну что, Алексей, устал? — спросил старшина, садясь на землю рядом с ним.

— Немножечко, товарищ старшина, — ответил тот. Молодому солдату показалось, что голос у старшины сейчас прозвучал не так, как звучит обычно; не официально, не по-командирски, а как-то по-граждански, «по-домашнему».

— Ну, ничего, не вешай нос, — опять проговорил старшина. — Это только сначала наша служба кажется тяжелой, а втянешься — все будет нипочем. Помнишь, как Суворов в свое время говорил? «Тяжело в ученье — легко в бою». Солдатская закалка ой как пригодится в жизни. А что у тебя с ногой?

— Да натер. Портянка сбилась.

— Сбилась, говоришь? Эх, дружок, да ты, видно, совсем не умеешь наматывать портянки. Что же это ты так? Тебя что, на учебном пункте этому не учили?

— Учили, товарищ старшина. Но она как-то сама сползла с ноги.

— Нет, если портянку намотать на ногу правильно, с умением, она никогда сама не сползет. Дай-



Рисунок Л. КУЗЬМОВА.

ка, я тебе покажу, как это делается.— Старшина взял в руки портянку, расправил ее, потом подвинулся к ноге солдата и несколькими движениями ловко обмотнул ее.

— Вот так. Смотри, показываю еще раз.

Алешке даже сделалось как-то неловко. Еще бы, старшина, сам старшина, который только и знает, что придирается к мелочам, и вдруг ему портянку наматывает. Такое не часто увидишь.

— Ну как, уловил? — спросил тот, не замечая Алешкиной неловкости. — А теперь сам попробуй.

Седых нерешительно расправил портянку и стал наматывать ее на ногу.

— Так, правильно, — ободряюще звучал голос старшины. — А вот в этом месте, на пятке, наматывай как можно плотнее. Еще плотнее. С силой. Вот так. Ну, видишь, получилось. Вот так всегда и наматывай. И ноги твои будут целы и боеспособность на вышем уровне. — Старшина улыбнулся.

И Алешке вдруг сделалось легко и весело, неловкость прошла.

— Спасибо, товарищ старшина, — проговорил он.

— Тебе спасибо, Алексей, — ответил тот, лряча улыбку. — Такой слабенький на вид, а марш-бросок отмахал, и хоть бы хны. Молодец. Настоящий солдат.

Старшина поднялся, отошел. А Седых быстро стал натягивать сапоги. «Хороший у меня старшина, — думал он. — Простой. И совсем не грозный. Повезло с командиром. Хорошо-то как». Вскочив на ноги, Алешка Седых поднял с земли автомат, аккуратно повесил его на плечо. И в тот же момент прозвучала команда:

— Рота-а! Подъем!

Старшина, расставив ноги на ширину плеч, строгим взглядом смотрел на своих подчиненных.

Марш-бросок продолжался.

2. на стрельбище

Молодые стройные березки рассыпались вдоль стрельбища, словно атакующие новобранцы. Одни из них жались друг к другу и как бы образовывали небольшие толпы, другие росли в одиночестве. Далее шли крупные ветвистые березы. Эти будто старослужащие: не тол-

пились, не толкали друг друга локтями. Они «шли в атаку» по всем правилам военного искусства — длинными цепями, на определенном расстоянии друг от друга. Залюбовавшись чарующей красой леса, Степан оступился и рухнул в какую-то канаву.

— Тыфу, дьявол, так и шею недолго свернуть, — выругался он. Выбравшись из канавы, принялся рукавом обтирать ствол автомата. Затем он повесил автомат на плечо и быстро зашагал по лесу.

Рота, в которой служил Степан, сейчас находилась на стрельбище, выполняла упражнения. Несколько минут назад Степан «отстрелялся» и теперь шагал менять оцепление.

Вскоре лес кончился, и Степан вышел к берегу небольшой речушки. В этом месте и находился южный пост оцепления. Сменить он должен был ефрейтора Филатова. Поискав знакомую фигуру сослуживца глазами и не найдя ее, Степан медленно прошелся вдоль кустиков, что росли на самом берегу реки. В этот момент сзади него что-то хрустнуло и над самым ухом коротко прозвучало:

— Руки вверх!

Степан резко обернулся и увидел перед собой ефрейтора Филатова.

— Что, испугался? — самодовольно улыбнулся тот. — Прошел в двух шагах от меня, а не заметил. То-то. Учись маскироваться, пока я жив. А то демобилизуюсь — не у кого будет. Как стрельнул?

— На троечку.

— Слабо. Служишь уже четвертый месяц, а все пуляешь в «молоко».

— Да черт ее знает, эту мишень, — вздохнул Степан. — Кажется, из рогатки легче попасть, чем из автомата.

— Ладно, научись. — Ефрейтор ладонью хлопнул Степана по животу и зашагал прочь. На ходу обернулся и крикнул: — Смотри в оба, а то здесь грибки лазают! Еще забредут под пули!

— Хорошо, хорошо! — отозвался Степан.

Проводив ефрейтора взглядом, он, сам не зная почему, вздохнул, потом повернулся и медленно побрел вдоль берега. «И кого тут смотреть? — подумал он. — На стрельбище все равно никто не сунется. Вон предупредительные знаки на каждом шагу стоят, да и выстрелы хорошо слышно. Какой дурак туда полезет? Тем более что местные жители знают, где находится стрельбище, и за грибами в эти места не ходят. Скучно. Испустать, что ли?

Нет, не буду. Все-таки какой-никакой, а пост. Нельзя».

Степан шел, лениво переставляя ноги. Поднял голову вверх, глядя в синеву неба. Стояла прекрасная июльская пора, и небо казалось каким-то бездонным и в то же время очень близким. Казалось, стоило протянуть руку и можно было схватить его, подтянуть к земле.

В этот момент из-за деревьев послышался треск мотоцикла. Степан встрепенулся. Шум мотоцикла нарастал и притом довольно быстро. Вероятно, мотоцикл несся на полной скорости. «А ведь дороги здесь нет», — отметил про себя Степан. — Прет прямо по лесу. Лихач».

Через несколько секунд из кустов вынырнул мотоцикл.

— Стой? Куда прешь?! — закричал Степан, бросаясь навстречу. — А ну, поворачивай!

Взвизгнув тормозами, мотоцикл чихнул и остановился.

— Чего прешь, как на буфет?! — еще более грозно закричал Степан, подходя к мотоциклисту. — Не видишь — стрельбище здесь!

— А я и без тебя это знаю, — ответил водитель тонким голосом, одновременно глуша двигатель и снимая с головы шлем.

— Девчонка, — удивленно протянул Степан, увидев длинные пышные волосы и туго обтянутую курточкой грудь. — Вот это да-а...

— Она самая, — озорно улыбнувшись, ответила девушка. — А ты чего здесь торчишь?

— Значит, надо, если торчу, — ответил Степан уже менее грозно. Он ожидал увидеть в мотоциклисте мужчину или какого-нибудь желторотого юнца и потому приготовился как следует отчитать нарушителя. Но перед ним на мотоцикле восседала молодая и довольно симпатичная девушка. На вид ей было лет восемнадцать-девятнадцать. В глаза Степану бросились новые, плотно облегающие бедра джинсы. Он растерялся и, не зная, что предпринять, молчал. Первой нарушила паузу мотоциклистка.

— Ну, что, искупаемся? — предложила она, вешая шлем на руль мотоцикла.

— Не положено здесь купаться.

— Мало ли что здесь не положено. А мне нравится.

— Мало ли что тебе нравится. А не положено, — в тон ей ответил Степан.

— Ух ты, какой!

— Такой.

— А я здесь всегда купаюсь. Это — мое любимое место.

— А кто же тебе, интересно, разрешает? Здесь же стрельбище.

— А я купаюсь, когда вас здесь не бывает. Тут тихо, красиво.

— Сейчас-то не тихо. Слышишь выстрелы?

— Сейчас да. Но как только вы уйдете отсюда, я приеду.

— Вот тогда и приезжай. А сейчас не положено.

— Заладил: не положено, не положено. Я же не на стрельбище хочу проехать, а совсем в другую сторону — к речке.

— Все равно не положено.

— Ух, какой несговорчивый.

Степан промолчал. Ему показалось, что эта девчонка издевается над ним. Он старался придумать что-нибудь веское, убедительное, но ничего не получалось.

— А ты, я вижу, еще молодой, — произнесла мотоциклистка. — Небось, служишь-то вторую неделю? Са-ла-га! — Запрокинув голову, она громко рассмеялась.

— «Старик» я, — соврал Степан.

Последнее слово и особенно смех этой девчонки больно задело его самолюбие. Поправив висевший на плече автомат и шагнув к насмешнице, буркнул:

— Ладно, давай отсюда... А то хуже будет.

— Что хуже-то? Что хуже?!

Она опять, откинув голову назад, закатилась смехом. Голос звучал звонко, жизнерадостно. И это еще больше обидело Степана. Не зная, что предпринять, он рванул с правого плеча автомат и... повесил его на левое. Эти суетливые движения еще больше рассмешили юную нарушительницу.

— Ты крепче держись за свой незаряженный автомат! Крепче! — сквозь смех бросала она. — А то ненароком оступишься и упадешь! Ха-ха-ха-ха! Ой, не могу! Насмешил ты меня. На целую неделю насмешил! Спасибо! Как хоть зовут?

— Степа, — неожиданно для самого себя брякнул Степан.

— Ха-ха-ха! Спасибо тебе, Степа. Да ты не красней. Уеду я сейчас, уеду. — Вдоволь насмеявшись, она сняла с руля шлем, надела его, застегнула ремешок и резким движением ноги завела двигатель. Затем, прибавив газ, включила скорость и рывком тронулась с места. На ходу обернувшись, крикнула: — До свидания, Степа! Степа-недотепа.

Смеха ее на этот раз Степан не услышал: заглушил треск мотоцикла. Оставшись один, он глубоко вдохнул, на секунду задержав дыхание, и с шумом выдохнул.

«Огонь, — подумал он. — Настоящий огонь».

Ему вдруг сделалось грустно. Нестерпимо захотелось опять увидеть эту озорную девчонку. Поговорить с ней. Посмеяться. Вместе посмеяться. Рассказать ей какую-нибудь историю из своей жизни. Но мотоцикл трещал уже где-то далеко за деревьями и вернуть его было невозможно.

«Эх, жалко, уехала, — с горечью подумал Степан. — И теперь, наверное, уже никогда не увижу ее. А мотоцикл она водит классно. Вот бы мне так научиться, а то я даже на велосипеде не умею ездить. Смешно. И зачем я ее прогнал? Эх, Степа, Степа. Действительно, Степа-недотепа. А может быть, она из соседней деревни, тогда еще не все потеряно».

— Эй, Соснихин, ты где?! — раздался чей-то голос за кустами.

— Здесь я! — закричал Степан.

Из-за кустов показался ефрейтор Филатов.

— Топаи на стрельбище, — сказал он, подходя к Степану. — Командир роты разрешил тебе по новой стрелять. Может быть, свою тройку исправишь.

— А ты как стрелял? — спросил Степан.

— Как всегда, на «отлично», — пренебрежительным тоном ответил ефрейтор. И добавил: — Давай, чеши. Да не подкачай. А то своим трояком весь взвод назад тянешь.

— Хорошо, я постараюсь, — сказал Степан и быстро зашагал в сторону стрельбища.

Уже лежа на огневом рубеже и целясь в мишень, он подумал: «Если бы той девчонке дать автомат, она бы наверняка не промахнулась. А чем же я хуже? Попаду. Обязан попасть».

— Огонь! — раздался над ним голос командира роты.

Степан тотчас подвел мушку под обрез мишени и плавно нажал спуск.

ЧУЖОЙ



ЕКАТЕРИНА
МАРКОВА

Актриса театра
«Современник»

ПОВЕСТЬ

ЗВОНОК

I

В дверь позвонили. Позвонили протяжно и резко. Это был чужой звонок: так никто не звонил из домашних. Сунув ноги в тапки и набросив халат на плечи, я громко, пополам с зевком, крикнула хрипловатым со сна голосом:

— Кто там?

И услышала в ответ без паузы мужской голос, вяло пробормотавший свое дежурное:

— Слесаря вызывали?

Ну да, конечно же, вызывали. Как-то не сразу сообразила, что именно такой звонок непременно должен принадлежать слесарю, водопроводчику, работнику Мосгаза — протяжный, равнодушный звонок, не заинтересованный хоть маломальской надеждой на неожиданность встречи или, наоборот, удрученный ее неизбежностью.

Вообще я бы могла по звонку определить стоящего за дверью. Мой сын втыкался в кнопку звонка с разбегу. Не переводя дыхания, он наугад бил наотмашь ладошкой по стене и тут же отдергивал руку, удовлетворенный прямым попаданием. Мой муж звонил всегда виновато и напряженно, словно еще за дверью просил прощения... Торжественно и заливисто разливался по квартире доскональный звонок тети Даши, и как его органичное продолжение заполнял собой все пустоты квартиры ее зычный уверенный голос. Тимошка, моя подруга, пружинила кнопку двумя короткими тире, как в азбуке Морзе, а звонок ее мужа Андрея уныло и безнадежно зависал где-то на уровне антресолей, забитых пропыленными старыми чемоданами.

Сама я звонила всегда кратко и исчерпывающе. Мой звонок как бы снимал вопрос с лиц, открывающих мне двери моего дома. Да, именно так я звонила — безапелляционным, не дающим права на расспросы звонком.

Продвигаясь к двери, я успела, окинув полусонным взглядом квартиру, определить, на какое время засяду за уборку. Моя квартира в сей ранний час представляла собой довольно тоскливое зрелище. Споткнувшись о лыжную палку, перегородившую прихожую, залитую июльским солнцем, я чертыхнулась и, откинув со лба волосы, пробормотала в дверь:

— Сейчас, сейчас...

В ответ молчали. Пристраивая палку острием в поролоновый коврик в углу прихожей я с внезапно прорвавшейся сквозь заслоны моего еще дремлющего существа злостью успела подумать о том, равнодушно молчавшем за дверью:

Рисунки
Ю. РОДИНА.

«А чего ему, собственно, зря колыхать воздух? Ему-то что? Он хоть час за дверью торчать будет. Сервис проклятый!» От этого неожиданного всплеска моя взбудораженная мысль переметнулась к неизбежному финалу встречи: обладаю ли я необходимой трешкой или, на худой случай, двумя рублями за его бессмысленное ковыряние в засорившейся раковине, которая вскоре после его ухода будет так же безнадежно и тупо копить грязную воду. И лишь чмокающие присоски резинового приспособления, всегда удручающего безысходностью своей конструкции, способны будут на мгновение всколыхнуть ее мутные воды.

Еще больше разозлившись от мысли, что трешки у меня нет, я открыла дверь.

Беспардонный солнечный зайчик, метнувшийся от зеркала прихожей, в одно короткое мгновение высветил глаза пришедшего на помощь «сервиса». Зажмурил их на секунду своей неожиданной выходкой, заставил взметнуть резким движением копну прямой, непокорной «соломы» и завис нимбообразно над его головой.

Наши глаза встретились на секунду, чтобы отпрянуть в лихорадочном поиске спасения. Но спасения не было. Между нами лежал порог моего дома длиной в один шаг — непреодолимый, как бездонная пропасть. Откуда-то изнутри тупыми толчками поднималось нечто неведомое.

Интуитивно схватившись рукой за дверной проем, я нагнула голову и, зацепившись взглядом за тупой носок его ботинка, услышала над пылающим ухом такой далекий, такой знакомый голос:

— Слесаря вызывали?

Сейчас голос звучал жестко и чуть издевательски.

В этом голосе было что-то необъяснимое, перебросившее мостик через непреодолимую бездну порога и как бы предлагающее суровые, но определенные правила игры. Не смея поднять головы, я отступила назад, перехватила побелевшими пальцами косяк двери и пропустила его в квартиру.

...Он был ни на кого не похож.

В классе его уважали и побаивались. Он появился в этой школе год назад и сразу заслужил прозвище «сфинкс» своей поразительной способностью молчать, когда, казалось бы, невозможно не высказаться, и умением заставить свое лицо оставаться бесстрастным и покойным в самые критические минуты. Правда, Кузя заметила, что его внутреннее состояние выдают руки. Длинные, тонкие пальцы начинали подергиваться, и он, зная о том, прятал их в карманы брюк. Кузя единственная сделала это открытие, и потому, когда Грымза заводилась и осыпала Турбина несправедливыми упреками, Кузя знала, что на всегдашнюю реплику классной руководительницы: «Что за манера держать руки в карманах?!» — Турбин выгадит их сжатыми в кулаки и всем телом упрется на вытянутых руках в парту.

Тесное знакомство седьмого «А» с Турбиным началось в первый же день его появления в новой школе.

После уроков надо было мыть класс, и дежурная бригада, в которую включили новенького, осталась в школе. Как всегда, собрали по десять копеек и отправили толстого Макарина в буфет за пирожками с повидлом. В ожидании пирожков бригада «ходила на головах». Было беспричинно весело, швабры превратились в копья, которые летали по классу, тряпки, выданные хроменькой уборщицей Тасей, витали под потолком, кружа на уровне качающихся светильников, из парт громоздились баррикады, а классная доска превратилась в поле словесного боя,

где все по очереди состязались в остроумии. Дежурная гардеробщица несколько раз прибегала с первого этажа и с опаской заглядывала в класс, откуда ревели и стонало на всю школу.

Потом была передышка: все ели пирожки, — и снова заглядывала дежурная, решившая, что затишь это не к добру.

Потом с удвоенной энергией на сытый желудок взметались вверх тряпки, стучали парты и швабры — и весь этаж ходил ходуном.

От Кузи, с любопытством наблюдавшей за новеньким, не укрылось, что он несколько раз выходил в коридор и с беспокойством глядел на часы, а возвращаясь, вновь занимал свое место на подоконнике.

Казалось, происходящее вокруг его не интересовало, он словно постоянно прислушивался к какому-то внутреннему процессу, происходящему в нем, сосредоточенный и собранный. Потом, еще раз глянув на часы, новенький, не обращая внимания на любопытные взгляды сразу утихомирившихся одноклассников, засучил по-деловому рукава и начал двигать парты в угол.

Все молча следили за каждым движением новенького, а когда он, намочив в остывшей воде тряпку и лихо закрутив ее по швабре, начал шаркать по полу, всех разом прорвало:

— Во дает новенький!

— Турбин, где это ты так насобачился?

— Халтурно драишь, Турбин!

— Угод-то чего не вылизал?

— Слушай, может, тебе вместо Таси уборщицей, а?

— Эй, новенький, перед кем выпендриваешься?!

— В любимчики захотелось, новичок?

Новенький, казалось, не слышал адресованных ему реплик, которые становились все злей и настойчивей. Он был весь поглощен мытьем пола, и ничто в мире не волновало его, кроме ловко снующей швабры, и ничто не радовало глаз, кроме отмытых блестящих кусков пола.

— Ну, ты, жлобье, кончай показуху! — Нога задирала и драчуна Генки Парфенова решительно погнала на проворные движения швабры, и тряпка захрустела под наступившей ногой. Новенький от неожиданности потерял равновесие, поскользнувшись на мокром полу, неловко упал в растекавшуюся от тряпки лужу. Дикий хохот сотряс стены класса. Гурман Макаркин даже захрюкал от восторга, а Нина Зиновьева, заложив в рот четыре грязных пальца, засмеялась соловьем-разбойником.

А потом наступила тишина... Стало на мгновение слышно, как стенные часы в коридоре с усилием дергают тяжелыми стрелками и где-то этажом выше Тася гремит ключами. Все столпились вокруг новенького, который почему-то не спешил подниматься с пола.

Он сидел в луже с таким немыслимым достоинством, и так гордо торчала на худой длинной шее его голова с пылающими оттопыренными ушами, что у Кузи сильно защипало в носу и сплотнуть слюну вдруг стало трудно и больно. По какому-то неведомому приказу она шагнула к новенькому и, протянув руку, прошептала:

— Давай помогу!

Мгновенный взгляд голубых глаз обжег таким презрением, что Кузина протянутая рука сама дернулась и спряталась за спину.

Новенький медленно поднялся с пола, с сожалением оглядел замоченные брюки с аккуратными стрелочками, неторопливым движением втиснул в карманы сжатые кулаки и медленно подошел к на-

пружинившемуся Генке. Глядя прямо ему в глаза, процедил сквозь зубы:

— Если бы мы жили в XIX веке, я бы вызвал тебя на дуэль. Но, к сожалению, традиция сия канула в Лету. Поэтому живи! Сейчас я тебя бить не буду, ибо времени жаль, а оно у меня, время то бишь, на вес золота...

Новенький вытащил из кармана руку и снисходительно хлопнул обескураженного Генку по плечу: живи, живи, мол, дыши воздухом, так и быть.

Генка от растерянности даже не оскорбился, а одноклассники стояли пораженные манерой новичка говорить изысканно и старомодно, ошеломленные его поведением — странным, непривычным и будто гипнотизирующим.

А новенький домыл пол, сдвинул на место парты, тщательно протер мокрой тряпкой батареи и подоконники, вымыл начисто доску.

Дежурная бригада седьмого «А» рассредоточилась по подоконникам длинного школьного коридора и с напряжением, во множество глаз следила за малейшим движением новенького.

А тот отнес пустое ведро с тряпкой в туалет, расправил засученные рукава рубашки, причесался пятерней, вытащил из кармана сложенный выутюженный носовой платок, вытер вспотевшее лицо, бросил мимолетный взгляд на стенные часы и схватил портфель, прошествовал мимо одноклассников.

Лицо его не выражало ровным счетом ничего, и Кузе на секунду показалось, будто все только что происшедшее в классе лишь ее воображение.

Генка Парфенов сидел на подоконнике нахотлившийся и злой и, когда толстый Макаркин взглянул на него с любопытством, отвесил тому увесистый подзатыльник.

...Он единственный называл ее по имени. Только для него она была не дурацкой Кузей, а Наташей или «милостивой государыней Натальей»...

И потом, у него был свой мир...

Залитый осенним солнцем, грустным, как прощальный взгляд, маленький дворик действительно казался частичкой другого мира. Это был один из немногих столичных двориков, сохранивших черты своей былой принадлежности к купеческому Замоскворечью.

Маленькая арка выводила из этого обособленного мирка в другой, привычный мир с грохочущими грузовиками по набережной, к серым гранитным берегам Канавы, к видоизмененному, осовремененному Балчугу.

Небольшое полукружье арки по какому-то старинному тайномуговору не пропускало во дворик ни грохота автомобилей, ни разногolosья прохожих, группами спешащих посетить Третьяковскую галерею, ни любопытных взглядов туристов, посягающих на любую утаенность нацеленными объективами фотоаппаратов.

Особенно хорош был дворик весенней порой, когда на лужайках возле покосившихся сараюшек пробивалась трогательная, робкая травка, желтели неприятно скромные одуванчики. В эту пору почему-то еще острее ощущалась изолированность дворика, еще радостней воспринималось всемогущество этого мира, стойко отторгавшего московскую вездесущую суету.

Небольшой двухэтажный дом смотрел окнами на набережную, а старая каменная лестница с выщербленными временем ступенями выходила во дворик. Под этой лестницей, как правило, выгуливались по выходным дням два младших Турбина. В осталь-

ные дни недели двойняшки отбывали повинность на пятидневке в детском саду.

И еще была голубятня, тоже будто бы сохранившаяся с каких-то далеких купеческих времен. Темное деревянное сооружение с современными заплатами-досками, со свежеструганными перилами на шаткой многоступенчатой лестнице. Хозяином голубятни был Игорь Турбин. К нему слетались все голуби Замоскворечья. Облепляли сизыми стаями голубятню, сначала подрагивая крыльями, но постепенно, словно успокаиваясь, примирялись с той гулкой, грохочущей жизнью, которая бурлила за пределами двора. Их бормочущее ворчание волнами разливалось по дворику, озвучивая его застывшее оцепенение.

И в этом монотонном хлопанье словно чудилось преклонение перед тихим, обособленным мирком за его стремление оставаться самим собой.

Голуби, которые принадлежали Игорю, совсем не походили на тех сытых, самодовольных, что разгуливали по переулку возле Кузино дома. Казалось, голуби Игоря были одухотворены жизнью двора, и их глаза-бусинки были осмысленными и прозрачными.

Игорь размахивал длинным шестом, развевалась красная тряпица, привязанная на тонкий его конец, пронзительный свист разлетался над крышами домов, а внизу, застывшие от восхищения и гордости, задрав кверху смешные одинаковые мордашки, жмурились младшие Турбины.

Гибкий, с горящими глазами, копной непокорной соломой вокруг головы, мечется он по площадке, и — словно продолжение его длинной гуттаперчевой фигурки — вибрирующий шест в небе, и стаи голубей плавают в весеннем счастливом воздухе, во бравшем в эту пору все запахи щедрой, оживающей после спячки земли...

2

На кухне хлопала резиновая присоска. Чавкала и словно измывалась, назойливо утверждая свою вопиющую примитивность.

Я не могла взять себя в руки. Пальцы мелко и противно подрагивали, и сигарета никак не укладывалась между пальцами.

Голова была пустая и гулая. Перед глазами упорно стояла кухонная раковина, и все мысли, как разбухшие крошки хлеба с грязных тарелок, беспорядочно кружили по поверхности. В распахнутую форточку врывались будничные голоса прохожих, визжали на детской площадке дети, тормозили машины, не жалея дефицитной резины, но над всем этим миром звуков зловеще господствовало одно — безысходное, изматывающе-однообразное.

...— Турбин, выйди из класса... и без родителей в школу не возвращайся, — зловеще прозвучал голос географички Антонины Валерьевны, и густые брови ее свирепо сошлись на переносице. Это был самый точный признак крайнего состояния. Брови классной руководительницы, кустистые и широкие, были явным излишеством на ее лице с мелкими и какими-то незаконченными чертами. Брови же словно перекачывали с чьего-то лица по недоразумению да так и остались над маленькими черными глазками, уныло нависая, когда ничто не выводило Антонину Валерьевну из себя, и начиная копошиться похматными гусеницами при малейшем раздражении.

По ее бровям ученики седьмого «А» узнавали, есть ли какой-нибудь шанс на спасение, или же дело гиблое и кара будет суровой.

Когда брови Грымзы стягивались к переносице, но оставалась между ними глубокая продольная морщинка, — в глазах провинившихся еще мелькали робкие проблески надежды, но когда обе лохматые гусеницы безысходно срастались в одну ровную линию — дело грозило вызовом родителей в школу или же путешествием «на ковер» к директору.

У Николая Николаевича Басова, директора школы, будто в насмешку, брови отсутствовали напрочь, и каждый раз жертва седьмого «А», вызванная «на ковер», при всем трагизме ситуации силилась не прыснуть от смеха, и все, словно по сговору, скромно опускали глаза от лица директора на цветастый ковер под ногами, сиюсья сосредоточиться на витиеватых узорах. У директора тоже была кличка, звали его Сом — за сонный, почти неподвижный взгляд огромных серых глаз навывкате и тяжелую астматическую одышку. Сом был справедливый и добрый...

— Турбин, выйди из класса...

Он встал, со стуком откинув крышку парты, бледный, с непроницаемым лицом, и медленно пошел по проходу своей удивительной, гордой походкой. У самой двери он чуть повернул голову, и Кузя с ужасом скорей почувствовала, а не увидела, как презрительная усмешка тронула его тонкие губы...

Длинный пепельный столбик развалился на белом подоконнике в серую маленькую горку. Легчайшие частички пепла зашевелились от ветра и через секунду растворились, растаяли бесследно.

На кухне из крана текла вода, текла безостановочно. Она заливала мне глаза, щеки, затекала в рот и уши, холодила шею прохладными струйками, стекала знобко вдоль позвоночника.

Мне казалось, что прошла вечность. Минуты исчислялись годами. Может быть, прошло мгновение, а может, жизнь... Это мое состояние было вне всех существующих измерений.

Беспокоила лишь одна навязчивая мысль: такое уже было... Не я, моя природа проживала это странное оцепенение. Разум был не в состоянии вспомнить, помнили клетки, кожа...

Я силилась вспомнить — и не могла. Я чувствовала то, всегда смешившее меня утреннее бессилие, когда попытки сжать руку в кулак тщетны и забавны...

Перед глазами мелькали разноцветные крестики и какие-то черточки, похожие на иероглифы, в висках билась кровь, но Кузя и не думала останавливаться. Она неслась по тротуару, впечатываясь с размаху в прохожих и вместо извинений лишь переводя дух.

Люди ругались или просто укоризненно покачивали головами и оторопело смотрели вслед.

Ее неприлично рыжая голова дымилась в морозном воздухе, летящий изо рта пар мгновенно индевел на бровях и ресницах, щеки горели невыносимым жаром, а в горле стоял тугой горький комок, который никак не таял и не глотался.

На углу машина сгребала снег в огромную кучу, и Кузя, не успев затормозить, нелепо растопырив руки, пролетела в сугроб. Взметнулся вверх пушистый снежный фейерверк, дружно заржали первоклашки, стойкой слетевшие со школьной

резной ограды, улыбнулась хмурая толстая дворничиха...

Мама Игоря Турбина — молодая женщина с немолдым лицом и странными, вывернутыми суставами пальцев — была уже в кабинете Сомы. Посреди пустыннго коридора, неуютного и непривычного без звонкого школьного многоголосия и суетоки, стоял Игорь.

Кузя, запыхавшаяся, красная, как рак, сдернула вываленные в снег варежки, шумно хлюпнула носом, шагнула к Турбину. Хотела сказать, но вместо слов из горла вырвался всхлип. Подняла глаза. Турбин улыбался.

Кузя вдруг увидела себя со стороны: лохматую, распаренную, сопливую. Со страхом дернулась: не смеется ли он над ней, нелепой, дурацкой предательницей.

Он не смеялся. Глаза его, высвеченные изнутри какой-то особой лучистой улыбкой, глядели ласково и внимательно.

«Это я, то есть мы с Макаркиным... но виновата я, потому что...»

Мокрая варежка перекочевала из Кузиных рук, утонула в больших ладонях. «Не продолжайте, мадемузель, не стоит того. Я верую, что это была минутная слабость. А женщинам принято прощать слабости, не так ли?»

Кузя снова с облегчением всхлинула, потянула мокрую варежку из рук Турбина.

«У тебя, как у породистого щенка, лапы здоровые...»

«Это точно. Но передние конечности — это еще полбеды. Зато интенсивный рост задних приводит в отчаяние мою родительницу. Не напасешься, говорит, обуви на тебя... Милостивая государыня Наталья, не разводите сырости, внимлите речам недостойного раба вашего, тем паче что женских слез он совершенно не в силах вынести».

Но слезы из глаз милостивой государыни Натальи сыпались горохом, а недостойный ее раб комкал в ладонях вымокшие варежки и бормотал под нос слова, которые ровным счетом не были нужны ни ему, ни ей.

Тогда впервые Кузя поняла, что ей хорошо с ним, так покойно и уверенно, как никогда раньше и не бывало. Слезы высохли, варежки заняли свое место на коридорной батарее, а Игорь с Кузей сидели на подоконнике, болтая ногами, и несли несусветную чепуху.

Когда же распахнулась дверь и появилось лицо Грымзы с распластанными в одну линию бровями, Кузя словно ветром сдуло. В одну секунду очутилась она на ковре перед удивленным Сомом и оторопевшей мамой Игоря.

— Что за выходки, Кузнецова? — просипел сзади Грымзин голос.

— Это не выходки, Антонина Валерьевна. Я пришла потому, что Игорь ни в чем не виноват. Это мы с Макаркиным...

Это они, Кузя и толстый Макаркин, на ледяных дорожках катка в парке культуры «развлекались диким способом», как потом выразилась женциналейтенант в детской комнате отделения милиции. Натянули леску посреди дорожки парка, разбили камнем лампу в фонаре, освещающем этот участок катка, и, засев в сугробе, следили за тем, как мальчишки и девчонки, кувыряясь на льду, кvasили носы, расшибали коленки, ревели на весь парк.

Теперь Кузя даже и не могла объяснить причину этого «развлечения». Просто в обществе Макаркина она шалела. Макаркин был ее другом с детства, с ним пошла она в младшую группу детского



сада, их горшки стояли всегда рядом, и шкафчики с одеждой, где красовались ее клубничка и его груша, тоже были по соседству. Их родители дружили семьями, и жили они на одной лестничной площадке.

Макаркин наперекор всем бытующим представлениям о темпераменте толстых людей был невероятно шумный и подвижный. «Дикошарый», — называла его воспитательница Ольга Ивановна в детском саду и, когда детей выводили на прогулку, первым делом объявляла: «Макаркин и Кузнецова, отойдите дальше друг от друга. А то от вашего соседства добра не жди...»

В детской комнате, пока они сидели вдвоем, чуть притихший, но неутихомирившийся Макаркин развалил все игрушки, стащил с полок все книги, и, когда в комнату заглянула женщина-лейтенант, было ощущение, что прошел тайфун.

Кузя назвала свою фамилию и имя, телефон. При ней состоялся разговор с отцом. Отца Кузя очень любила, но знала отлично одно его свойство. Обычно спокойный и тихий, он, выведенный из себя, становился белый как мел, и его гнев был страшен.

В такие минуты Кузя боялась больше всего, что с ним случится какой-нибудь сердечный приступ или припадок: таким болезненно-страшным выглядел он в своем гневе. По тону отца Кузя поняла, что дома ее ждет именно это.

Хладнокровный же Макаркин спокойно соврал, что телефона у него нет, а живет он без отца, с одной мамой.

— Ну что же, тогда придется сообщить в школу, — объявила женщина-лейтенант.

— Сообщайте, — пожал плечами Макаркин и подмигнул Кузе.

На вопрос о фамилии и имени Кузя с ужасом услышала ответ:

— Турбин Игорь, седьмой «А», школа 556.

Хотела закричать, чтоб он не смел, но не закричала. Хотела вернуться в детскую комнату и признаться строгой женщине-лейтенанту в макаркинском гнусном вранье, но не вернулась...

Макаркин был другом детства, а кто такой ей этот Турбин — просто новенький...

Когда Турбина отчитывала Грымза, а он стоял бледный и не отрицался, не отрицал ничего, у Кузи в животе было холодно, а на душе мерзко. Она написала Макаркину записку, что если он не признается, то это сделает она. Макаркин порвал записку, проглотил ее, как леденец, и пошептался с соседом по парте Генкой Парфеновым.

Потом они оба многообещающе показали ей по кулаку, сооротив при этом самые зверские физиономии.

Перед началом уроков Кузя еще в полупустом классе выболтала двум своим подружкам, что побывала вчера в отделении милиции за хулиганство в общественных местах. Кузя говорила об этом несвойственным ей пижонским тоном, бравинуя своей наглостью и выдавая ее за отвагу. Не называя имени сообщника, она взяла с подруг слово, что все, о чем поведала, останется между ними в тайне. Те пообещали молчать.

Но вдруг белобрысая очкарик Тимошка прыснула и мотнула головой в дверной проем, где маячила фигура новенького. Он слышал, он думал, что это она... Это было непереносимо.

В тот день на уроках она ничего не слышала, не воспринимала. Презрительная усмешка на тонких губах новенького стояла перед ее глазами.

Кузина мама, пощупав голову дочери, вернувшей-

ся из школы в состоянии тупой отрешенности, попыталась уложить ее в постель. У Кузи было необычное свойство: когда случались какие-нибудь неприятности, она много ела и спала.

И в этот раз, плотно пообедав, Кузя уснула мертвым сном, лишь коснувшись щекой прохладной подушки. Проснувшись час спустя от прикосновения ко лбу мягкой маминой ладошки. Оторопело глянула на часы и, сорвав шубу с вешалки, без шапки вылетела из дома.

Часы показывали четверть пятого, и мама Турбина, конечно же, уже была в школе.

У них были одинаковые глаза. Только у Игоря не было той непонятной оловянной поволоки, время от времени туманившей взгляд его мамы. В такие мгновения казалось, что снова и снова уходила она во что-то дорогое и далекое, недоступное и невозвратное. Даже когда она смеялась, ее глаза вдруг обращались в прошлое. Казалось, что, чем лучше ей было сейчас, тем острее скорбела она о чем-то навсегда ушедшем. Она была верна той своей жизни, и даже дети не могли вернуть ее в сиюминутность...

А потом Кузя попала домой к Турбиным, когда понесла больному Игорю домашнее задание. Вскрабкалась по выщербленным ступенькам на второй этаж и очутилась на огромной деревянной галерее с двумя дверьми, ведущими в комнаты. Отсюда с террасы был виден весь дворик: запыленные снегом крыши сараюшек с длинными причудливыми сосульками, заснеженная голубятня, несколько рядов чуть голубоватого от синьки, схваченного морозом, стилого, заскорузлого белья.

Повеяло каким-то ароматом другой, незнакомой Кузе жизни. Долго стояла она на старинной деревянной галерее и не могла отвести глаз от зимнего дворика.

А потом очутилась в одной из двух маленьких комнаток, где жили Турбины.

Игорь мыл пол. Увидев Кузю, кивнул ей, бросил под ноги отжатую тряпку и, отвесив старомодный поклон, попросил охрипшим от простуды голосом зайти в «хоромы». «Хоромы» по сравнению с Кузиной современной квартирой, с изысканным полированным гарнитуром были маленькие и полупустые — круглый обеденный стол с табуретками, обшарпанный буфет, две железные кровати с сетками и всюду множество книг.

Мама Игоря сидела за столом и читала. Игорь поднял ее вместе с табуреткой и понес в другую комнату.

— Гошка, прекрати сейчас же, живот болеть будет, надорвешься, — смеялась мама Игоря, и лицо ее розовело и становилось девчоночьим.

— Мамочка, своя же ноша-то, как раз та самая, которая рук не тянет.

— Ох, и дурной ты у меня, Гошка, здоровый вроде бы, а дурной. Правда ведь, Наташенька, дурной?

— Да нет, он у вас хороший, — улыбалась смущенно Кузя.

— Да ну, — нарочито удивлялась мама. — Неужто хороший? А я думала, дурной. Ну-ка покажись, может, я что-то просмотрела.

Игорь медленно поворачивался вокруг себя, вытиравшись на носочках и сложив руки, как балерина, над головой.

— Точно, просмотрела. Глаза-то какие голубые. Ой, Гошенька, да ты у меня хорошенький какой! — Мама всплескивала руками, смеялась, а глаза подергивались уже знакомой Кузе поволокой, убегали куда-то далеко-далеко.

Кузя с Игорем, разложив учебники, занимались за круглым столом. А мама кипятила чайник и выкладывала из банки в вазочку вишневое варенье, «Гошкино любимое», своими неловкими большими руками.

— Это полиартрит, — пояснил Игорь, перехватив взгляд Кузи, — такая болезнь. Когда папа умер, маме очень тяжело приходилось. Петя с Алешкой совсем маленькие, помощи ждать неоткуда. Мама работала на двух работах и, видимо, надорвалась. Вообще она у меня грандиозный человек. Очень сильная и воля железная... Ну, давай, чего там задали?

По всем предметам Турбин был первым учеником. Давалось ему все это без усилий. Одаренный от природы поразительной цепкой памятью и каким-то особым складом ума, он все хватал на лету и усваивал прочно и навсегда.

За два урока контрольной он успевал решить четыре варианта, и весь класс без зазрения совести пользовался его шпаргалками и подсказками.

Грымза, поначалу невзлюбившая новенького, уже через месяц таяла и млела, когда Турбин выходил к доске и вместо положенного параграфа выплескивал на притихший класс ворох интересных, раздобытых неизвестно где сведений о Магеллане, Беринге, кругосветных путешествиях, экзотических африканских странах.

Одна Кузя знала, откуда он их выискивал. Библиотека Игоря Турбина была уникальной.

— От отца осталось, — неохотно ответил однажды Игорь на Кузин вопрос, откуда такое количество книг. Старые, с пожелтевшими от времени страницами, в тяжелых золотистых и кожаных переплетах, все они были аккуратно расставлены по полкам, опоясывающим в несколько рядов стены обеих комнат. — Мама хотела продать кое-что, но я не дал. Во-первых, это отцу принадлежало, а во-вторых, тридцатку в месяц я и так заработаю.

«Где?» — чуть не сорвалось у Кузи с языка, но она промолчала.

Все, связанное с Игорем, было необычно и интересно. Кузя стала частым гостем в маленьком дворике. Даже приводила по пятницам из сада двойняшек.

— Помощница моя, — улыбалась благодарно мама Игоря.

Одно оставалось загадкой для Кузи: куда каждый день на три часа исчезает Игорь после школы.

Но и эту тайну он раскрыл ей охотно и без малейших сомнений.

Когда-то у отца Игоря был друг. Как и сам отец, он был физиком и работал в какой-то лаборатории. Чтобы помочь семье друга сводить концы с концами, он взял Игоря лаборантом. Поэтому Кузя не удивилась, когда на имя директора школы пришло письмо из Новосибирского академгородка, в котором говорилось о незаурядных способностях Игоря в области физики, что было ясно из присланных им ответов и решенных задач. Московской школе было предложено послать Игоря учиться в особую школу при академгородке.

Кузя обрадовалась и огорчилась одновременно. Она уже не мыслила своей жизни без Игоря, без его голубятни и старинной галереи, без глазастых двойняшек и вечерних копаний на книжных полках.

Зато мама Игоря словно светилась изнутри гордостью и счастьем.

— Знаешь, Наташенька, я так рада за Гошку, у нас ведь там друзей много осталось, отец наш там начинал. И потом, это верный путь в институт. Отец был бы доволен...

Мама Игоря умерла две недели спустя. Просто не проснулась утром.

— Какая легкая смерть, — приговаривали соседки, сморкаясь в платки и глядя по головам притихших, испуганных двойняшек.

Кузе было непонятно, как смерть может быть легкой, и еще ей казалось, что эти две толстые слезливые бабки даже были рады, что вот не они, а она умерла, еще такая молодая. Слово убийственно несправедливое нарушение очередности вдохнуло в них ощущение собственной незыблемости на этой земле.

Кузя впервые в жизни столкнулась так близко со смертью. Это было непостижимо.

Добрый гармоничный мир, в котором жила Кузя, треснул, развалился.

Совсем недавно на уроке литературы Кузя читала наизусть отрывок из «Войны и мира», который ей выбрал Игорь.

Накануне вечером Игорь проверял уже вызубренный Кузей текст. Это была сцена смерти князя Андрея...

«Князь Андрей не только знал, что он умрет, но он чувствовал, что он умирает, что он уже умер наполовину. Он испытывал сознание отчужденности от всего земного и радостной, и странной легкости бытия. Он, не торопясь и не тревожась, ожидал того, что предстояло ему. То грозное, вечное, неведомое и — далекое, присутствие которого он не переставал ощущать в продолжение всей своей жизни, теперь для него было близкое и по той странной легкости бытия, которую он испытывал — почти понятное и ощущаемое...

Засыпая, он думал все о том же, о чем он думал все это время, — о жизни и смерти. И больше о смерти. Он чувствовал себя ближе к ней.

«Любовь? Что такое любовь?» — думал он. Любовь мешает смерти. Любовь есть жизнь. Все, все, что я понимаю, я понимаю только потому, что люблю. Все есть, все существует только потому, что я люблю. Все связано одною ею. Любовь есть бог, и умереть — значит мне, частице любви, вернуться к общему и вечному источнику».

Когда Кузя закончила читать, в глазах мамы Игоря стояли слезы, и она, не стесняясь их, проговорила задумчиво:

— Боже мой, какой великий писатель. Только гению доступно так написать.

Кузя тогда не поняла. Она выучила этот отрывок потому, что его выбрал Игорь. Она даже не понимала толком, о чем он...

На кухне выключили воду. Стало тихо. Совсем тихо, до напряженного звона в ушах. Уличные шумы, словно покорившись всеобщей минуте молчания, какой-то единой скорби, зависли на уровне моего окна. На кухне чиркнула спичка. Я вздрогнула. Где-то этажом выше жалобно мяукнул котенок.

Я вспомнила. Мое теперешнее оцепенение... Такое уже было.

В белом, бесконечно длинном коридоре послеродового отделения женщина во врачебной шапочке до бровей низким хриловатым голосом сказала мне, что мой ребенок, мой сын, появившийся на свет неделю назад, не будет жить.

Я почувствовала тогда, как мое тело, перестав принадлежать мне, стало невесомым и, отталкиваясь легкими толчками от какой-то малости меня, спо-

собной чувствовать, закружилось и понеслось куда-то, меняясь в размерах, разбухая каждой бывшей моей клеточкой.

А потом наступило то самое оцепенение, когда время обращается вспять и лишь вечность — единственное точное измерение.

Я не плакала тогда, что было, наверное, неестественным и странным, не спрашивала: почему, как же так, за что? Я видела вновь и вновь его маленькое желтое личико в белой косыночке с какими-то лишь одной мне видимыми подергиваниями полуприкрытых век. Потом тупо смотрела в окно, где, задрав вверх неприкрытую голову, стоял под падающим снегом мой тогда уже похудевший Макаркин, смотрела и не жалела ни его, ни себя, ни нашего ребенка. Что же, так создан мир — призывал мне жестко и трезво мой ополчившийся разум. И я повторяла беззвучно: да, так создан мир...

Моему сыну месяц назад исполнилось семь лет. «Дикосарый» — называет его воспитательница Ольга Ивановна. В сентябре он пойдет в школу.

А я все никак не могу избавиться от его маленького желтого личика в косыночке. Иногда просыпаюсь среди ночи и брожу до утра по спящей квартире, уговаривая себя, что все ведь уже давно в прошлом... Но, видно, все не проходит никогда, иначе откуда эта истязаящая по ночам глухая, отчаянная тоска...

На кухне снова захлюпала присоска, или, как ее называли в хозяйственном магазине, негодую на мою неграмотность, вантуз.

Надо было на что-то решаться... «Слесаря вызывали?» — эхом прозвучал в голове насмешливый знакомый голос. Только сейчас я вдруг увидела себя со стороны — невыспавшаяся, ворчливая мегера со всклокоченными после сна волосами, заспанными глазами, в мятном халате, из-под которого на полметра торчит хвост ночной рубашки. Я почувствовала, как внезапно кровь прилила к щекам... «Господи, и это взамен ясной, жизнерадостной Кузи», — пронеслось в голове. Я прислонилась лбом к оконному стеклу в мутных затеках и пятнах наследившего дождя. «Хотя какое это теперь имеет значение?..»

Двойняшек Турбиных отправили к тетке в Подмоскowie. У Кузи мучительно ныло сердце, когда на вокзале они с Игорем отрывали от себя цепляющиеся ручки.

А когда за окном поплыли, качаясь в ритм поезда, одинаковые голубые помпоны рядом с лицом чужой добродушной женщины, Кузя разрыдалась, как маленькая, пряча лицо в колющем воротнике пальто Игоря.

Игорь гладил Кузины волосы и тихонько приговаривал:

— Да полноте, матушка Наталья Алексеевна, я пойду работать и совсем скоро заберу их обратно...

Игорь перешел в школу рабочей молодежи и устроился на завод.

На носу были выпускные экзамены. Виделись Кузя с Игорем редко.

В выходные дни Игорь уезжал к тетке в Подмоскowie. Он очень изменился. Похудел, под глазами залегли темные тени, взгляд стал жестче, а речь определенной.

Однажды выставленная мамой на улицу — проветрить голову от учебников, — Кузя забрела во дворик.

Заброшенная голубятня уныло мокла под моросившим весенним дождем, одинокий голубь, разгуливающий возле лестницы, увидев Кузю, виновато спрятал голову в подмошки взъерошенные перья и засеменил прочь, подрагивая сложенными крыльями.

Под лестницей, ведущей на галерею, разлилась традиционная лужа. Здесь каждую весну хлюпали резиновыми сапожками двойняшки, пуская бумажные кораблики. Отчужденно глядела с террасы бабка Нюта. Бабкины глаза со знакомым Кузе силеневатым налетом старости глядели на Кузю и, казалось, не видели ее.

— Бабушка Нюта, это я, Наташа. Вы не узнаете меня?

Бабка закивала головой.

— Да как же, узнала теперь. Редко заходишь, деточка. Как твоя учеба? Заходи, чайком тебя сейчас напою.

Бабка засуетилась, сделалась словоохотливой и радушной.

Кузе не хотелось чаю, но она не стала обижать бабку и поднялась к ней в комнату.

Тесная, душная комната, с иконостасом в углу, горящей лампадкой, цветами из бумаги и воска, скорей напоминала келью.

Прихлебывая чай из блюдечка, бабка строчила слово за слово, будто читала заупокой по семье Турбиных.

— Истинно божий человек была мать их, Зинаида Ильинична. И чувствовала ведь конец-то свой и никому даже пожалеть ее не дала. Сгорела ведь, истаяла, как свеча, не пережила смерти Евгения своего. Надо было бы взбодриться ей, ради детей зажить. А она все об нем одном тосковала. Игорек у ней золото. На работе своей так выматывается, идет по двору, еле ноги передвигает. Ему бы выпастись лечь, а здесь уроки... заглянула к нему вчера вечером, а он спит за столом с книжкой под щекой, вместо подушки. Нельзя ему так надрываться, у него самый рост организма сейчас. Он, вишь, в отца упорный. Должен, говорит, двойняшек в дом забрать, а то без них совсем не жизнь. Я ему: «Игорек, может, у тетки-то им и лучше? Она и сготовит, и постирает, и ласка им, сиротам, женская нужна». А он ни в какую. Сам, говорит, должен отвечать за них. Мама же тащила нас три года одна? Что же я, говорит, не выдержу, что ли? Да я, говорит, бабка Нюта, всяческое уважение к самому себе потеряю. А без этого я никак жить не могу, ежели без уважения к себе самому. А уж как двойняшек жалко, уж как их, сироток обездоленных, жалко...

Бабка запричитала, завывала, развернувшись к божьему лику, закрестилась мелко, выпрашивая у господ милости к рабам его малолетним.

Кузя отодвинула чашку и, пробормотав «до свидания», вышла на террасу.

Долго бродила она вдоль арки под мелким моросившим дождем.

Уже стемнело, когда раздались торопливые шаги и гибкая тень заскользила по каменному своду арки.

Кузя кинулась навстречу. Игорь вздрогнул.

— Наталья, это ты? Ты чего?

Кузя мотнула головой:

— Я... ничего.

Шагнула к нему, обхватила обеими руками за шею...

На улице по-прежнему противно моросил дождь, время от времени забрасывая резкими порывами ветра охапки сырости в полутемную арку.

Фары мчавшихся по набережной машин выхватывали на мгновение из ее полукруга две застывшие фигуры.

Голоса редких прохожих обрывками непонятных разговоров залетали в арку. Кузя чувствовала на лбу его теплые губы. Они двигались почти беззвучно, но ей было внятно каждое его движение, чуть уловимый шелест его губ.

— Только не надо меня жалеть. Слышишь, Наташка, пусть все жалеют, а ты не должна. Я не хочу... И поэтому ты не смеешь...

— Гошенька, а помнишь у Достоевского... У него любить — значит жалеть. Я ведь жалею не так, как бабка Нюта. Я в другом смысле, еще неисканном... Жалею, значит...

— Если я буду знать, что ты у меня есть, — я все смогу... Мне так нужна ты. Кузя ты моя...

На кухне резко зазвонил телефон.

Еще крепче прижавшись лбом к стеклу, сквозь муть разводов я увидела, как гуськом потянулись на детскую площадку неуклюжие, смешные детсадовцы.

Требовательные телефонные гудки сверлили внутренности, и с каждым звонком поднималось откуда-то из глубины желание войти в кухню, прижать к уху прохладную трубку, увидеть нарочито презрительную усмешку.

Наверняка звонил мой Макаркин.

Когда я работала дома, он всегда звонил из своего МИДа и каждый раз обеспокоенно спрашивал:

— Ну, ты по мне хоть капельку соскучилась?

Как будто я могла, не солгав ему, ответить: да.

Макаркин часто повторял изумленно:

— У меня такое чувство, что мне всю жизнь предназначено помогать тебе.

Мне показалось, что есть нечто символичное в том, что именно сейчас я стою, прижавшись лбом к стеклу, и вижу мир через мутную пелену дождевых затеков.

Полтора года назад, вернувшись из-за границы, истосковавшись по Москве, по ее суматошным улицам, непрекращающейся толчее метро, беспорядочной сутолоке москвичей и приезжих, я отправилась бродить по городу. Просто так, куда приведут ноги...

Говорят, подсознание никогда не прекращает своей работы. Человек живет, не отдавая отчета в своих мгновенных, чиркающих, как след падающей звезды, ощущениях, не фиксируя и не напоминавая своих ассоциаций, тревожных снов. Он не ведает о разоблачительной деятельности собственного никогда не дремлющего подсознания, которое вдруг внезапным прорывом из подкорки выдает, как вычислительная машина, результат многолетней работы, расшифровывая и переводя на чувственный, эмоциональный язык свой неведомый код...

Мои ноги словно знали, куда меня привести... Я остолбенела от неожиданности, очутившись вдруг на берегу Канавы и внезапно зажмурившись от нахлынувших детских воспоминаний. Так же, как тогда, спешили возбужденными группами школьники на экскурсию в Третьяковку, а с другой стороны Канавы бронзовый Репин, величественный и покойный, с застывшей навсегда кистью в руке, следил

издалека за потомками, спешащими на свидание к его картинам. Так же неслись над водой наплевательские «и — раз!» — и легкие многовесельные байдарки скользили как бы без усилий по темной, неподвижной воде.

Я подошла к красному кирпичному зданию моей школы.

— Тетя, у вас случайно спичек не найдется? — таинственно, вполголоса обратился ко мне долговязый школьник.

— Найдется, деточка, — усмехнулась я и протянула ему зажигалку.

— Ух ты! — восхитился долговязый. — Я сейчас. — И скрылся за углом школы, откуда через несколько секунд послышался дружный кашель.

— Спасибо, — появился долговязый, пряча в кулаке дымящуюся сигарету и с одобрением разглядывая мой «фирменный» джинсовый комбинезон.

— Да не за что, кашляйте, — ответила я.

Долговязый довольно ухмыльнулся и скрылся за углом.

На тротуаре билась и взлетала тяжелая веревка, и школьницы, выстроившись в длинную очередь, с визгом и хохотом мастерски прыгали через нее, проделывая ногами всевозможные пируэты. «Мы прыгали как-то по-другому. Ишь, как все усовершенствовалось», — пронеслось в голове. И я почувствовала вдруг нахлынувшую жгучую зависть к этим визгливым девчонкам с голыми коленками, к их из замутненному дождевыми разводами веселью, ко всему их истовому школьному бытию.

Из распахнутых окон выплеснулся, зажурчал по переулку голосистый звонок, призывавший подниматься в классы и продолжать уроки.

Рванулись к школьным дверям растекшиеся по переулку школьники и, образовав пробку, заорали, засвистели в радостном ажиотаже, завизжали прижатые в толчее первоклашки. Высунулся из окна второго этажа толстый флегматичный парень, жующий пирожок, захрюкал, оживился от открывшейся ему дверной давки. А уже через секунду все окна были облеплены смеющимися, сияющими физиономиями, все разом загомонили, заулюлюкали...

Прошествовали шатающейся походкой на вялых ногах обалдевшие «курильщики» из-за угла. Долговязый бросил на меня быстрый, хитрый взгляд, замедлил шаг:

— А вы, наверное, учились здесь когда-то? Да?

— Вот именно когда-то. При царе Горохе. В другой жизни, — засмеялась я.

Долговязый понимающе кивнул головой, опять хитро сощурился.

— А нас учат, что никакой другой жизни нет, есть одна-единственная, да и та принадлежит не тебе, а обществу.

Я опять засмеялась:

— Сочувствую вашим учителям — если в головах учеников все ими сказанное потом таким образом перерабатывается.

Долговязый вдруг стал серьезным и очень конкретно сказал:

— Зачем вы все время смеетесь, когда вам... совсем наоборот? — Он зашагал к крыльцу, махнув на прощание рукой. Потом вдруг в два прыжка вернулся и посоветовал: — А вы не расстраивайтесь. Нам сегодня историк рассказал, будто на обратной стороне перстня царя Соломона, знаете, что было написано: «И это пройдет...»

И, разогнавшись, долговязый одним ударом пропихнул в дверь визжавшую пробку...

И если умирает человек, с ним умирает первый его снег, и первый поцелуй, и первый бой... Все это забирает он с собой.

Ноги принесли меня к моему первому... всему. Остальное потом было неправдой. Может быть, случается, что первое остается последним... Только, наверное, надо много прожить, чтобы понять это. Мой провокатор-подсознание копило во мне все эти долгие годы свой безжалостный приговор. Сквозь череду промелькнувших дней проступило единое: сейчас я жила исполнением своего жгучего затаенного желания.

Ноги несли меня к прохладному полукружью арки, к старинной террасе из потемневшего дерева, к голубятне, к незатейливым лужайкам из желтых одуванчиков.

Мое стесненное дыхание будто экономило силы для полного глубокого вдоха. Я знала, что лишь во дворике я наконец продохну, словно лишь воздухом моего детства будет дано, как тому долговязому, единым толчком пробить возникшую преграду. Я знала: там наступит долгожданный покой, когда мой разум и совесть, освобожденные великодушием прощения, соединятся в гармоничном понимании содеянного за долгие годы. Я отдавала отчет, что стремлюсь даже не к прощению: кому или чему дано быть судьей жизни человеческой? Я хотела быть понятой...

Наверное, это было непозволительной роскошью — в придачу к моей благополучной жизни...

Мутные затеки на стекле вдруг поплыли, извиваясь, стали расплзаться и коржиться, искажая до неузнаваемости знакомую картину двора.

Телефонные звонки, затихнув ненадолго, вновь наполнили квартиру резкими неуместными звуками. Мой Макаркин тшкетно зывал ко мне...

Так далеко от него я еще никогда не была.

Инстинктивно я протерла глаза.

Картинка моего двора встала на место. На детских качелях, подпихиваемый в спину несколькими парами ладошек, бесстрашно взмывал к небу, мелькая зачиненными пластырем коленками, мой дикосерый сын.

Я давно не плакала. Пожалуй, с той самой минуты, когда, ничего не понимая, как вкопанная, я замерла перед тем местом, куда принесли меня ноги.

Я тупо глядела тогда на аккуратные дорожки, посыпанные песком, на зеленые свежескошенные скамейки, на густую зелень скверика, по какой-то невероятной ошибке занявшего место дворика Игоря Турбина.

Из глубины сквера холодно и строго светили окна какого-то учреждения, голые, не утепленные занавесками или шторами.

Изумленно посмотрел на меня прохожий в очках. Участило глянули глаза толстой женщины с раздутыми хозяйственными сумками в обеих руках.

— Почему плачет тетя? — заинтересовался важный щекастый малыш.

Женщина с сумками виновато улыбнулась.

— Митюша, не отставай. Держись за сумку. У тебя, наверное, соринка в глаз попала. Ты ведь сам знаешь, как это больно, когда в глаз попадает соринка!

По моим ногам прогрохотал игрушечный самосвал на длинной веревке, опрокинулся от неожиданной преграды. Оглушительно заревел щекастый малыш.

Нагнувшись, я поставила самосвал на колеса.

— Ну, вот и все в порядке. Не реви. Просто случилась небольшая авария.

Малыш радостно всхлипнул, выставил вперед указательный палец.

— Сама ревешь...

Женщина поставила тяжелые сумки на асфальт, потянула малыша за руку.

— Митюша, не приставай к тете, пойдем.

— Скажите, вы здесь давно живете?

Женщина сочувственно обвела взглядом мое мокрое от слез лицо.

— Давно.

— Здесь, на месте этого сквера, был дом... Деревянный, с каменной аркой... с голубятней во дворе... Его снесли... Как же так?... Давно... снесли?

Женщина нагнула голову, пригласила растрепанную челку на голове малыша и, не глядя на меня, проговорила:

— Давно. Года три назад...

— И... куда?..

— Не знаю. Наверное, по новым районам. Как обычно. Да вы пойдите в райжилотдел — вам скажут.

Я кивнула головой, отошла к парапету набережной. Снова прогрохотал на длинной веревке зеленый игрушечный самосвал.

— Мама, а почему тетя плачет? Соринка — очень больно, да?

— Да, Митюша, это больно...

Говорят, когда у человека отнимают руку, она, уже несуществующая, продолжает болеть. Это потому, что клетки мозга еще живы. Они живут долго, истязая человека своей несуществующей, нереальной болью. А потом... человек привыкает. Привыкает к тому, что он навсегда лишен такой, казалось бы, необходимой части себя. Привыкает не только из-за того, что отмирают клетки мозга. А потому, что мощью своего сознания понимает невозвратность, невосполнимость потери.

Это навсегда...

Я поняла, что живуча, как кошка. Моя способность адаптироваться в новых условиях была бесподобной. Она могла привести в восхищение окружающих. Безмерно страдала от этого лишь одно существо — я сама. Остальным всем моим так называемым близким было удобно и легко...

Я даже чувствовала тогда какое-то странное облегчение.

— Ну, вот и все, — думала я тогда. — И все. И пусть... Пусть так. Может, и к лучшему.

Уже потом дано мне было понять, что эта моя тогдашняя невесомость была сродни не облегчению, она была началом моей огромной пустоты.

«Так балдеть от музыки...» — неодобрительно заметила Нинка Зиновьева на дне рождения у Кузи, когда после игры в фанты все уселись в кресла и Кузина мама поставила «Болеро» Равеля.

Никто не умел так слушать музыку, как Игорь. Глаза его, всегда насмешливо-тревожные, становились прозрачными и бездонными. У Кузи замирало сердце, когда она тонула в их завораживающей глубине, понимая обреченно, что ей не выплыть, и проживая свою гибель, как волшебный, сладостный сон. Сердце замирало, ноги становились ватными и холодными, боковое зрение прекращало свою деятельность, и все богатство мира сосредоточивалось в звуках музыки.



чивалось для Кузи в заполонивших голубиной весь белый свет единственных, неповторимых его глазах. Сквозь плотность вобранных им звуков глядел он отрешенно на Кузю, не видя ее замороженного лица, переполненный чудодейственной силой таинственной и непостижимой стихии.

Кузина мама занималась грамзаписью, и в их доме был культ музыки. Огромные динамики, установленные в разных углах просторного холла, передавали все тонкости и нюансы звуков, записанных на диски Кузиной мамой.

Постепенно заскучавшие одноклассники перебирались в Кузину комнату, где яростно вертелась на полу бутылка, соединяя довольных девятиклассников в целующиеся по условиям игры пары.

— Темнота — друг молодежи, — торжественно провозглашал Макаркин, щелкнув выключателем и поставив на пол горящую свечку.

Лишь Турбин и Кузина мама надолго замирали в удобных мягких креслах, слушая одну за другой пластинки с классической музыкой.

— Это поразительно, как сильно мальчик чувствует классику, — вздыхала потом на кухне мама, перемывая груды грязных тарелок.

Кузя, зная эту страсть Игоря, часто доставала через маму билеты в консерваторию.

Он слушал музыку не расслабленно, как многие — блаженно откинувшись в кресле и полуприкрыв глаза. Он был весь, как натянутая тетива, — казался, тронь его, и он зазвенит от напряжения. Сосредоточенный и молчаливый, провозжал он Кузю до подъезда и, едва кивнув на прощание, стремительно исчезал в темноте.

Однажды Кузя, забыв отдать ему перчатки, засунутые в карман ее пальто, побежала догонять Игоря.

Он шел, натыкаясь на прохожих, заложив руки в карманы и почему-то неестественно задрав вверх плечи.

Выйдя на набережную, он повернул в противоположную от его дома сторону. Кузя не осмелилась окликнуть, позвать. Она шла за ним по петляющим переулкам Замоскворечья.

Было пусто, и сухие охапки напавших листьев вяжно шелестели под ногами в застывшем, безветренном воздухе. Каждый шаг гулко отлетал к стенам уснувших домов и, отталкиваясь, как бы разбивался, наткнувшись на свое спешащее навстречу повторение.

Игорь шел стремительно, не прислушиваясь к шуму торопящихся за ним ног. На углу неожиданно открывшейся площади он вдруг резко повернул и столкнулся с разогнавшейся Кузей. Он не удивился, не растерялся.

Жестко блеснули в полумраке глаза с незнакомым Кузе выражением. Стиснув до боли ее ладошку, он прошептал отчетливо:

— Из кожи вон вылезу, а Алешку с Петькой буду учить музыке. Так и запомни мои слова...

Кузя поспешно кивнула, протянула Игорю огромный кленовый лист в багрово-желтых переливах осени. Игорь стоял, покусывая длинный стебелек листа, а глаза его были далеко-далеко, подернутые оловянной маминой поволокой. У Кузи тогда сжалось сердце от этого нового его жесткого взгляда...

— Ма-а-ма, мам, — пронзительный голос моего сына требовательно взмывал в поднебесье.

— Три-четыре. Ма-а-ма, мам, — дружно присоединились к голосу моего Петьки солидарные с ним детсадовцы.

Я распахнула окно, махнула рукой: вижу, мол, твои подвиги, горжусь. Вспомнила, как в первый год его пребывания в саду, когда под нашими окнами еще не было детской площадки, я с напряжением, до боли в глазах следила из театрального бинокля за каждой его прогулкой. Маленький, смешной, в оранжевом тулупчике с капюшоном, он старательно слизывал снег с варезок, а я швыряла бинокль и мчалась во весь дух спасать моего малыша от неизбежной простуды.

Укоризненно качала головой воспитательница Ольга Ивановна. Родным с детства, нарочито грубоватым голосом выговаривала мне:

— Кузнецова, возьми себя в руки и прекрати беготню. Ничего с твоим ненаглядным не делается...

Тогда во мне еще жил атавизм древнего страха за его жизнь, который терзал меня безудержно с той минуты, когда руки впервые почувствовали почти невесомость врученной мне ревущей, перепеленатой ноши. Это был животный, не регулируемый сознанием страх. Уже позже, когда он стал вытесняться постепенно другими чувствами — нежностью, гордостью, ответственностью за его судьбу, — я поняла, что тот страх был самым сильным ощущением в моей жизни. Он был хитроумен и действителен в своей потенциальной силе. Доведенная этим страхом до крайности, я не спала тогда, почти не ела, я слушала дыхание сына, и каждый плач сводил меня с ума, отнимал силы и властно выхолащивал все остальные ощущения.

Этот мой страх был способен, наверное, будь он преобразован в энергию, совершать невероятные деяния.

Кажется, тогда я была способна на все — и на любую жертву и на любую жестокость. В редкие минуты просветления, временного освобождения от гнета страха, я ужасалась себе. Как-то вдруг вспомнила случай из моего детства.

На даче у соседской собаки Ласты родились щенки. Их было трое. Три неуклюжих лохматых комочка. Они только-только встали на свои дрожащие, неумелые лапы и тыкались друг в друга крутолобыми мордочками смешно и трогательно. Все над ними причитали и восторгались, гладили счастливую Ласту с блестящими, по-человечески осмысленными от значительности происшедшего глазами.

Через несколько дней за щенком пришел человек. Он только вошел в калитку, а Ласта уже напружинилась, забегала вокруг дремавшего на солнце детеныша. Человек тихо переговаривался с хозяйкой, пил чай под навесом и даже не глядел в сторону щенков.

А Ласта тихо скулила и, вылизывая щенков своим горячим шершавым языком, тоскливо глядела на пришедшего.

Мы, дети, еще не понимая сути происходящего, почувствовали ее тоску и отчаяние, попробовали приласкать ее и щенков, но собака грозно зарычала, шерсть вздыбилась, а в глазах вспыхнули незнакомые злобные огоньки. Мы были просто потрясены переменной такой всегда ласковой, покладистой Ласты.

— О, это самый могучий инстинкт из всех существующих — инстинкт материнства, — непонятно пояснила нам тогда хозяйка Ласты, видимо, жалея бедную собаку и сочувствуя ей.

— А зачем же вы отдаете щенка, если сами перереживаете? — поинтересовалась я.

Ластина хозяйка грустно усмехнулась и, поглажив меня по голове, пояснила:

— Что же делать, деточка?! Не могу же я дер-

жать столько собак. Я все понимаю, но что ж делать?!

Я всегда поражалась удивительному свойству взрослых все понимать и тем не менее делать этому наперекор.

Поражалась до тех пор, пока сама впервые, все понимая, не поступила иначе... Наверное, это был мой первый взрослый поступок.

Ласту заперли на маленькой застекленной веранде, пока хозяйкин знакомый забирал щенка. Собака металась по веранде и выла высоким, отчаянным голосом.

Когда человек, засунув за пазуху щенка, направился к калитке, раззвенели разбитые, падающие на пол стекла и окровавленная, взъерошенная Ласта разъяренной тигрицей в два прыжка настигла уходящего и кинулась на него.

Страшно закричала хозяйка, завизжали дети, а большая добрая Ласта душила в железных объятиях своего смертельного врага — существо, посягнувшее на ее детеныша.

Я до сих пор помню ее глаза. Тоскливые, переполненные тусклым, отчаянным страхом.

Теперь я спокойно смотрела на бесконечные сияния и ссадины моего сына, тем более что они были непреходящи. Болел он редко и легко.

— Мам, скинь нам карамелек. Заверни в пакет — мы поймаем. Они в вазочке на кухне...

Здрав вверх головы, детсадовцы просительно глядели в окно.

На кухне послышался лязг собираемых инструментов, поспешные шаги в прихожей. Через секунду из вывернутого крана в ванной хлынула вода.

Я вошла в кухню. Мои ноздри с жадностью втянули запах дешевых папирос и какой-то еще, чужой, незнакомый запах, ненадолго поселившийся в моей кухне...

Кузя влетела на старинную террасу и, чуть не сбив с ног изумленную бабушку Нюру, повисла на шее Игоря, болтая ногами и дико выкрикивая: — Ура! Поздравляйте! Принята!

Взломаченный Кузиными суматошными объятиями, Турбин счастливо смеялся тихим, добрым смехом, целовал Кузины тугие щеки и приговаривал: — А кто говорил, что Кузя самая талантливая, самая умная, самая раскрепощенная...

Ах, как он умел радоваться чужому счастью, этот Турбин! Как он умел горевать над чужой бедой...

5

Кузя была принята в Ленинградское Мухинское художественное училище. Отец Кузи сам кончал Мухинское, был коренным ленинградцем.

В Ленинграде жила любимая Кузина бабуленица. Бабушка, прошедшая голодную блокаду, пережившая смерть самых близких людей, заражала Кузю своей удивительной жизнеспособностью, фанатичной любовью к своему городу.

Каждый год на каникулах Кузя приезжала к бабуленице и неизменно ухватывала хвостик ускользающих белых ночей. Бабушка сердилась на Кузю, когда та возвращалась домой не на рассвете, ворчала, что так можно проспать всю жизнь.

— Ну, явилась — не запыхалась. На улице-то красота какая, а ты спать заваливаешься. Я в твои годы в пору белых ночей и глаз не смыкала. И хоте-

лось спать, а чувствовала — нет, нельзя такое упускать... Бывало, весь Петербург исколесишь. На улицах людно, весело — где песни запевают, где, глядишь, пляски устроят под гармошку. А уж когда на острова выбирались — дух замирал... Нельзя, Наташенька, такое проспать... Потом спохватишься, да уж поздно будет.

У Кузи тоже замирал дух от той гармонии, которой освящен был Ленинград в пору белых ночей. Казалось, ночь залюбовалась городом и, оцепенев от его простой и торжественной красоты, все медлила и медлила накинуть на него свое темное покрывало. Замешкалась ночь, а тут уж на цыпочках подкрадывается румяный рассвет. И отступала, негодую и сожалея, чуть виноватая ночь, а сама ждала и томилась полюбившимся видением города и, с нетерпением дождавшись своего часа, вновь и вновь медлила затуманить любимые черты, смешать четкость линий, одарить изнуренных сладостной бессонницей жителей прохладной благодатью.

А потом проходила влюбленность, и все короче становились безудержные свидания.

Но наступала пора, когда равнодушно и делово накидывала охладевшая к красоте города ночь свой волшебный плащ. И обессиленный город смежал уставшие веки, мгновенно и крепко засыпал.

Кузя не очень сопротивлялась желанию родителей послать ее учиться в Ленинград. Она знала, что будет скучать по Игорю. Но они виделись и так очень редко.

Выпускные экзамены, напряженные занятия рисунком и подготовка работ к творческому конкурсу в училище — это занимало весь день, которого никак не хватало, и приходилось урывать часы, предназначенные для сна. А тут еще внезапная, переродившаяся из детской привязанности любовь напропалую хиппующего Макаркина. Для него вдруг свет клином сошелся на Кузе. Макаркин таял и сох, сох и таял. Он свирепо ревновал ее к Турбину, грозился убить Кузю, себя, Игоря. Родители Макаркина паниковали, шептались вечерами с Кузиной мамой, приходили в отчаяние от надвигающегося неотвратимого провала их страдающего отпрыска в институт международных отношений. Макаркинская безумная любовь не вызывала у Кузи особых эмоций.

Она даже немножечко презирала его за то, что он умудрялся выражать все, что чувствует, ничего не оставляя для себя. И все-таки Макаркина Кузя по-своему любила и даже поцеловала его в щеку, когда в день рождения он осыпал ее дождем белой сирени.

Кузина мама нарочито равнодушным голосом стала вдруг обращать ее внимание на то, как повзрослел Валерик, какой стал красивый, высокий и, главное, как удивительны его манеры. Кузя смеялась, разоблачая мамин хитрости:

— Мамочка, ну что Макаркин барышня, что ли?! Видите ли, манеры у него удивительные! И где это ты манеры разглядела сквозь его патлы и драные джинсы? И потом не надо меня сватать. Все равно не выйдет!..

Кулек с карамельками спилотировал на тротуар. Как по команде, все детсадовцы дружно засопели, зашелестели фантиками, заверещали вразнобой:

— Спасибо, тетя Наташа!

Голоса у всех были умильные, подслащенные карамельками.

Я почувствовала, как мой рот ползет к углам в невольной улыбке. «Господи, до чего же смешные...»

— А это еще что? Что вы все едите? Сколько раз внушала вам: портить аппетит не разрешаю. Все дети как дети, а вы — как стадо баранов. Наказание, а не дети, — пророкотал под окнами голос Ольги Ивановны. — И кто это вас так, кстати, угостил?! А?

Я поспешно спрятала голову за штору. А голос Ольги Ивановны бушевал под окном.

— Кузнецова, прекрати безобразие. И нечего прятаться за штору. Нашкодит, а потом прячется! Это же надо — всей группе аппетит испортить! Сегодня же позвоню твоей матери. — И оставив меня в покое, уже детям: — А теперь все хором плюнем. Три-четыре. Макаркин, почему ты не плюешь?

И счастливый голос Макаркина:

— А я уж все заглотил, Ольга Иванна...

Первого сентября двойняшки Турбины должны были пойти в школу.

Всю весну и лето Игорь работал в две смены. Надо было обмундировывать первоклашек по всем правилам.

Вернувшись из Ленинграда после экзаменов уже студенткой первого курса, Кузя повела двойняшек в «Детский мир» покупать школьные формы, ранцы, тетрадки, запастись разными ластиками, линейками, обложками.

Кузя чувствовала в обеих руках потные от волнения маленькие ладошки. Двойняшки впервые попали в «Детский мир» и, изумленные, с восторгом таращились по сторонам.

Здесь, в нарядной громкоголосой толпе детей, Кузя вдруг заметила, как плохо одеты двойняшки. Их застиранные самодельные костюмчики были тесными и неуклюжими. Брюки, едва доходившие до тоненьких щиколоток, пузырились на коленках, рукава рубашек были закатаны, чтобы скрыть их не достающую до запястьев длину. Кузя почувствовала тогда прилив острой жалости и нежности к малышам, мысленно дала себе слово откладывать для них всю будущую стипендию. Тогда Кузя еще не понимала, как легко давать себе слово в семнадцать лет и какая огромная пропасть между словом и исполнением обещанного.

Кузя чувствовала: Игорь очень хотел, чтобы она осталась в Москве на первое сентября, разделила с ним счастливый день вступления двойняшек в школьную жизнь. Он просил ее об этом глазами, вдруг неожиданно повисающими паузами. Просил всем своим существом. Не было только слов.

Великодушно представлял ей Игорь возможность оправдаться перед собой за свою несостоятельность якобы непониманием. Он не хотел ради Кузи переводить свою просьбу на язык слов, когда отказать было бы уже невероятно. Кузя знала это и злилась на себя за глупее желание начать студенческую жизнь с того дня, который всегда был самым любимым на протяжении десяти школьных лет.

За три дня до начала учебного года заболела бабуленица, и Кузя тут же взяла билет на поезд. Теперь вроде бы ее совесть была чиста.

Двойняшки, замерев от восторга, стояли перед зеркалом в новеньких школьных формах и блестящих ботинках.

Но больше них сиял сам Игорь. Его лучистые глаза заботливо и счастливо оглядывали малышей; руки, ловкие и сильные, любовно расправляли складочки на одежде первоклашек. Перехватив внимательный Кузин взгляд, он отвел глаза и нарочито грозно обратился к двойняшкам:

— Помилуйте, господа, примерка давно законче-

на. Позвольте помочь вашим сиятельствам снять мундиры.

Двойняшки заливались веселым смехом, смеялся и Игорь, а Кузя стояла посреди комнаты со своим дурацким чемоданом и чувствовала, как Игорю не хочется смеяться.

Потом был вокзал с его привычной сутолокой, с равнодушным немигающим глазом семафора.

Лицо Игоря, напряженное от усилий сохранить всегдашнюю невозмутимость... Сделать вид, что ничего не произошло... И глаза почему-то виноватые... Его, а не Кузины виноватые глаза, впервые избегающие ее растерянного взгляда...

Хрустнули суставы переплетенных побелевших пальцев.

Я вдруг задохнулась. Пронзительно и коротко чиркнула, как молния, мысль, которая обожгла... Я знала, что потеряю его... Меня вдруг словно сдули, точно воздушный шарик.

Как же все запутанно и сложно, если через столько лет дано было мне понять тот ускользающий его взгляд на шумной платформе Ленинградского вокзала...

Год назад, каким-то невероятным образом разыскав мой телефон, мне позвонила моя школьная подруга очкарик Тимошка.

— Кто это? — не поняла я, услышав, что звонит некто Людмила Ивановна Тимофеева.

После короткой паузы Тимошка удивленно протянула:

— Ну, ты нахалка! Не узнать своей боевой подруги?! Ты эти номера, старушка, приканчивай. Считаю до трех: не узнаешь — повешу трубку.

Действительно, как же меня угораздило не узнать сразу Тимошку?

Я представила себе, как она сейчас **обескураженно** хлопает бесцветными ресничками — **часто-часто**, словно промаргивается, — и смешно морщит розовый нос.

— Извини, Тимофей, родненький. Мне простиительно — я ведь, страшно скезать, с другого континента недавно вернулась. Знаешь, еще в себя никак не приду.

— Да, знаю, лягушка-путешественница. Ну, как ты? Как Валерка? Я знаю, что у вас парень уже здоровый. Как зовут?

— Петром Валерьевичем величают. Уже шесть годков стукнуло. Здоровый мужик... Тимош, а ты как? Работает там же?

— Там же. Надоело до смерти. Слушай, Кузя, мы здесь как-то встречались... вас с Валеркой вспоминали.

— Подожди. Кто это вы?

— Ну кто, одноклассники твои бывшие, балда. Господи, такие все другие стали... Я тогда грешным делом подумала — может, и не стоило. Веселья было мало, а послекусии до сих пор сохраняются... горькое-прегорькое.

— Тимош...

— Чего?

— Да нет, ничего. Когда повидаемся-то?

— Господи, да хоть сегодня. Чего спросить-то хотела? Про Турбина, что ли?

— Ага...

— Ничегошеньки про него не знаю. Ой, погоди, как же не знаю? Знаю самое главное. Прочулся в медицинском полгода и был отчислен за непосещаемость.

— Почему?

— Нинка Зиновьева видела Грымзу. Правда, это

очень давно было. Один из двойняшек очень чем-то болел.

— А чем?

— Ты знаешь, не помню... У них ведь наследственность еще та. Грымза еще вроде Нинке сказала, что Игорь на части разрывается, а мы все свинтусы и могли бы помочь... А потом обвиняла нас, что все мы, бездари вроде бы, институты позаканчивали, а он — самый блестящий и расталантившийся... Ну, и так далее. Сама Грымза хотела вмешаться в эту историю с отчислением Турбина, сходить к ректору, но Игорь категорически запретил. Ты ведь знаешь, какой он гордый. Да и как Турбин относится ко всем, кто проявляет участие, ты знаешь. Не говоря уж о помощи. Ты-то знаешь...

Да, я знала. Только мне — не теперешней, нет, а тогдашней Кузе — приоткрыл он лазеечку в свою жизнь, в свою судьбу, в свое сердце. Только мне гордый, независимый Турбин дал право участия и суматошной, беспорядочной помощи. Только мне доверил он теплые ладошки своих ненаглядных двойняшек и разрешил им привязаться ко мне, привыкнуть.

«И это пройдет»?

Нет, царь Соломон с долговязым курильщиком явно ошибались.

Это останется. Как бесконечный невидимый шлейф будет тянуться всегда, опутывать, обескураживать, разбивать разумные доводы и соображения здравого смысла, сбивать с толку — это мое вечное бремя, вечная ноша...

Ленинградская студенческая жизнь оказалась невероятно насыщенной, шумной.

Общительная Кузя быстро обросла компанией новых друзей.

Жить с бабушкой Кузе очень нравилось. Та не угнетала внуку нотациями и советами, не призывала к благоразумию, охотно соглашалась на многочисленные студенческие сборища в своей петербургской старомодной квартире.

Бабушка познакомилась Кузю с сотрудниками Русского музея и Эрмитажа, и Кузя по целым дням пропадала в запасниках, извлекая для себя из их богатейших коллекций новые имена, новые впечатления, новые представления о живописи.

Иногда она просила Кузю сходить с ней в Репино, где жила ее дальняя родственница. Кузя забирала с собой мольберт, краски, и, пока две старушки устраивали чаепитие и вспоминали дорогих ушедших из жизни людей, она бродила по лесу, спускалась к заливу, выбирая натуру, и делала наброски пейзажей, стараясь не упускать никаких нюансов и деталей натуры, за что ее всегда расхваливала бабушка.

В мансарде бабушкиного дома размещалась мастерская. В ней среди засилья гипсовых фигур работала Кузя. Бабушка была прекрасным скульптором.

Кузе очень нравилась ее лаконичная, жесткая манера, мужская, четкая. В то же время скульптуры ее были согреты мудрым теплым пониманием людей, даже какой-то затаенной снисходительностью к ним.

Больше всего любила Кузя бабушкиного Чехова. Он сидел на садовой скамейке, чуть нагнувшись вперед, его гибкие, нервные пальцы обхватили переплетенные ноги, а голова, красивая, гордая, на длинной шее, была чуть склонена к плечу, словно он прислушивался к себе, одухотворенный пока еще неясными переплетениями человеческих судеб,

переполненный любовью и жалостью к своим мятущимся героям.

Чем пристальнее вглядывалась Кузя в скульптуру, тем больше поражалась тому непрерывному движению, которое было передано в абсолютно неподвижной позе писателя, — движению мысли, интеллекта, внутреннему беспокойству и сосредоточенной одержимости.

Кузя могла проследить каждое движение, предшествовавшее запечатленной позе Чехова. Вот он порывисто поднял правую руку, расстегнул тугой стоячий ворот рубашки, крутнул головой, вздохнул глубоко-глубоко и, еще не выдохнув до конца, бросил на колени руки. Еще раз хотел пошевелить головой, освобождаясь от крахмального воротничка, да так и замер, чуть наклонив голову, от вдруг нахлынувших ощущений, расслабив от всегдашнего близорукého прищура свои прекрасные всевидящие глаза...

Игорь появился в Ленинграде внезапно.

Как всегда, Кузя позвонила в перерыве между лекциями.

— Булька, приветик! У меня все тип-топ. Как ты?

— Тоже тип-топ. Наташка, к тебе гость приехал. Турбин твой. Слушай, замечательное лицо у него. Сейчас таких лиц уже не бывает, знаешь, какое-то народовольческое... Я бы, пожалуй, поработала над ним...

Кузя почувствовала, как ее бросило в жар. Игорь здесь, в Ленинграде. Как неожиданно! Три дня назад получила от него обстоятельное письмо — и хоть бы словечко.

— Буль, подожди. Ясное дело, он тебе будет позировать. А он сам-то где?

— А он отправился Ленинград смотреть. Я его чаем напоила, и он пошел. Я ему, конечно, сказала, что нужно увидеть в первую очередь...

На лекции Кузя ничего не слышала. Ей было не по себе. Она даже не понимала — рада она его приезду или нет. Когда на ноябрьские праздники как снег на голову свалился Макаркин — она была ему рада...

Да, она была рада Макаркину. С ним было всегда просто и весело. А вот сейчас она никак не могла разгрести той сумятицы чувств, которые нахлынули с появлением Турбина. Что-то неясное копошилось в Кузе, какое-то незнакомое, чужеродное, как соринка в глазу, чувство. Это «что-то» мешало ей собраться с мыслями, принять радостно и ясно его приезд.

После лекций Кузя вывалилась на крыльцо в галдящей толпе студентов. Подхваченная с двух сторон под руки, она скользила по ступенькам, когда вдруг увидела Турбина.

Он стоял, прижавшись спиной к толстому стволу дерева, почти впечатавшись в его изборожденную глубокими морщинами плоть, и глазами выискивал в толпе студентов ее рыжую голову.

Его всегдашние длинные волосы были непривычно коротко подстрижены, открытая худая шея и торчащие уши подчеркивали болезненную бледность кожи и угловатость хрупкой его фигуры. Светлый вылинявший плащик казался убогим и нелепым на фоне заснеженных ленинградских улиц. Стиснутая в руках черная меховая шапка, отделанная кожей, так не вязалась с плащом, что он, видимо, понимая это, дернул ее с головы, неуклюже комкая в руках.

Кузя успела отметить, что на Игоря обращают внимание и даже оглядываются.

— О, господи, — фыркнула бегущая впереди блондинка из параллельной группы, оглянувшись назад, стрельнула глазами на застывшую у дерева одино-

кую фигуру, привлекая к нему внимание однокурсников.

Кузя вспыхнула и опустила глаза.

— Я сейчас... тетрадку оставила... Впрочем, не ждите меня...

Ванулась обратно к институтским дверям, промчалась мимо оторопевшей вахтерши в опустевшую аудиторию, плюхнулась с размаху на подоконник.

В морозном воздухе, как разбухшие бабочки-капустницы, плавно кружились громадные бесформенные снежинки. Их нежелание падать на землю под ноги равнодушным пешеходам, их истовое стремление кружить и плавать в воздухе — где каждая из них хороша и грациозна — словно сообщали им силу, и они задерживали свое неизбежное слияние в бесформенную массу, покоряясь легчайшим дуновениям ветра, украшали своей белизной видимый мир.

Подоконник был холодным и узким. Дверь в аудиторию распахивалась и со стуком захлопывалась пробегающими студентами.

Снежинки за окном множились, превращаясь в беспорядочный головокружительный хоровод. К вечеру Ленинград завалит снегом... Выйдут на улицы розовощекие дворники с метлами и лопатами, заскребут скребками, сковыривая скользкий утрамбованный наrost. Замелькают в воздухе слепленные снежки, зазвенят разбитые стекла под сердитые крики непонятливых взрослых, покраснеют носами-морковками неуклюжие снеговики во дворах и скверах...

Снег шел всюду... В окно аудитории со звоном ткнулся туго слепленный снежок. Махнула Кузе рукой незнакомая девушка в лохматой шапке с ушами, сгребла снег для следующего снежка, с хохотом увернулась от настигшего ее на месте преступления растрепанного длинноволосого студента. Отделилась от морщинистого тополиного ствола нелепая фигура в вылинялом плаще, медленно двинулась вдоль институтского здания, комкая в застывших руках меховую шапку и словно нехотя переставляя ноги. Ткнулся в воротник плаща настигший снежок, залиристо зазвенел смех бегущей извиняться девушки в шапке с ушами — и смолк, споткнувшись о его лицо. Наверное, у Игоря было такое лицо, что Кузя слышала, как споткнулся этот смех...

Кузя всегда поражалась удивительному свойству взрослых все понимать и тем не менее делать этому наперекор. Поражалась до тех пор, пока сама, все понимая, не поступила иначе. Наверное, это был первый взрослый Кузин поступок.

Впрочем, тогда это уже была не Кузя. Это была я...

6

В ванной не было слышно ни шума воды, ни звона инструментов, ни шороха движений. Я вдруг четко увидела его, сидящего на краешке ванны.

Застывшая, напряженная фигура чуть внаклон, как тогда в зале консерватории, отсутствующие, распахнутые навстречу нахлынувшим воспоминаниям ненаглядные его глаза, тонкий рот с чуть подрагивающими уголками, копна непокорной спутанной «соломы», в густоте которой мгновенно теплеют замерзшие кончики пальцев.

Меня знобило.

Отшвырнув халат, путаясь в джинсах, лихорадочно ввинчивая непослушными пальцами пуговицы

кофты не в те петли, я замерла на секунду перед дверью в ванную. Распахнула ее.

Из незавинченного крана, словно пересмеиваясь, захлебываясь, падали в раковину торопливые звенящие капли.

Тараторя и перебивая друг друга, они, как бы боясь, что их не дослушают, рассказывали какие-то невероятные истории.

Махровый коврик, аккуратно сдвинутый в сторону...

Резиновый вантуз, сохнувший в углу ванной...

Мое бледное лицо в зеркале над раковиной с чужими немигающими глазами.

И все...

Я почему-то очень осторожно прикрыла дверь ванной, вышла в коридор.

Из неприкрытой входной двери доносился шум лифта, звон бутылок в мусоропроводе. Беспардонный солнечный зайчик, метнувшийся от коридорного зеркала, ослепил мои глаза своей неожиданной выходкой.

Со стуком упала пыльная палка, перегородив мне дорогу.

Я захлопнула дверь, пристроила палку острием в поролоновый коврик. Откинув со лба упавшую прядку волос, оглядела квартиру, пытаюсь определить, на какое время я засяду за уборку. Моя квартира представляла собой довольно тоскливое зрелище...

Я подошла к окну.

Как из другого мира, ворвались будничные голоса прохожих, визг тормозов, смех куда-то спешащих людей.

На детской площадке с жалобным скрипом раскачивались пустые качели. Брошенные, беспомощные, как чье-то безвозвратно ушедшее детство.

ДВОРЕЦ



**ВИКТОРИЯ
ТУБЕЛЬСКАЯ**

Окончила
Государственный
педагогический институт
иностранных языков
имени Мориса Тореза.
Переводчица.
Участница
VI Всесоюзного
и Московского
совещаний
молодых писателей.

ПОВЕСТЬ

Сергеев приехал в Элайне в начале лета. Автобус, который доставил его из райцентра, был дребезжащий, пропахший бензином и ходил редко: три раза в день.

Над шоссе, над мягким от жары асфальтом колыхалось марево. Уходящий автобус попал в него и стал бесформенным, зыбким, как амеба.

Проселочная дорога петляла по влажному лугу. От нее отвешивались тропинки, терялись среди высоких трав и цветов. Они вели к хуторам, но Сергею не хотелось делать большой крюк, только чтобы спросить, в правильном ли направлении он движется.

Совсем близко от Сергеева вдоль канавы вышагивал аист. Сергеев пошел медленнее. Ему нравилось смотреть, как аист перебирает тонкими и такими хрупкими на вид красными ногами и как стремительно бросает вниз и вперед маленькую головку на длинной шее. Аист, занятый ловлей лягушек, не обращал на Сергеева ни малейшего внимания, как будто человека и вовсе не существовало.

Сергеев поставил чемодан на дорогу, закурил.

Вдалеке показался мальчик на велосипеде. Сергеев думал, что он затормозит, увидев незнакомого человека, сидящего посреди дороги на чемодане, но этот мальчик, светловолосый, в шортах и теннисных тапочках, пронесся мимо Сергеева, словно чужие встречались здесь на каждом шагу, как аисты.

— Скажи, пожалуйста,— крикнул ему вслед Сергеев,— как пройти ко дворцу?

Мальчик махнул рукой в сторону леса.

Сергеев не торопился. Он сидел, подставив лицо солнцу, прислушиваясь к звукам, из которых состояла тишина: к пению жаворонков, жужжанию шмелей и едва уловимому шороху травы.

«Узнаю дорогу в том доме, на опушке»,— решил Сергеев.

Когда он подошел к ограде, большая собака, колли, лежащая у двери, подняла голову, но вместо того, чтобы залаять, все так же лежа завилья хвостом.

Пожилый седоволосый человек, которого Сергеев не заметил за кустами смородины, выпрямился.

— Не скажете ли вы, как пройти ко дворцу?

— Сейчас направо, по липовой аллее.— Он отряхнул колени, выпачканные землей, и недоуменно посмотрел на Сергеева, который все еще стоял у ограды, любуясь розовыми пионами.

— Вам что-нибудь еще нужно?

— Нет, нет,— смущенно пробормотал Сергеев.— Большое спасибо, извините.

В аллее было сумрачно, пахло прелью, грибами. В нескольких местах аллею пересекали солнечные полосы — память о срубленных липах.

Сергеев так старательно обходил лужи, что и не заметил, как оказался перед чугунной створкой ворот — другая лежала на земле, и сивозь нее росла трава. И неизвестно было, что легче и нежнее — зеленые перышки травы или фанта-

стические чугунные цветы и плоды, которые сыпались из рогов изобилия.

Он нагнулся, потрогал чугунный виноградный лист.

Во дворе громоздился строительный мусор: битый кирпич, ржавое железо с крыши, бидоны из-под краски. Под ногами хрустело стекло.

Дворец, чистенький, аккуратный после ремонта, выглядел жизнерадостно, как хорошо ухоженный младенец. Победно блестели новые водосточные трубы. Во всех трех этажах вставлены стекла и даже как будто вымыты.

Сергеев был опытным реставратором и знал, как обманчивы фасады дворцов, выкрашенные в веселый желтый цвет. Он умел отличать мертвые дворцы от живых.

Этот дворец, построенный Растрелли, погиб во время войны, когда нацисты устроили в нем штаб, а затем вывезли все: картины, мебель, даже паркет. Потом, после войны, о дворце забыли. Конечно, в те трудные времена было не до дворцов — Сергеев все это понимал. Но как художник он не мог примириться с тем, что просто так, от сырости и холода, гибла великолепная роспись, отваливалась лепнина, исчезала навсегда красота.

«Слава богу, — думал Сергеев, — сюда не успели проникнуть туристы. Уж они бы испоганили дворец окончательно. Что им стоит вырезать перочинным ножиком на двери, которой и цены-то нет, свои имена! Или на стене, поверх позолоты, нецензурные слова...»

Он шагнул на мраморную лестницу. Зажмурился на мгновение, вспомнил, какой он ее видел на гравюре. От статуи «Весна» остался только цоколь и две маленькие узкие ступни, сахарно поблескивающие на изломе.

— Вы художник Сергеев?

— «...е-е-е-в», — подхватило эхо.

Он обернулся.

Девушка в белой блузке с кружевами протянула ему руку и покраснела.

— Скуиня Вия. Я сегодня дежурю по школе, и мне поручили вас встретить.

Она повела Сергеева по галерее. Он шел немного сзади и удивился, что Вия в такую жару в чулках и лаковых туфлях на высоком каблучке.

— Как у вас здесь хорошо! — сказал Сергеев.

— Хорошо? Вы, наверное, шутите?

— Почему?

— Вы же из Москвы. Разве ее можно сравнить с Элайне? У вас там все есть: театры, музеи, выставки...

— По-моему, грех жаловаться. Такого дворца в Москве нет, и аистов тоже.

Она вежливо улыбнулась.

— Здесь наша школа-восьмилетка. — Вия показала на стеклянную дверь, за которой виднелись ряды пустых вешалок.

— Школа во дворце? — удивился Сергеев.

— Это просто безобразие! — сказала Вия. — У всех школы, как школы, новые, современные. А нам все только обещают построить.

— А вы учительница, Вия?

— Да, преподаю историю.

Сергеев не умел весело и легко болтать с незнакомыми людьми и уже начинал мучиться оттого, что приходилось выдумывать, что бы сказать. Молчать он не мог себе позволить — это было бы невежливо. Но Вия уже повернула ключ и пропустила Сергеева в узкую комнату, видимо, выгороженную из большого зала. Он протиснулся между железной убранной кроватью и черным шкафом, обильно украшенным резьбой, ища, куда бы поставить чемо-

дан. Наконец Сергеев водрузил его на единственный стул у окна, а сам остался стоять.

— Вы можете пообедать в кооперативной столовой. Это с другой стороны парка. И магазин там же. — Вия задумалась. — Так. Что я еще забыла вам сказать?

— А привидения здесь есть? — спросил Сергеев, просто так, чтобы поддержать разговор.

— Что это?

Он не ожидал, что Вия не знает этого слова, и засмеялся от глупости ситуации, в которую сам себя поставил.

Вия тоже засмеялась, как обычно смеются люди, для которых ваш язык — не родной, если они не уловили шутки, готовые рассмеяться по-настоящему чуть позже, когда им объяснят, в чем дело.

— Они появляются по ночам. То есть, конечно, не появляются, потому что на самом деле их нет. — Сергеев ужаснулся собственной галиматее. — Понимаете, это души людей, которые никак не могут найти себе покоя и являются живыми...

— А, знаю. Это spoki. Никогда не слышала.

— Значит, я могу спать спокойно.

— Здесь очень тихо, — ответила Вия серьезно. — Вам никто не будет мешать.

Когда последний звук ее шагов отскочил, как мячик, от стен галереи, Сергеев внезапно почувствовал, что очень устал. Устал настолько, что ему даже не хотелось пойти посмотреть на плафоны, которые предстояло реставрировать.

Он прилег, закрыл глаза, стремясь ни о чем не думать, но вопреки его воле возник холодный мартовский вечер с закатом на все небо, и в этом зеленом небе — большая, обманчиво близкая звезда. Лед на лужах был тонкий, морщился, как пенка на молоке.

— Опять эта звезда, — услышал Сергеев голос Марины. — Интересно, как она называется?

— Давайте напишем в «Вечерку» и спросим, — сказал Сергеев. — Только как объяснить, какую мы имеем в виду?

— Очень просто: «Дорогая редакция, как называется звезда, которая появляется около семи часов вечера на Садовой, между овощной палаткой и высотным зданием?»

Сергеев видел свое собственное лицо. Он улыбался через силу, только подыгрывая ее веселости, а глаза были жалкие, с предчувствием боли. Он знал: Марина остановится у подъезда серого дома, а он не осмелится спросить, к кому он ее провожает.

Он ничего не знал о жизни Марины, не знал, замужем ли она, и считал себя не в праве задавать вопросы. А может быть, просто боялся услышать нечто такое, бесповоротно определенное, что отняло бы у него возможность иногда видеть Марину, говорить с ней. Не знать было легче...

Так, думая о Марине, Сергеев заснул. Над ним, на потолке, утопая ногами в облаке, стояла нимфа, держа в руках лиру. Игривый ветер раздувал ее легкую одежду и нес пухлое облако в угол, туда, где серело зловещее пятно сырости.



Вечером, закончив работу, Сергеев шел обычно через поле на озеро купаться. Рожь была еще зеленовато-голубая, но уже высокая, начинала зацветать. Солнце съезжало к горизонту за огромный гранитный валун, покрытый желтым лишайником.

Однажды Сергеев встретил на тропинке человека, у которого спрашивал дорогу в день своего приезда, и поздоровался с ним.

Человек улыбнулся, склонил голову в вежливом поклоне.

— Позвольте представиться — Андерс, учитель латышского языка и литературы, правда, уже на пенсии.

— Очень приятно, — сказал Сергеев. — Как ложивают ваши пионы?

— Вам они понравились? Это очень редкий сорт. Что же еще делать пенсионеру, как не разводить цветы... Вы не возражаете, если я немного провожу вас? Здесь, в нашей глуши, редко выпадает возможность поговорить с новым человеком, а тем более с художником.

— Боюсь, что я плохой собеседник, я больше люблю слушать.

— Я тоже. Что же нам делать? — Андерс засмеялся.

Сергееву понравилось, как учитель смеется, — он с недоверием относился к людям, которые вкладывали в смех подтекст: иронию, сарказм или чувство собственного превосходства. В смехе Андерса ничего этого не было.

— Я возьму на себя инициативу в разговоре, — улыбаясь, сказал учитель, — но прежде я хотел бы знать ваше имя.

— Владимир Сергеевич.

— Вы не против, если я буду называть вас Владимир? У нас, латышей, нет отчества.

— Но я же не могу называть вас по имени. Это невежливо.

— Пустяки! Выберите, что вам больше подходит: Эдгар, учитель Андерс или просто Андерс. Я даже согласен на Эдгара Теодоровича, если вам так удобнее.

Наступило то время перед заходом солнца, когда все становится четким и ярким. Казалось, ничего не стоило пересчитать лепестки ромашки, которая росла на другом конце поля, и разглядеть каждый извив на черной коре старого дуба.

У учителя было загорелое лицо человека, живущего тихо и мирно на лоне природы, а седину его Сергеев не мог назвать иначе, как благородной, потому что поседел Андерс не от суеты, а оттого, что всю жизнь, наверно, приносил пользу, учил детей.

«Какое-то особенное у него лицо, — подумал Сергеев. — Старинное».

Ему захотелось нарисовать учителя, но он не знал, как Андерс к этому отнесется, и решил, что попросит его попозировать, когда лучше с ним познакомится.

— Скажите, Эдгар Теодорович, откуда вы так хорошо знаете русский? — спросил Сергеев.

— Учился в русской классической гимназии в Риге... Представьте, до сих пор помню генеалогию русских царей. — Он замолчал, считая, видимо, что все эти подробности Сергееву неинтересны, и спросил: — А как дворец?

Сергеев почувствовал в его вопросе неподдельную тревогу, как будто Андерс говорил о живом существе.

— Плохо, очень плохо. Собственно, речь идет даже не столько о реставрации, сколько об имитации. Многое придется делать заново. Мне еще повезло: на плафонах всего три абсолютно утраченных куска, там, где протекала крыша. Скажите, это правда, что в большом танцевальном зале хранили картошку?

— К сожалению, правда.

— Неужели во всей округе не нашли более подходящего места? — взорвался Сергеев. — Или, может, решили картошку облагородить, приблизить ее

по ценности к золоту? Да что там золото! Эта картошка и вовсе бесценна...

— Дожить бы только до того времени, когда Элайне будет закончено, — сказал Андерс. — Если бы вы знали, как мне хочется снова увидеть дворец таким, каким он был когда-то, во времена моей молодости.

— Вашей молодости? — переспросил Сергеев.

Он, изучавший интерьеры дворца по сохранившимся описаниям, по старинным гравюрам, совершенно упустил из виду, что на земле существуют люди, видевшие дворец живым.

— В ту пору я сидел за одной партой с Мишей Шаховским. Его отцу принадлежал тогда дворец, — объяснил Андерс. — Один раз Миша пригласил меня провести несколько дней в имении. Мы ехали в экипаже. — Учитель улыбнулся. — Кучер был в белых перчатках. У главного входа, где пологие лестницы справа и слева...

— Рампы, — уточнил Сергеев. — До них еще не добрались. Ступеньки держатся на честном слове, опасно ходить...

— ...там стояла мать Миши и махала нам рукой.

— Она была красивая? — жадно спросил Сергеев. — Какого цвета на ней было платье?

Он нуждался в деталях, чтобы представить себе тот далекий день, в который сейчас всматривался учитель.

— Я не помню ее лица, а вот цвет платья, как ни странно, помню: светло-розовый. Да и что я тогда понимал в красоте! Мне было всего четырнадцать лет. Вечером устроили праздник в честь нашего приезда. Зажгли свечи. Кругом позолота, амуры в пастушеских шляпах, все это отражается в зеркалах, не поймешь, где отражение, где настоящее. Я был пьян, но не от вина. Мы знали меру, не то, что нынешняя молодежь. Я был пьян от этого великолепия. Потом долго не мог заснуть. Балкон выходит в парк, жасмином пахнет. Вдруг слышу голос: «Господин гимназист, не скучно ли вам?» И смех. Это горничные меня дразнили...

Кроме того, что Сергеев вообще предпочитал слушать, он особенно любил слушать стариков и благодаря им проникать в непостижимый мир, существовавший до его появления на свет.

В этом мире, с которым его связывали старики, все было другое: вещи, от которых теперь не осталось даже названий, улицы и дома, человеческие лица и взаимоотношения. Но самое главное, что Сергеев стремился понять и что труднее всего оказывалось для его воображения — это ритм. Все совершалось гораздо медленнее, и он сравнивал эту замедленность времени с движением часовой стрелки — сам он жил с издерганностью стрелки секундной.

Сергееву казалось, что в той далекой стране, откуда были родом старики, зимой шел медленный снег и каждую снежинку, севшую на рукав, можно было разглядеть до мельчайших подробностей.

Там текли медленные реки, а дни стояли на месте, как облака на горизонте.

Андерс и Сергеев вышли к озеру.

У берега вода была прозрачная, чуть желтоватая, с ярко-зелеными, как салат, водорослями на мягких, послушных любому движению воды стеблях. Среди водорослей паслись стада мальков.

Время от времени они все, как один, фантастически согласованно поворачивались к солнцу боком, всплывая ослепительным серебром.

Сергеев разделся и перешагнул через этот веселый аквариум и поплыл, раздвигая черную тугую воду. Он перевернулся на спину, зажмурился, а

когда открыл глаза, увидел, что рядом с Андерсом на берегу сидит Вия.

— Добрый вечер! — крикнул Сергеев.

Ему внезапно стало нестерпимо весело. Он даже недоуменно огляделся, пытаясь обнаружить источник хорошего настроения. Все так же остро пахла озерная вода, на бреющем полете пронеслась ласточка.

И тогда Сергеев понял, что радость возникла в нем самом и радуется он потому, что на берегу его ждут двое.

Он оделся за кустами орешника и заспешил к ним.

Тень Сергеева вытянулась и легла на траву, превратив его в солнечные часы. Стрелка уткнулась Вии в колени. Она подняла голову и взглянула на Сергеева снизу вверх грустно и умоляюще.

Сергееву стало страшно: он узнал эту улыбку, эти жалкие, потерянные глаза — наверное, он так смотрел на Марину, он понимал, что это такое.

Вия часто встречалась Сергееву то в магазине, то во дворе у каменных львов, то в парке. Она как будто всегда спешила по важному и неотложному делу и совершенно не собиралась разговаривать с Сергеевым. Только улыбалась вежливо. Впрочем, все эти мимолетные впечатления ожили в памяти Сергеева только сейчас. На самом деле он так же мало обращал внимания на выражение лица этой девушки, как на выражение лица продавщицы кооператива, куда ходил за хлебом. Если бы Сергеева попросили описать Вию, он, пожалуй, не смог бы этого сделать.

«Оказывается, у нее веснушки, — удивился Сергеев, — а волосы чуть рыжеватые...»

— Вы ведь знакомы с Вией, — сказал Андерс. — Она была моей лучшей ученицей, теперь мы коллеги.

— Вам не скучно у нас? — спросила Вия. — Я после Риги, после университета, никак не могла опять привыкнуть.

— Что вы, здесь прекрасно!

Радость не исчезла. Это было так странно и хорошо, что Сергеев рассмеялся.

— Вспомнили что-нибудь смешное? — спросил Андерс.

— Один анекдот. — Нужно было оправдать смех.

— Расскажите.

Как назло, Сергеев ничего не мог вспомнить.

— Не стоит, — сказал он. — Ерунда какая-то.

Воздух над озером уже голубел, деревья теряли прежнюю четкость.

— Который час? — спросил Сергеев Вию. — Мои, наверно, бегут вперед. Очень светло.

— Уже десять.

— Странно, тут никогда не бывает по-настоящему темно.

— У нас другое время, — сказал Андерс. — Раньше на границе переводили часы.

Валун в поле почернел, расплылся.

Сергеев провел рукой по его шершавому боку с чувством посетителя музея, за которым бдительно следят старушки-смотрительницы, а он все же нарушает грозный запрет таблички: «Трогать руками воспрещается».

— Наверно, этот камень видел Растрелли, — сказал Сергеев.

Вот в чем причина великого музейного соблазна — иллюзия, будто можно потрогать время.

— Подумать только, — сказал учитель, — когда Растрелли приехал сюда к Бирону, еще не существовало ни Зимнего дворца, ни Екатерининского, ни Смольного... Вы можете себе это представить?

— Нет, не могу.

— А молодого Растрелли можете?

Сергеев вспомнил портрет: пожилой, грузный со спокойными глазами, мэтр в зените славы... Каков же тот, другой, почти ровесник его, Сергеева?

...Невысокий худенький человек в кафтане табачного цвета, размахивая руками и что-то напевая, быстро шел по тропинке. В руке у него была ромашка, такая же светлая, как пудренные волосы. Лицо — по контрасту с седыми волосами — смуглое и совсем юное...

Таким оказался ему молодой итальянец.

— Вероятно, он был веселый и обаятельный, — сказал Сергеев. — Человек угрюмый и хмурый никогда бы не придумал такого дворца.

— Ему трудно, очень трудно здесь приходилось. — В голосе Эдгара Теодоровича прозвучала такая уверенность, что он, видимо, сам ее почувствовал, и, застенчиво улыбнувшись, пояснил: — Я уже давно занимаюсь историей дворца, собрал много материала. Все же лучше, чем коллекционировать на старости лет наклейки от бутылок или спичечные коробки. Может быть, кому-нибудь пригодится. Так вот — я видел чертежи Растрелли в одной немецкой монографии. Он много раз переделывал первоначальный, одобренный Бироном проект. Бирон был капризен, деспотичен: то ему одно не нравилось, то другое. То требовал убрать лестницу при парадном входе, то поставить трехэтажную сквозную башню, то велел делать овальные конюшни вместо четырехугольных.

— Конечно, Бирона волновали конюшни, — сказал Сергеев. — Недаром же он был, кажется, в свое время конюшим у Анны Иоанновны.

— Когда Растрелли строил дворец, Бирон был уже самым могущественным человеком в Российской империи. Растрелли не мог ни настоять на своем, ни возразить — от того, понравится проект Бирону или нет, очень много зависело. Заказ временщика был очень почетен, или, как теперь говорят, престижен.

— А мы Бирона в седьмом классе проходим, — сказала Вия и опять замолчала.

Сергеев и Андерс проводили ее до дома.

В окнах горел свет. Вия все не отирала калитку, и это ее ожидание, ее надежда, что Сергеев условится встретиться с ней завтра, мучительно отдавалось в его душе — вот так же он до самого последнего мгновения ждал, прощаясь с Мариной, как чужда, одной фразы, самой обыкновенной фразы, но Марина никогда ее не произносила. Каждый раз Сергеев прощался с ней навсегда...

На крыльце Вия обернулась. Хлопнула дверь.

— Эдгар Теодорович, — сказал Сергеев, — можно, я вам задам глупый вопрос? Вам попадались когда-нибудь счастливые пюди?

— Нет.

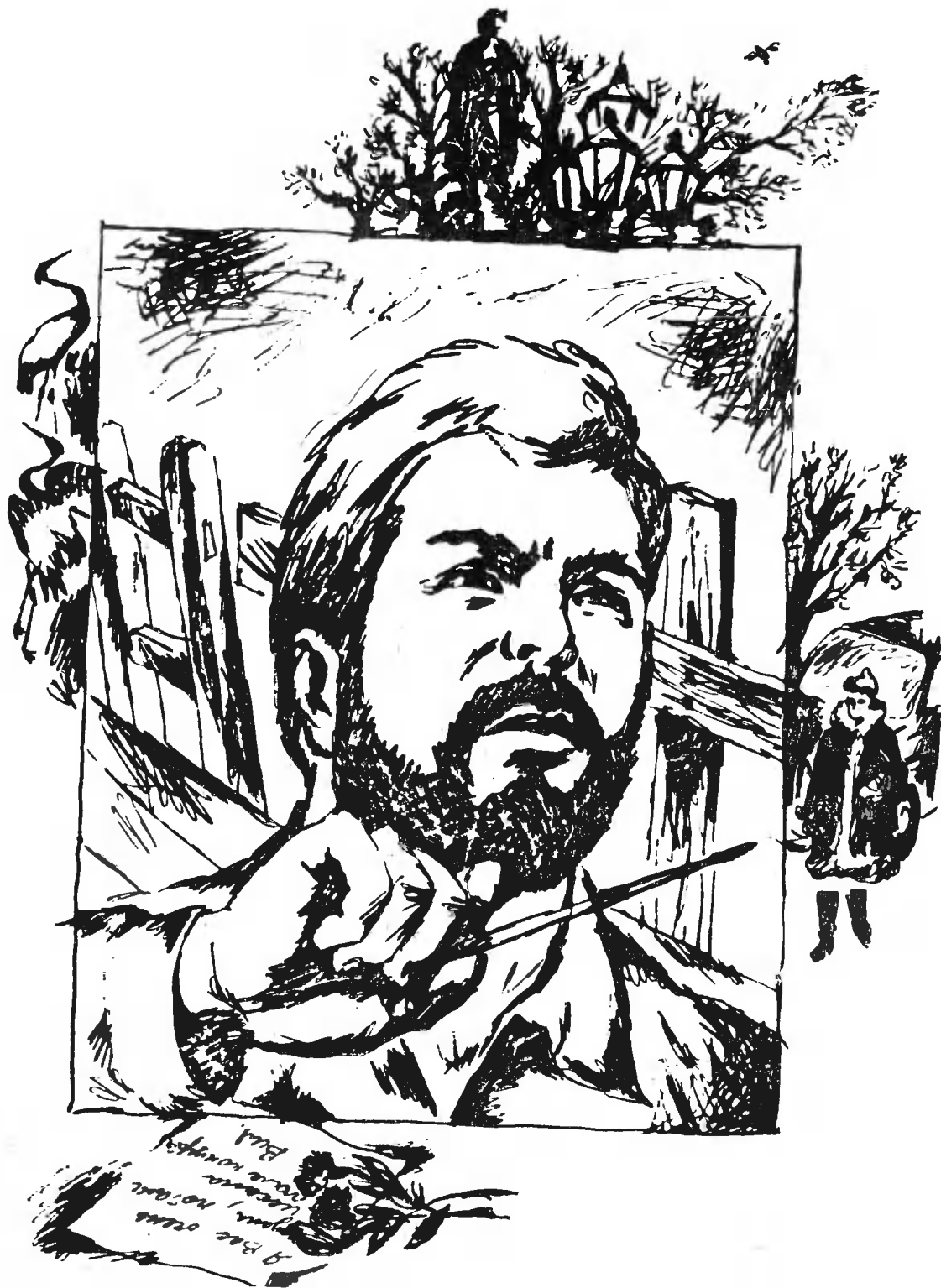
— Ни разу?

— Никогда. Но я считаю, что мне просто не везет. Мне обычно рассказывают о всяких неприятностях и несчастьях и просят совета. Думают, что раз я стар, то уже все понимаю в жизни. А счастливые советы не нужны...

— Значит, для вас нет тайн в Элайне?

— Ну, это немудрено. У нас все про всех все знают. Что подлаешь — Элайне маленькое. Например, в тот же день, как вы появились в наших краях, я был осведомлен о том, зачем вы приехали и как ваша фамилия.

Колли мчался по кирпичной дорожке навстречу хозяину.



— А вы добрый человек, — сказал Андерс. — Клаус на вас не залажал. Я это еще тогда заметил, в первый раз, когда вы спрашивали у меня дорогу.

— У него, наверно, просто было тогда хорошее настроение.

— Нет, Клаус прекрасно разбирается в людях. Вам не нравится, что вы добры?

— Да, — признался Сергеев. — Я бы предпочел быть злым, злым и сильным.

— Как вы думаете, злые мечтают стать добрыми?

— Нет, им хорошо живется и так.

— То есть это люди самодовольные?

— Да, в конечном счете самодовольные, — согласился Сергеев. — Странную мы с вами дискуссию затеали.

— Какая же это дискуссия?! Я вам ни разу не возразил.

На западе, над лесом, еще розовели перистые облака, а над дворцом небо уже потеряло прозрачность, стало сиреневым. Объятый светлым небом без звезд, дворец был невесом и призрачен. Его легко мог унести туман, наползавший из парка.

Сергеев стоял и любовался. Он никак не мог привыкнуть к красоте дворца, к его непостижимой легкости.

Никогда еще Сергеев не представлял себе так ясно, каким был дворец — до тончайших изгибов золотых завитков, до беспечной улыбки амура, придерживающего пухлой ручкой картуш над входом в большой танцевальный зал. Амуры складывали крылышки, как бабочки на цветах. Их хохочущая золотая стая пролетела по анфиладе и рассыпалась по стенам и карнизам. На плафонах били солнечные лучи в просвет триумфальных облаков. Греческие боги правили колесницами. С неба сыпались розы. Их было так много, что облака не могли их удерживать — розы падали вниз, застревали в резных рамках зеркал.

И опять будто привиделось: по выложенному звездами паркету скользил Растрелли. Лицо его выражало недовольство — истинный мастер, он уже испытывал неудовлетворенность тем, что сделал. Совершенство манило его, дразнило, мучало — недостижимое, как горизонт.

И этот дворец, несуществующий, погибший, — одновременно тот, который будет после реставрации. «Он опять будет таким же прекрасным, обязательно будет», — сказал сам себе Сергеев.

С липы сорвалась птица. Тревожно закричала спросонья.



Дорога упиралась в кирху.

Сергеев знал об умении старых мастеров ставить церкви так, чтобы они казались концом пути, и все-таки это поражало. Он готов был поклониться, что современнейшее шоссе с белыми столбиками и яркими дорожными знаками кончается у кирхи.

Ветер раздувал кроны каштанов. Сложенная из разноцветных камней — серых, черных, красноватых, — кирха пестрела в мелькании теней и солнечных пятен, как птичье яйцо.

Сергеев условился встретиться здесь с Андерсом — учитель обещал показать ему деревянные скульптуры.

Играл орган. Сергееву захотелось послушать. Он осторожно, на цыпочках, вошел, сел на скамью. Музыка заполняла все пространство под высокими сводами. Солнечные лучи сужались готическими окнами, становились острыми, как лезвие.

«Это бы понравилось Марине», — подумал Сергеев.

Как много он бы отдал, чтобы Марина сидела сейчас рядом с ним...

Сергеев даже не заметил, что пастор спустился с кафедры, и служба кончилась. Старушка с седыми букольками, двигаясь по проходу, уронила молитвенник. Сергеев его поднял, протянул старушке. Она заулыбалась, произнесла длинную фразу.

— А, вот вы где, — сказал Андерс. — Я так и решил, что вы Бахом наслаждаетесь. Сейчас все выйдут, и мы, никому не мешая, полюбуемся на апостолов.

— А пастор нас не выгонит? Он и так все время на меня смотрел.

— Он просто хороший оратор. Знаете, есть такой прием — выбрать какого-нибудь человека и обращаться только к нему. Наверно, он вас использовал сегодня в этом качестве, благо вы лицо для него новое.

— Но какой от меня прок? Все равно я не понимаю по-латышски и не мог реагировать: кивать головой, выражать свое согласие или несогласие... А о чем говорил пастор?

— О милосердии, кажется. Я застал самый конец. В солнечном луче промелькнула оса, села на полевые цветы, расставленные в вазах у алтаря.

— Вот они, — гордо сказал Андерс.

Деревянные фигурки украшали узкую лестницу, ведущую на кафедру, они чинно подымались друг за другом; последнего апостола, голова которого чуть высывалась над краем кафедры, было трудно разглядеть. Лица апостолов выражали простодушие и наивность. Мудрость, данная не опытом, не знанием, а высшим неприятием зла. Даже самые отъявленные подлецы не осмелились бы обмануть людей с такими лицами.

— Судя по манере — восемнадцатый век! — сказал Сергеев восхищенно. — И все целы! Поразительно!

— Жаль, если апостолов заберут в музей. Я так привык к ним, часто хожу смотреть. И здесь, в кирхе, они на месте. Остается только надеяться, что эксперты из Риги, которые приезжали зимой, про них забыли.

— Ну, нет. Искусствоведы — люди одержимые. Такое сокровище они из рук не выпустят. Может быть, они собираются объявить кирху историческим памятником и поэтому не трогают скульптуры?

— Хорошо бы, — сказал Андерс. — Тогда кирху отремонтируют и будут поддерживать в порядке, а то трудновато приходится — средств прихожан часто не хватает. Зимой ведь каждый день надо подтапливать, иначе все отсыреет. А откуда взять деньги на уголь? Сами видели — верующих теперь мало.

Они возвращались через кладбище.

Солнечные пятна мелькали на сочной траве, высвечивали розовые, белые, красные цветы, покрытые каплями воды. Пахло нагретыми на солнце кустами туи. Повсюду сажали рассадку, поливали или разравнивали граблями желтый песок вокруг могил. От этого кладбище становилось похожим на сад, в нем не было мрачности — только покой летнего дня.

Но попадались и могилы, на которые никто не пришел, с замшелыми каменными крестами, заросшие ландышами. Одну из них дикий виноград обвил так плотно, что превратил безвкусную статую, аллегория скорби, в зеленую мумию.

— Кристина-Ольга Свемпе, — прочел Сергеев. — 1900—1972. Всего два года прошло... Неужели у нее никого не осталось?

— Здесь никого, — ответил Андерс. — Памятник поставила дальняя родственница из Лиепайи. Сын Кристины в прошлом году приезжал из Канады, положил цветы...

— А как он оказался в Канаде?

— Ушел с немцами.

Сергеев родился в самом конце войны, и с ней его связывали непосредственно только два воспоминания.

Пришел старьевщик, и мама полезла на антресоли за всякой рухлядью. Она стояла на табуретке и бросала на пол старые платья и кофты, пахнущие нафталином. Вдруг среди них блеснула металлическая пуговица. Володя потянул за рукав и вытащил папину гимнастерку.

— А шинель возьмете? — спросила мама. — Тут еще сапоги есть.

— Давай, — согласился старьевщик.

Он пощупал сукно.

— Новая совсем. Не жалко продавать-то?

— Зачем она нам? — ответила мама. — Война, слава богу, пять лет назад кончилась.

— Погоны отпори, — сказал старьевщик. — Ишь ты, майорские.

Он сложил вещи в мешок и долго отсчитывал деньги, сплюняв пальцы.

А еще летом, на даче, они с мамой ходили в магазин за хлебом. Мама споткнулась о корень и сломала каблук. Володя очень развеселился оттого, что мама хромает, и тоже стал прихрамывать, для компани.

На просеке какие-то люди в серо-зеленом строили дорогу. При виде мамы и Володи некоторые выпрямились, заулыбались, другие продолжали копать канаву и возить в тачках щебень, не обращая на них никакого внимания.

Один, лысоватый, в очках, сказал что-то на непонятном языке, вытащил из кармана маленький молоток. Мама сняла туфлю, отдала ему вместе с каблуком. Он приложил каблук, дробно застучал молотком.

Мама обулась, потопала. Человек отошел, стал сыпать щебень в тачку.

Все остальное было из книг, фильмов, рассказов отца, и Сергеев спросил Андерса, пытаясь понять:

— Он был совсем мальчишкой тогда?

— Да, ему было лет шестнадцать. Здесь в сорок четвертом немцы мобилизовывали всех без разбора, почти детей. Люди оказывались между двух огней. Боялись, что если служил в немецкой армии, то русские расстреляют, и уходили вместе с нацистами.

Аллея кончалась у полукруглой стены, сложенной из песчаника. Учитель прошел по газону, поправил розы и гвоздики, лежавшие на траве.

По стене сверху донизу тянулись имена. Сергеев стал читать и внезапно наткнулся на фамилию Андерс.

— Здесь ваша фамилия, — сказал он удивленно.

Эдгар Теодорович выпрямился. Солнце било ему в глаза, он щурился.

— Это мой сын. Его повесили немцы. Он прятал двух русских, бежавших из лагеря.

Кровь бросилась в лицо Сергееву. Он готов был сквозь землю провалиться от праздного своего любопытства.

— Извините меня, Эдгар Теодорович, я понятия не имел...

— Что вы, Володя! — Он положил руку Сергееву на плечо, успокаивая. — Знаете то место, где яблони прямо посреди поля?

— Да, я еще удивился: сад, жасмин цветет, а дома нет.

— Там был дом, — сказал Андерс. — Полуразрушенный. В него бомба еще в самом начале войны попала. Вот там они и прятались в подвале. Они очень радовались, что я говорю по-русски. Я носил им еду, когда Каспар заболел...

Он вынул тряпочку, стал протирать буквы. Но до самой верхней надписи на двух языках — латышском и русском — «Вечная слава героям-комсомольцам» ему было трудно дотянуться. Сергеев хотел помочь ему, но подумал, что Андерс может воспринять это как фальшивый жест, как внешнее выражение сочувствия.

Сергеев молчал. Любые слова казались нелепым и ненужным сотрясанием воздуха.

На лугу протяжно кричали чибицы. Дул в лицо теплый ветер. Сергеев дошел с учителем до развилки и попрощался.

— Еще успею сегодня поработать, — сказал он.

— Отдохните хоть в воскресенье. Вы же целые дни сидите скрючившись.

— Не могу, Эдгар Теодорович.

Только там, на деревянном настиле под самым потолком, куда нужно было карабкаться по шаткой, сколоченной из досок лестнице, исчезала боль, засевшая в душе Сергеева с тех пор, как он полюбил Марину. Это не значило, что боль проходит, просто за работой он забывал о ней, оставшись один на один с греческими богами, с их величавыми или торжествующими улыбками, странными на исковерканных лицах, покрытых оспинами там, где осыпалась краска. Розовые, легкие тела парили в голубом небе, еле видные, стертые сыростью...

☆☆☆

Танцевали во дворе под магнитофон. Песенка была английская, хрипловатая. Сергеев прислушался к словам: он знал немного английский. Обычный набор — листья падают, она его больше не любит, не покидай меня, бэби...

Песенка дурманила, от нее исходила приятная искусственная грусть для тех, кому грустить не о чем.

Вия танцевала с высоким красивым парнем. Когда они попадали в широкий освещенный круг от керосиновой лампы, висевшей на дубе, Сергеев видел, как Вия беспокойно смотрит по сторонам. Он понимал, что Вия ищет его, и беспомощно улыбался ей, как будто Вия могла разглядеть в темноте его улыбку.

В круг от лампы попала невеста. У нее было круглое румяное лицо, над которым громоздилась высокая прическа. Тушь на ресницах поплыла от духоты.

Утром Сергеев ездил в райцентр за розами для нее. Ему повезло, потому что, как сказала продавщица в цветочном магазине, сорт «Супер Стар» — настоящая редкость. Он купил пятнадцать роз на очень длинных стеблях и нес их головками вниз — так носили цветы латыши.

Потом он зашел на почту и позвонил Марине. Никто не отвечал. Он долго слушал гудки, прежде чем повесить трубку. Наверное, работает с делегацией.

Сергеев часто вспоминал тот вечер, когда впервые увидел Марину.

В старинной подмосковной усадьбе, несмотря на мороз, было много посетителей. Мягкое шарканье тапочек по паркету и голоса экскурсоводов докатывались до зеленой гостиной, где работал Сергеев,

как монотонный, далекий и даже успокаивающий шум. Сергеев был надежно защищен от экскурсий табличкой, которую он собственноручно повесил на дерзкую ручку в форме орлиной головы: «Ведутся реставрационные работы. Вход воспрещен». Вчера заведующая забыла ее повесить, и Сергееву постоянно приходилось объявлять сверху, что зал закрыт.

Солнце разбухало, наливалось красным, теряло лучи. Сергеев спустился покурить и увидел в окно, у флигеля, где помещалась администрация музея, интуристовскую «Волгу». Из нее вышли пожилой стройный человек без шапки и девушка, наоборот, закутанная, в платке с бахромой. Минут через десять ручка с птичьей головой повернулась, и эти двое появились вместе с заведующей.

— Владимир Сергеевич, — сказала она. — Познакомьтесь. Специалист по туристским объектам из Франции, председатель... — Сергеев не уловил длинного сокращения. — Интересуетесь реставрацией. Побеседуйте с ним, пожалуйста.

Переводчица очень внимательно слушала Сергеева, уточняла, говорила «Стоп» — и французские слова, звонкие и круглые, заперекатывались по гостининой, как в те далекие времена, когда в ампириных креслах сидели декольтированные дамы.

Она на секунду замолкала, француз, весело и лукаво глядя на Сергеева, задавал новый вопрос. Сначала Сергеев думал, что внимание, с которым Марина его слушает, чисто профессиональное, но потом он почувствовал, что ей интересно тоже, и незаметно для себя Сергеев, поощряемый ее интересом, стал рассказывать именно ей, а не француз.

Морозный румянец уже давно исчез с ее щек. Она побледнела, под глазами обозначились круги. — Вы, наверное, очень устали? — спросил Сергеев.

Марина кивнула, не успев ответить — заговорил француз, оживленно жестикулируя. Убеждая в чем-то Сергеева, он несколько раз дотронулся до его плеча. Странная вещь — переводя француз, Марина преобразилась. За секунду до этого поникшая, она заговорила так же темпераментно, как он, с теми же жестами и даже, как француз, дотронулась до плеча Сергеева.

— Ну, нам пора, — сказала наконец Марина, посмотрев на часы.

— Я вам покажу дорогу, — предложил Сергеев. — А то вы заблудитесь в наших анфиладах.

Шел мелкий снег. Сергеев был без пальто, и на улице мороз сразу пробрал его до костей.

— Идите обратно, — сказала Марина. — Вы простудитесь.

Он чувствовал печаль от неоправимости того, что сейчас будет, — Марина захлопнет дверцу и исчезнет, и он больше ее никогда не увидит. И тогда Сергеев сказал:

— Вы не довозите меня до Москвы?

— Пожалуйста. Только быстрее. Месье Шуар торопится.

Всю дорогу Марина что-то объясняла француз. Сергеев, естественно, ничего не понимал, но ему просто хотелось слушать Марину и смотреть на нее. Он долго не мог определить для себя словами то необычное, что было в ней и так притягивало его, — вежливую доброжелательность.

Француза высадили около гостиницы. Он долго благодарил Сергеева, потом обернулся, помахал рукой.

— На сегодня — все, — сказала Марина. — Теперь я могу помолчать. Если бы вы знали, какое это блаженство.

Она отпустила машину.

— А теперь вы куда? — спросил Сергеев.

— Мне тут близко. Пройдусь немного пешком, подышу.

— Я вас провожу, — сказал Сергеев.

Горели желтые фонари, наполняя бульвар теплым домашним светом. Гомонили, устраиваясь на ночлег, гапки. Они пикировали на старый вяз, так сильно раскачивая ветки, что те птицы, которые уже сидели, неминуемо должны были свалиться. Но они оставались совершенно неподвижны, черно-серые плотные сгустки.

Галки всегда прилетали только на это место. Сколько уже галочьих поколений сменилось с тех времен, когда Володя играл здесь консервной банкой в хоккей и съезжал с ледяных горок. Вероятно, этот вяз был закодирован в птичьих генах.

Марина молчала. Сергеев молчал тоже — он знал, что такое усталость, и уважал ее у других. Потом она спросила:

— А вы где в детстве гуляли?

— Здесь.

— Значит, мы земляки.

Нет, в его детских воспоминаниях не было девочки, похожей на Марину. Были огромные воздушные шары, привязанные к палке. Пушкин на своем старом месте...

— Не помните, как стоял Пушкин — лицом или спиной к бульвару? — спросил Сергеев.

— Кажется, лицом. А помните, тут продавали восточных уток. Очень хотелось их иметь, но мне почему-то этих уток никогда не покупали.

— Верно. — Он обрадовался, что есть общие воспоминания. — Они в тазах плавали.

— А как в них играли?

— Не знаю. У меня их тоже никогда не было. Извините, что я заставляю вас говорить.

— Нет, нет, ничего.

Снег сталкивался со светом фонарей и снова исчезал, стремительно и неумолимо. Сергеев не подзревал еще, что будет вспоминать как счастье каждую мельчайшую подробность этого вечера — морозное солнце за окном, поворот ручки с птичьей головой и даже запах сигарет, которые курил француз...

— А в Ленинграде вы тоже работали? — спросила Марина.

— Приходилось.

— Трудно?

— Трудно, — согласился Сергеев. — Вернее, кропотливо. Представляете, какие огромные залы бывают во дворцах. И вот сравниваешь, что ты сделал за день и что осталось. Кажется, что никогда не кончишь.

— И все же заканчиваешь, — сказала Марина. — Как это, наверное, прекрасно — смотреть, задрав голову, на этот потолок! Он твой и больше ничей, правда?

— Вы угадали, — засмеялся Сергеев. — Я даже потом испытываю нечто вроде ревности. Честное слово, я ревную потолки, когда приходят экскурсии.

— Чувствую, что если б ваша воля, вы бы закрыли дворцы и никого туда не пускали.

— Ну, не такое уж я чудовище. — Ему нравилось, что Марина шутит. — Вас бы я пустил.

— Спасибо, — неожиданно серьезно поблагодарила Марина.

— Раз мы уж заговорили о профессиональных тайнах, можно я вас тоже спрошу? Когда вы переводили француз, я заметил, что вы в точности повторяли его манеру говорить, его жесты. Вы как будто играли его...

— А, это очень хороший признак, — сказала Марина. — Значит, я уже постигла его характер. Чтобы

действительно хорошо переводить, надо превратиться в того, кого переводишь. Но только это не похоже на актерскую игру, это что-то другое...

— А сколько дней вы уже работаете с Шуаром?

— Три.

— И так вжились в образ?

— Это очень быстро происходит. Тем-то, наверно, переводчик и отличается от актера, что у него нет времени на репетиции. Необходимо выразить другого человека на русском языке сейчас, сию минуту...

— А вы всех людей изучаете с такой быстротой?

— Нет, это чисто профессиональное качество. Только тех, кого перевожу. К сожалению, на остальных оно не распространяется...

Марина остановилась у подъезда большого серого дома.

— Ну, вот, вы меня и проводили.

— Вы здесь живете?

— Нет, я здесь не живу, — сказала Марина холодно, как будто в невинном вопросе Сергея крылось что-то для нее неприятное.

— Можно вам позвонить?

— Меня трудно застать. Обычно я возвращаюсь гораздо позже, часов в одиннадцать. Сегодня просто повезло.

— Я постараюсь вам дозвониться.

Записать номер телефона было не на чем, и он записал его на снегу.

— Всего доброго, — попрощалась Марина. — И большое вам спасибо. Шуар остался очень доволен беседой с вами.

Он долго смотрел на цифры, чтобы запомнить.

Сергеев шел по свежевыпавшему снегу, мимо полевых оскобков, милиционеров, мерзнувших у своих будок, и за ним тянулись следы, привязывали его, как собаку на длинной веревке, к подъезду серого дома...

Музыка кончилась, и внезапно наступившая тишина отвлекла Сергея от его мыслей, вернула на хутор.

Никто не знал, где Сергеев сейчас. Никому там, в Москве, и в голову не приходило, что на земле существует такой хутор, где трава во дворе мокрая от росы, и скоро будет гроза, и пахнет укропом, и Вия безошибочно угадывает, что Сергеев стоит у сарая, и она идет к нему, потому что больше не принадлежит себе, а почему-то ему, Сергееву. Она зависит от его слов, улыбки, взгляда. Он может сделать так, что ей будет отвратительно плохо — как ему сейчас — или, наоборот, радостно. Да, как ни странно, он, человек несчастный, мог сделать другого счастливым.

— Вам скучно? — спросила Вия.

— Нет, — ответил Сергеев и взял ее за руку.

Ее пальцы послушно лежали в его ладони.

— А теперь объясните, почему из всех, кто работает во дворце, пригласили сюда, на свадьбу, именно меня, совершенно чужого. Ведь ни председатель, ни его дочь со мной даже не знакомы. Уж если речь идет об официальных отношениях, следовало бы позвать директора музея Рокманиса. Вам это не кажется странным?

— Я не знаю...

— Это вы попросили председателя меня пригласить?

Ее рука напряглась.

Никогда еще Сергеев так остро не чувствовал одиночества. Жалость к себе была невыносима — и он уткнулся лицом в плечо Вии, как будто она могла спасти его от этой жалости.

Она гладила его по голове и шептала что-то полатышски ласково и протяжно...

Моросил дождь. Во дворе, среди развороченной грузовиками глины, растеклась лужа. Она добралась уже до лестницы, до каменных львов. Постаменты от времени совсем ушли в землю, и львы лежали прямо в желтой воде.

Сергееву нравилось работать в ненастье. Зал под ним исчезал в рассеянной мгле. Яркий свет переносной лампы на длинной ноге создавал ощущение уюта. Когда зябли руки, Сергеев грел их над ее синим колпачком.

Он опрыскал клеем щеку Афродиты, чтобы закрепить краску, включил утюг. Под карнизами толпились комары, спасались от дождя. Тишина дворца усиливалась, как микрофон, их писк. Далеко, в самом начале анфилады, слышались шаги.

«Только бы не сюда», — повторял, как заклинание, Сергеев. — Только бы не сюда». Ему не хотелось ни с кем разговаривать.

Он наложил фланель на лицо Афродиты, осторожно провел утюгом и в ту же секунду почувствовал, что на него кто-то смотрит: внизу стояла Вия.

— Я подымусь, можно? — спросила она радостно. Вия сняла плащ и держала его в руках, ища, куда бы повесить.

— Кладите на настил, — сказал Сергеев. — Я тут еще не приспособился к приему гостей.

Она аккуратно положила плащ на доски. Сергеев удивился выражению озабоченности и серьезности на ее лице, как будто она совершала нечто очень важное.

Свет лампы падал прямо на Вию, делал ядовитопрозрачным платье, заставлял блестеть неподвижные волосы, покрытые лаком.

«Она специально наряжалась для меня», — подумал Сергеев.

Он не мог разделить ее праздничности и оттого чувствовал себя последней дрянью.

«Сейчас скажу, что не люблю ее, и попрошу больше никогда не приходить», — решил Сергеев. — Господи, как ей объяснить?»

— А я вам пирог с ревенем принесла. — Вия развернула пергаментную бумагу. — Берите, он еще теплый.

Пирог пах корицей, праздником его детства, и это обезоружило Сергеева. Там, где-то за тридцать лет, плыл по квартире такой же запах и беспрерывно заливался звонок. Сергеев прислушался — время меняло звуки, и теперь казалось, что звонок наигрывает мелодию, а гости в прихожей смеются, шутят и здороваются ей в такт. «Как ты вырос, старик!» — говорили они и брали Володю на руки. Все предметы становились непривычными: вроде те и в то же время не те. Это пугало, но страх был приятен, потому что в любую секунду Володя мог попроситься вниз.

Вия устроилась на табуретке в углу, смотрела, как он ест.

— Что нового? — спросил Сергеев, прерывая тягостное молчание.

— Сегодня в клубе концерт нашего хора. Я так боюсь. — Она приложила ладони к щекам, и этот жест кольнул Сергеева своей деланностью: вот именно так принято изображать страх. — Нас приедут слушать из Министерства культуры.

— Почему из Министерства культуры?

— Они отбирают лучшие хоры для праздника песни. Если повезет, будем выступать в Риге... Вы придете?

— В котором часу? — Он знал, что не придет.

— В семь. — Вия встала. — А здесь должно хорошо звучать.

Она запела.

Сергееву было мучительно неловко. Он уставился на сине-стальное брюшко утюга. Еще только не хватало, чтобы сбежались скульпторы, которые работали в белом зале под предводительством Тамары Ивановны. Или, что еще хуже, появился директор музея Рокманис. Он ничего не скажет, только посмотрит сквозь Сергеева и пожмет плечами. После чего удалится, сверкая, как всегда, до блеска начищенными башмаками, худенький, туго стянутый джинсовым костюмом. А Тамара Ивановна останется и будет хлопать...

Так и есть. На пороге возникла беленькая, некрасивая Танечка, а за ней еще, еще... Сергеев прикрыл глаза, чтобы не видеть их любопытные лица. Все это было настолько нелепо, что ему стало смешно. Он попытался сдержать смех, но не смог и громко фыркнул.

— Тише,— осуждающе сказали внизу.— Слушать мешааете.

На лицах скульпторов проступили грусть и растроганность. Танечка в задумчивости обняла за плечи свою подругу. Они слегка раскачивались в такт. Кто-то начал подпевать мелодию.

Вия вытянула руки и уронила их бессильным жестом. Так делали певички, которые выступали по телевизору...

Внизу захлопали. Вия совсем не была смущена. Сергеев поразился ее самообладанию. А может быть, она просто не понимала.

Сергеев помог ей спуститься.

— Прекрасная песня,— вздохнула Тамара Ивановна.— Прямо за душу берет.

— А про что она?— спросила Танечка.

— Там грустные слова.— Вия вдруг покраснела.— Девушка любит рыбака и ждет его на берегу. А он никогда не вернется.

Тамара Ивановна смотрела на Вию с многозначительным выражением, как человек, знающий чужую тайну.

— Вы уже кончили музицировать?— осведомился Рокманис. Он стоял в дверях, маленький, стройный, невозмутимый.— Жаль, я не успел. Слишком длинные залы.

На его лице сияла самая светская, самая обходительная улыбка. Рокманис наклонился, поцеловал Вию руку. И это не показалось ни вычурным, ни странным— такая утрированная вежливость была для него органичной. Все так же улыбаясь и держа ее руку в своей, Рокманис спросил о чем-то Вию по-латышски. Она не ответила. Рокманис повторил вопрос, тихо, настойчиво. Вия вырвала руку и быстро пошла, почти побежала из зала.

«Не может быть...— думал Сергеев.— Рокманис и Вия... Что он ей сказал? Все из-за меня...»

Он ненавидел себя. Какое право он имел причинять боль другим людям? Бред! Что это за право такое? Не существует такого права! Но он же ни в чем не виноват... Так получилось. Легко сказать, получилось... Ворвался в чужую жизнь, в чужие отношения...

Несколько минут Рокманис смотрел в окно на раскисшую дорожку, на зеленые громады лип, и Сергеева поразило выражение глубочайшего интереса на его лице, как будто там, в парке, происходило что-то совершенно необычное.

Когда в зале, кроме них двоих, никого не осталось, Рокманис оторвался от созерцания пейзажа.

— Вы, вероятно, догадались, что я сказал Вии?— обратился он к Сергееву, сидевшему на ступеньках.

— Нет,— растерянно сказал Сергеев.

— Я вам переведу, если позволите. Я напомнил Вии, что у вас договор только до октября. Потом вы уедете, а она останется. И еще я попросил Вию больше не приходить сюда.

Он говорил спокойно и печально, и эта печаль уничтожила ощущение неловкости и досады.

— Наверное, мне лучше уехать сейчас,— сказал Сергеев.

Рокманис посмотрел на него внимательно, изучающе.

— Как знаете... Но лично я не могу вас отпустить. Кем я вас заменю? Летом трудно найти реставраторов.

Директор опять подошел к окну, но уже без прежнего интереса. Скорее всего он даже не заметил, что над парком заголубело небо.

Сергеев забрался на настил. Мыло было уже настругано, и он взбил пену в тазике. В солнечном луче пузырьки вспыхнули зеленым и розовым. Он приподнял кисточкой их невесомые тельца и перенес на лицо Афродиты. Когда Сергеев смыл пену, на щеке богини проступил нежный, детский румянец. Она была совсем еще девочка, и в том, как парила она на фоне облаков, в растопыренных пальцах, в неловко поставленной ступне сквозила скованность подростка.

«Это бы понравилось Марине»,— подумал Сергеев. Он представил себе, как легко и осторожно она дотрагивается до щеки Афродиты.

Сергеев помнил этот жест и из-за него— людей, спрашивающих лишние билеты у кинотеатра, где проходила неделя французского кино, и сам фильм, забавный и никчемный, и свое смятение, когда он увидел Марину в толпе, на лестнице, после сеанса.

Он решил не догонять ее, предохранить душу от нового мучения, но в следующее мгновение уже протискивался, продирался вперед. Он был совсем рядом, но Марина не замечала его. Она смеялась, окруженная весело переговаривающейся группой людей. Отчаянно предоставив все счастливому случаю, Сергеев ждал, не отрывая глаз от ее лица, от волос, таких тяжелых, что они не вздрагивали от смеха. А время уходило бесощадно, и лестница уж кончалась, и тогда Сергеев позвал:

— Марина!

— А, Володя!— Она остановилась, улыбнулась рассеянно.— Как вам фильм?

— Ничего особенного.

— Извините, я спешу. Я вам позвоню во вторник.

Она никогда не звонила, но Сергеев, поддерживая иллюзию, сказал:

— Я буду дома часов в семь.

Она дотронулась до руки Сергеева, заторопилась к выходу. Потом, уже у самых дверей, в сутолоке, обернулась, посмотрела на Сергеева искоса и грустно...

— Ку-ку!— окликнула его Тамара Ивановна.— Пошли обедать.

Сергеев не стал ей показывать богиню.

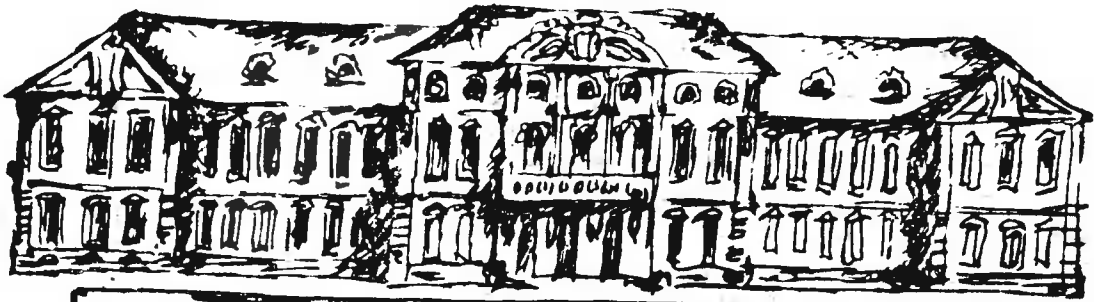
Запах мокрой травы и земли отдавал горечью. Туман обволакивал деревья. Они теряли четкость стволов и ветвей, оставалось только приглушенное зеленое сияние. Капли переливались с листа на лист, и липы были полны шороха.

Тамара Ивановна остановилась, глубоко вздохнула и выдохнула через рот, разведя руки.

— Да выпрямитесь же!— Она ткнула Сергеева в спину.— Делайте, как я. Вдох— выдох, вдох— выдох. Это очень полезно.

— Мне и так хорошо,— сказал Сергеев.

Тамара Ивановна пугала его своей активностью. Она вечно бегала с листом и собирала деньги: на



электрический чайник, на подарки ко дню рождения или на турпоходы. У нее была специальная карта со всеми достопримечательностями, и в выходные дни она в сопровождении еще двух-трех скульпторш отправлялась с рюкзаком осматривать развалины тевтонского замка или пещеру с летучими мышами.

Особенно настойчиво Тамара Ивановна приглашала Сергеева, но он неизменно отказывался.

Он любил просто греться на солнце, купаться в озере или идти куда глаза глядят по лесной дороге. Он не знал, куда она ведет, потому что всегда уставал и поворачивал обратно. Если была плохая погода, Сергеев ловил на шоссе попутную машину и ехал в город. Какой-нибудь грузовик всегда останавливался. Он испытывал благодарность к шоферам-латышам за их молчаливость.

Если же Сергеева подбирали москвичи, путешествующие на «Жигулях», он охотно болтал с ними, показывал, где находится универсам, и сам заражался их беззаботным отпускным настроением.

В городе он прокупал газеты и журналы, обедал в маленьком, всегда пустом ресторане и шел звонить Марине. Никто не отвечал.

Но была, конечно, еще одна причина неприятия Сергеевым путешествий, организуемых Тамарой Ивановной, гораздо более подспудная: он стыдился этой женщины. Стыдился ее бесцеремонности, ярко накрашенного рта, громкого голоса.

— Очень жаль, что вы с нами вчера не пошли, — обижено поджала губы, протянула Тамара Ивановна. — Прекрасное получилось мероприятие.

— Я не мог, — зачем-то стал оправдываться Сергеев.

— Вы всегда не можете... Было так интересно, мы заблудились.

Сергеева совершенно не интересовали подробности очередного турпохода, но из вежливости он спросил:

— Где?

— В Бумбери. Там старая мельница. Посмотрели, посидели у пруда и хотели возвращаться. Только не знаем, куда свернуть: направо или налево. Тут на дороге женщина показалась. Мы к ней кинулись, а она говорит: «Не понимаю». На хутор зашли, а там опять старик что-то по-своему. «Не понимаю» — и все тут.

Тамара Ивановна так возмущалась, как будто это кто-то специально подстроил.

— Со мной тоже так было, — сказал Сергеев.

Однажды он спросил дорогу у старушки, которая пасла корову. Старушка уловила только слово «Элайне» и долго объясняла по-латышски и показывала руками. Сергеев слушал и кивал головой. Но, видно, все-таки повернул не туда — старушка догнала его и довела до развилки. Корова нехотя тащилась сзади на длинной цепи.

Сейчас, рассказывая, Сергеев иронизировал над своей непонятливостью, но то, что он почувствовал тогда, пожимаая на прощание морщинистую, сухонькую руку — великое людское братство, — оставалось неприкосновенным.

— Да, местные жительницы к вам неравнодушны, — Тамара Ивановна понизила голос, хотя рядом никого не было. — Я хочу с вами серьезно поговорить, Владимир Сергеевич. — Обычно она называла его Володя. — Вы думаете, что никто не замечает, а все просто возмущены вашим поведением. — Она сделала паузу, ожидая, что Сергеев что-нибудь скажет, но он молчал. — Привыкли в Москве к легким победам! — уже с пафосом продолжала Тамара Ивановна. — Решили здесь попробовать. А Вия! То же хороша!

— Н, вот что, — очень тихо сказал Сергеев; веселый, легкий холодок злобы поднимался к сердцу. — Не смейте трогать Вию! Что вы во всем этом понимаете!

— Что я понимаю? — Тамара Ивановна отскочила и стояла теперь перед Сергеевым, тяжело дыша. — Думаешь, все кругом слепые! Как тебе только не стыдно!

— Если нам еще когда-нибудь придется общаться по делу, — сказал Сергеев, прерывая ее крик, мучительно несовместимый с тишиной и величием парка, — не забывайте, что мы на «вы» и на брудершафт никогда не пили!

Он повернулся и зашагал обратно ко дворцу.

В голове кружились необыкновенные по своему остроумию и униительности фразы, но без применения они мгновенно теряли блеск. Оставалось только омерзение, как будто он угодил лицом в паутину. Чувствуешь ее на коже, пытаешься снять, но она так тонка, что невозможно нащупать.

Прямо из-под ног выпрыгнул лягушонок. Сергеев нагнулся, вычерпнул его из травы. Лягушонок смиренно сидел на ладони, его белое горло чуть заметно пульсировало.

Сергеев осторожно погладил его указательным пальцем.

Он не был больше сторонним наблюдателем, и поэтому это был теперь его лягушонок, и парк был его, и дворец, и богиня любви с детским лицом.

И, может быть, не существовало больше одиночества.



Сергеев отпер калитку и в недоумении огляделся, как будто попал не туда: вместо пионов вдоль кирпичной дорожки росли мелкие лиловые цветочки.

Это было, конечно, глупо: пионы не могут цвести вечно, но тот первый день его приезда в Элайне оказался так тесно связан с ними, что Сергеев не мог представить себе дом учителя без их розового великолетия.

Дверь была не заперта, но Сергеев все равно позвонил.

— Володя, как хорошо, что вы пришли! — Андерс раздвинул герань, стоявшую на подоконнике. — А я болею...

Учитель лежал на тахте, укутанный по горло одеялом.

— С сердцем что-то, — пожаловался он. — Никогда со мной этого не было. Видно, первый звоночек с того света.

— Вам ничего не нужно? Съездить в город за лекарствами?

— Нет, нет, не беспокойтесь! Все есть. Принесли из амбулатории.

Запах лекарства — смесь валерианки и камфары — чувствовался, несмотря на открытое окно. Сергеев знал, как этот запах въедается в одежду, в стены, в дыхание. Он напоминал больницу, улыбающееся ему навстречу лицо отца на больничной койке и обозначал для Сергеева только одно — смерть.

— Можно я проветрю? — Сергеев распахнул дверь и вторую створку окна.

Сквозняк вздул занавески, смахнул с низкого столика рецепты.

Здесь все было из другого, медленного времени: оленьи рога на стене, споварь Брокгауза и Ефрона, толстые немецкие книги с готическими буквами на корешках, скатерть с вышитыми крестиком гномами...

Запах лекарства исчез, вытесненный запахом сена, мяты и озерной воды.

— Ну, все,— сказал Сергеев, закрывая дверь и чувствуя удовлетворение, как после трудной работы.— Теперь я буду вас развлекать.

Он рассказал про Афродиту. Ему хотелось поделиться своей радостью со стариком, разломить эту радость пополам, как хлеб.

Учитель ожил. Из его глаз ушел страх, внутреннее напряжение, с каким люди прислушиваются к своей болезни.

— Знаете, она удивительная, эта Афродита,— продолжал Сергеев.— Она совершенно не похожа на все, над чем я работал до сих пор. Ни беспечности, ни жеманства, она даже не очень красива...

— А какой это зал? — спросил Эдгар Теодорович.

— Я теперь в голубом.

— Ну, конечно, она другая! — торжественно сказал учитель.— Ведь эскизы к этому залу Растрелли делал много лет спустя. Работа была прервана, понимаете? Дворцовый переворот. Бирон был свергнут Минихом и отправлен в ссылку. Так что несколько залов остались незаконченными.

— А сколько лет Бирон был в опале?

— Около двадцати пяти лет. Пока Екатерина Великая не даровала ему высочайшее помилование. И вот Бирон возвращается в Курляндию и приглашает Растрелли в Элайне. Удивительная история, лучше всяких историй с привидениями! Вы только подумайте, как странно оказалась связана судьба Растрелли с нашим дворцом! Между его первым приездом и последним — когда он доделывал голубой зал — целая жизнь. Элайне в начале и Элайне в конце... Да, конечно, Афродита совсем другая, потому что Растрелли уже был другим. Он знал, что такое жизнь, и не питал больше никаких иллюзий, тем более, что незадолго до того, как Бирон вызвал его, Екатерина отправила Растрелли в отставку с пожизненной пенсией. Поражаешься, как Екатерина могла так обойтись с великим архитектором, нанести ему такое оскорбление, ведь она сама жила в Зимнем дворце! — Андерс был не на шутку взволнован, даже возмущен.

— Мода изменилась, — сказал Сергеев.— Появились новые архитекторы. Растрелли больше не был ей нужен.

— Как хорошо все-таки, что он понадобился хотя бы Бирону! Снова Курляндский герцог, возникший из небытия, снова дворец... Подождите меня немного, я только побреюсь, и мы пойдем смотреть Афродиту.

— Никуда я вас не пущу. Посмотрим, когда вы здоровеее.

На подоконник вспорхнула синица, в крайнем любопытстве уставилась блестящими глазками на людей в комнате. Сергеев махнул рукой.

— Зачем вы ее прогнали? — спросил Андерс.

— Есть такая примета: если птица залетит, будет известие. А я не хочу никаких известий.

— Даже хороших!

— У меня уже так давно не было хороших известий, что, прогоняя синицу, я ничем не рисковал.

Странно, с какой легкостью он заговорил о себе. Обычно Сергеев всячески избегал этого. А то, что он сказал однажды учителю, что любит слушать, — абсолютная правда. Пряча себя, Сергеев научился двумя-тремя вопросами превращать разговор в монолог. Он не хитрил — ему неизменно интересны были истории о чужих делах, чужой жизни, чужой любви. Сергеев слушал их, как сказки, как нечто, не имеющее к нему никакого отношения. Иногда он даже испытывал чувство вины перед собеседниками, которые и не подозревали, что их желание поде-

литься с ним своими горестями служило самой прочной гарантией, что они не будут интересоваться им.

Неужели он попался в собственную ловушку? Да нет, какая ловушка! Просто учитель добр к нему, оттого и вырвалась эта фраза о синице... Синичка, птичка синичка...

А на стене фотография мальчика. Уши по-детски оттопырены, косо пробор. Лицо, пожалуй, некрасивое. Нет, не некрасивое, а никакое. Может, он нефотогеничен, этот мальчик. Или он никакой, потому что все еще скрыто, не проявилось, жизнь не наложила пока своего отпечатка. Все еще будет... Страшно смотреть на такие фотографии. Мы-то знаем, что случилось, а мальчик на фотографии не знает, что его повесят... Нет, он не может быть никаким! Просто фотографии никогда не передают человеческой сути. Верность, доброту, способность отдать свою жизнь ради других не заснять на пленку.

Андерс заметил направление взгляда Сергеева.

— Это Каспар, — сказал он и добавил ласковое, уменшительное: — Каспаринь.

Конечно, по сравнению с горем учителя его беда — совершенная ерунда. А можно ли вообще сравнивать горе? Ведь боль у каждого своя. Ею нельзя обменяться. Люди потому и такие разные, что у них разная беда.

— Я хотел бы нарисовать ваш портрет, Эдгар Теодорович.

— Меня рисовать? — удивился Андерс.— Неужели вы не нашли более привлекательной модели?

— Не нашел. Ну как, согласны попозировать? Тогда я сделаю несколько набросков прямо сейчас.

— Ничего, что я не брит? — серьезно спросил Андерс и тут же улыбнулся, поняв, что его озабоченность смешна.— Хочется остаться красивым для портретов.

Солнечный прямоугольник с тенью гераниевых листьев был обманчиво неподвижным, казался навсегда повешенным у изголовья. Андерс замер, он даже старался не мигать.

— Нет, нет, — сказал Сергеев, — разговаривайте, улыбайтесь, двигайтесь, только не поворачивайтесь в профиль.

— Я думал, нельзя, — виновато произнес Андерс.

— И вообще не обращайтесь на меня внимания.

Как изобразить медленное время? Оно здесь, свернулось внутри раковины-пепельницы, просвечивает на солнце розоватым. Оно многолико, оно девочка Афродита, оно деревянные апостолы, карабкающиеся по кафедре все вверх и вверх — куда только их несет? — оно такая смешная, такая наивная теперь премудрость Брокгауза и Ефрона, оно дворец.

— Мужественный вы человек, — сказал учитель.— Других подбадриваете, шутите, смеетесь.

— Это вам кажется, Эдгар Теодорович.— Он был удивлен неожиданной оценкой.— Я человек слабый.

— Что с вами случилось, Володя?

Вопрос был поставлен прямо. Сергеев поднял глаза.

— Почему вы думаете, будто со мной что-то случилось?

Ради чего он так отчаянно защищается? Учитель стар, он знает людей, и его не обмануть. И все-таки невыносимо признаться, что ты несчастен.

— Иногда вы забываете следить за выражением своего лица.

— Да, — сказал Сергеев, — все верно. Только помочь мне нельзя, поэтому говорить об этом бесполезно. Лучше я вам расскажу другую историю, про Вию.

— Я все знаю, Володя.

— Откуда?

— У нас, в Элайне, ничего утаить нельзя. Для вас это, вероятно, странно. Вы не привыкли к такому, потому что живете в огромном городе. Вот вы и ведете себя без оглядки, открыто и не подозреваете даже, какую пищу даете для пересудов. Одно ваше появление на свадьбе так взбудоражило умы, что до сих пор никак не успокоятся.

— Вот видите, какая от меня польза. Есть о ком почесать языки.

— А я рад за вас,— сказал Андерс.— Разумеется, это сложно, но я уверен — все уладится. Вия согласится переехать к вам, в Москву.

— Ну и фантазия у ваших сельских кумушек. Какая чудовищная, жуткая нелепость! — Сергеев был в отчаянии от несурзности происходящего. — Да ведь все по-другому, вы даже не представляете, насколько все по-другому...

— Как же так? Значит, все неправда?

— Абсолютный бред. А правда в том, что я, к сожалению, знаю на своей шкуре, что такое любовь, Эдгар Теодорович. И я не мог допустить, чтобы Вия, ни в чем не повинный человек, мучилась так же, как мучаюсь я. Я не смог, понимаю, не смог оттолкнуть ее. И у меня никогда не повернется язык сказать Вии, что я ее не люблю.

— Но это же грех, страшный грех! Разве можно так поступать с людьми, изображать чувства, которых нет?

— Да ничего я не изображаю,— сказал Сергеев с досадой.

Он отложил набросок: новое, гневное лицо Андерса мешало ему рисовать то, прежнее, доброе и сосредоточенное.

— Ну вот, вы разволновались из-за меня. Честное слово, не стоит!

Сергеев вовсе не намерен был спорить, доказывать свою точку зрения. Он и не ждал, что учитель согласится с ним, но он не предполагал, что тот настолько нетерпим — даже не попытается понять.

Хором тикали часы: будильник — торопливо и бойко, часы с маятником — глухо и размеренно. Они показывали одно и то же время: без пяти девять.

Солнечный квадрат над головой Андерса исчез.

— Не сердитесь на меня, Эдгар Теодорович.

— Я не сержусь.

Но Сергеев чувствовал отчужденность собеседника и не знал, как преодолеть ее.

Он возвращался от Андерса в сумерках. Сергеев уже так привык к этим местам, что находил путь почти рефлекторно. Неужели он когда-то спрашивал, где находится дворец?

В липовой аллее было темно, дворец белел в самом ее конце. Казалось, он излучает слабый свет, как звездное небо.

«По этой аллее ехал Растрелли,— думал Сергеев.— Как будто возвращался на родину, к местам давно любимым. Ему, наверное, было хорошо здесь когда-то, потому что он был молод и, может быть, тогда впервые ощутил могущество своего таланта...»

Он живо представил себе, как уже старый Растрелли выходит из кареты и идет пешком, медленно передвигая ноги,— ему хочется немного размяться после долгого пути. Карета тихонько катится за ним.

Ворота открыты — его ждут. И Растрелли, тяжело дыша, торопится навстречу дворцу, как к давнему другу, с которым разлучила жизнь, улыбается ему и кивает.

Сергееву не хотелось возиться с ключами, отпирать дверь на галерею. Можно было влезть в комнату через окно.

На подоконнике что-то лежало. Он чиркнул спичкой: прижатая цветами, светлела записка. Сергеев успел прочесть: «Я вас очень ждала, потом искала после концерта...» Спичка погасла.

«Господи, дарить мне цветы...»

Он присел на спину каменного льва, закурил. Над дворцом стояли такие большие размытые звезды, что, казалось, смотришь на них сквозь слезы. Они притягивали, вызвали оцепенение, как огонь.

Из темноты возник звук шагов.

— Добрый вечер,— сказал Рокманис.— Не угостили ли вы меня сигаретой? Мои кончились.

Сергеев протянул ему пачку, как трубку мира.

— Ну, что же вы решили? — спросил Рокманис.— К сожалению, у меня нет юридических прав держать вас насильно.

— Остаюсь. До октября, как предусмотрено договором.

— Очень вам признателен,— сказал Рокманис.— Вам это может показаться странным, но я рад, что вы остаетесь.

— Что же тут радостного? — спросил Сергеев недоуменно.

— Как бы вам объяснить... Люди, на которых можно положиться, для которых дело превыше всего, встречаются очень редко. Я ведь вижу, как вы работаете.

— Спасибо на добром слове, Валдис Янович,— сказал Сергеев.— Но все же для всех было бы лучше, если бы я уехал. Просто я эгоист и думаю только о себе, мне нравится здесь работать. Я привык к этому дворцу.

— Понимаю. Со мной тоже это произошло. Не могу бросить Элайне, хотя мне предлагали другую должность, в Риге.

— А вы давно в Элайне?

— Восемь лет, с тех пор как кончил Академию художеств. Я тоже эгоист.— Рокманис улыбнулся.— Я дождусь, чего бы мне это ни стоило, того дня, когда наш дворец будет закончен.

— Представляете,— сказал Сергеев.— Гиды, автобусы с туристами, экскурсанты в тапочках.

— Непременно в тапочках,— сурово и непреклонно произнес Рокманис.— Я никого не пушу во дворец без тапочек.

Они замолчали, глядя на звезды.

ПОЭЗИЯ





ПАВЕЛ СЕРГЕЕВ

Родился в 1951 году.
Окончил
Владимирский
политехнический
институт.
Работает
инженером
на Красногорском
механическом заводе.

☆☆☆

Океан ушедших дней
Станет тихим и великим,
Станут резче и ясней
И события и лики.

Кто-то истину от пыли
Отряхнет и громко скажет:
— Ах, какие люди были! —
И рукой на нас укажет.

☆☆☆

Есть мягкие слова, как пластилин,
Лепить из них стихи совсем несложно,
Поэт над ними полный властелин,
И эта власть прочна и непреложна.

Однако эти мягкие стихи,
К несчастью для него, недолговечны,
Они приятны, но неглубоки
И пробой невысокою отмечены.

Но есть слова — шершавы и тверды,
Из них нельзя лепить — их надо плавить, резать, —
Лежат они в пластах простой руды,
К себе не привлекая интереса.

Стихи из этих слов невелики,
И нележки, и даже угловаты,
Зато они надежны, как штыки,
Выносливы, как старые солдаты.

Баня

Старинная песня

Эх, да тело ли он венчиком охаживает,
Эх, да бороду ли мокрую поглаживает,
Эх, квасок на жарки камушки поплескивает,
Молоды глаза в густом пару поблескивают.

Ты поддай, поддай еще, милок, поддай!
На полок, милок, дубовый полезай!
Эх, полез я на дубовый на полок,
На полок почти под самый потолок.

Светлым бисером стекает с меня пот,
Голова моя еловая гудёт.
Эх, да стань, моя головушка, легка!
Лучше бани нет забав у мужика!

Мыши

Играют веселые мыши
Ночами на гладком полу, —
Их осенью тянет поближе
К людскому столу и теплу.
Расставлены все мышеловки,
Но мыши премного хитры,
Они удивительно ловко
Воруют крупу и жиры.
Морочат заевшихся кошек
И дразнят угрюмых собак,
Никто из деревни не может
Расправиться с ними никак.
Но бабушка Марья на вечер
Сухарик под печку кладет,
Поэтому сало и гречу
Никто у нее не крадет.

☆☆☆

Весь ларусник от носа до кормы —
Единство содержания и формы,
Над ним трудились многие умы,
Оттачивая ларусные нормы.

Но неуклюжий чудо-пароход
Исподтишка завоевал все воды.
Он хоть куда без паруса пройдет,
Нисколько не завися от погоды.

☆☆☆

Душевпечатляющие виды
Прелюдируют осень и весна, —
Хорошо, что к плоскости орбиты
Ось Земли слегка наклонена.

А не то б всегда стояло пето
Или беспросветная зима,
И стихи лирических поэтов
Были б ограниченной весьма.

☆☆☆

На озере утят губила щука
И, наконец, попалась на блесну —
Полукопьем согнулся крепкий спиннинг,
И лёса натянулась, как струна,
Которая пружинила и пела, —
По ней красиво капельки сбегали.

Чудовище я вытащию на берег.
Хвостом хлестала щука по песку,
Вращая ненавидяще глазами,
Разинула зубастейшую пасть
И воздуху глотнула, задыхаясь,
И тут же с лязгом челюсти сомкнула.

Была покрыта мхом ее спина,
А чешуя металлом отливала,
Ей было лет, наверно, сто иль двести —
По чешуе бы можно сосчитать,
Но я не стал расчетом заниматься,
А вынул из кармана финский нож...

И вдоль вспорол ножом я рыбье брюхо,
Упругостью сравнимое с резиной, —
Из брюха выпал старый ржавый ключ...
И вдруг во мне возник вопрос внезапный:
Цела ли дверь, которую ключом
Когда-то этим старым отпирали!



ВЛАДИМИР СОРОКАЖЕРДЬЕВ

Родился в г. Кирове в 1946 г.
Работал шофером
на стройках Заполярья.
Окончил
Литературный институт.
Участник VI
Всесоюзного совещания
молодых писателей.
Сейчас работает
в Мурманском отделе
Географического
общества СССР.

Двое

На двадцатом веке в сорок первое лето
В воскресенье двадцать второго июня
Плыло солнце, как радиозонд, над планетой,
Были юноша Коля и девочка Юля.
За селом среди шорохов, свиста и писка
Было им невдомек, беззаботным и милым,
Что фашистские свастики кружат над Минском,
Над Кронштадтом, над Мурманском,
над Измаилом.

А над ними кружили стрекозы и бабочки,
И ромашки цвели вдоль пшеничного поля.
Перочинным ножом вырезали на лавочке
Сокровенное самое: «Юля + Коля».
Вырезали. И не было, видно, сноровки.
Он порезался. «Поосторожней», — сказала
И платком озабоченно рану неловко,
Но, как доктор, старательно перевязала.
Он коснулся губами девичьей щеки
С благодарностью детской за ласку и дело
(В это самое время у Буга-реки
С развороченной крышей казарма горела,
И чернела трава, и расколотый дуб
Подминала, стреляя, стальная громада),
А когда он губами дотронулся губ,
Встрепенулась она, прошептала: «Не надо...»
А внизу, а в домах слух от музыки жгло
И помились, помились ларьки от продуктов,
Но уже не гармонь занимала село,
А военными маршами — репродуктор.
И куда-то мальчишки скакали верхом,
Волновался народ у колхозной конторы,
Лишь двоих убаюкивал зеленью холм
В сорок первое лето над уровнем горя.

Полюшко-поле

У сельского клуба в раскидистый куст —
В обнимку сирень и рябина —
Уткнулся, как мордую конь, «Беларусь»,
И ветки стучат по кабине.
А в клубе — широкой и чистой избе,
Где на пол не бросят окурка,
Семен Наговицын, мусоля «Казбек»,
Гуляет! Играет придурка...
В мазуте и глине, худых сапогах,
Задирист, посплорить настроен,
Он ходит по клубу вдоль стен на руках,
Гримасничает, словно клоун.
А после мехи у гармоники рвет,
Как птице ей крылья ломает,
Тоскливые, грустные лесни поет,
О северном крае рыдает.
Нет, он не таков, Наговицын Семен,
Чтоб корчить весь вечер придурка,

И сразу серьезным становится он,
Едва появляется Шурка.
Красавица! Ради девахи такой
И жизни не жаль, что — таланта!
Он к ней подойдет и тряхнет головой:
— Позвольте сыграть, Александра?
А что ей сыграть, понимает и сам,
Без «Полюшко-поле» не танцы.
И ходят, тоскуя, по белым басам
Семена мазутные пальцы.
А за полночь снова засветится куст —
В обнимку сирень и рябина —
И Шурку с Семеном умчит «Беларусь»
Околицей, звездной равниной.
Туда, где рассвет опьяняющ и густ —
Раздольное полюшко-поле,
Где будет кружить и кружить «Беларусь»,
Как конь, обалдевший от воли.



ТАНЗИЛЯ РУДАКОВА

Окончила университет
в г. Уфе.
Работала
в республиканской
газете «Ленинец»,
сейчас корреспондент
еженедельника
«Спортивная Москва».

Предположение

Люди — бывшие птицы,
Только летать разучились,
Летать не умеют,
Вот потому и тоскуют,
Глядя в синее небо.

Кажется небылью нам
Затя Икара,
Того, что без страха взлетел
И, комете подобный,
След свой оставил короткий
На наших ладонях.
Вы приглядитесь внимательно
К линиям этим,
Словно рисунок пилота,
Что поутру чертит
Белым по синему
Вечные тайные знаки...
То ли судьба мне
Разбиться о камни,
То ли на крыльях взлететь
И, комете подобной,
След свой оставить
На чьей-то ладони.

☆☆☆

Прохожий смотрит,
Раньше не смотрел,
Он не ловил в толпе меня глазами,
Хотя по сотне раз
Мы на день с ним встречались,
Шагали друг за другом
След во след.

И вдруг, о чудо!
Среди стольких лиц
Ему мое как будто приглянулось.

Наплыли тени
Акварелью синей,
И хрупкий иней
Лег на кромки улиц.
И колкий холодок
Ресницы вяжет.
А я бегу,
Прохожий ускользает,
Он мимо пальцев,
Как лесок, струится,
Он о моем волнении не знает,
А мне его сочувствие приснилось.

И я очнулась...
Пот, и дрожь, и радость,
И не пойму, к чему бы эти слезы!
О, если кто-нибудь меня попросит
Взглянуть в глаза,
Как преданный щенок,
Я так взгляну,
Что цепый мир утонет.

Ах, скоро оттепель,
Вернутся птицы в сквер.
И воробьи, пируя беззаботно,
Возней своей
Отблагодарят за хлеб.



ВЛАДИМИР НЕЖДАНОВ

Ему 27 лет.
Работает в отделе
технической информации
одного из московских
институтов.

☆☆☆

Он в город уйдет из деревни,
Закончит лесной институт,
Уедет туда, где деревья
Весною, как птицы, поют.
Вся жизнь его новою станет,
Спокойной и сильной, как лес.
Глухую сторожку поставит
Из трех кубометров небес.

☆☆☆

«Летят перелетные птицы».
М. ИСАКОВСКИЙ

Летят перелетные листья,
Над лесом протяжно летят.
И тень пробегает по лицам,
Как будто деревья шумят!

Полнеба собой заслоняя,
Едва научившись летать,
Все кружит кленовая стая,
От пса не в силах отстать.

Листву разметало по стуже.
Все птицы вернутся весной.
И новая роща закружит
Над прошлогодней пиствой.



ЛЕСЯ ВАХНИНА

Киевлянка.
Окончила Киевский
государственный
университет
имени Т. Г. Шевченко.
Младший
научный сотрудник
в Институте
искусствоведения.

☆☆☆

Не больно ли дорогам от колес?
Или они совсем не замечают,
что дождевая капля весит меньше,
чем юный и надменный пешеход?
А может, грубым словом их обидел
шофер, в ненастье сбившийся с пути,
а может, им, как людям, не уйти
от страшных снов, навешанных войною?
А может, это вовсе не дороги —
морщины на лице родной земли!

☆☆☆

С весенним ветром возвратись, любимый,
наполни счастьем опустелый дом,
тем счастьем, что казалось мне когда-то
великим чудом и великой смутой.
Когда тревога выростала в нежность,
растерянно я простирала руки,
не ведая о сказочном богатстве,
которое даровано мне было
весенним ветром и дождем неожиданным.

☆☆☆

Мгновение, когда роса
на бронзовых ладонях листьев,
мгновение, когда неистов
и нежен ветер, павший на колени,
в волнах травы нашедший отраженье,
мгновение, когда ветвей
остолбеневших скованы движенья.
Твоих объятий в предрабсветный час
последний миг, разъединивший нас.

Перевела с украинского
Ю. СУЛЬПОВАР



БОРИС ПОПОВ

Работает
электрослесарем
в тресте
«Магнитострой»
в г. Магнитогорске.

Фасоннолитейный цех

Фасоннолитейный неласковый цех,
фасоннолитейный...
В конторке дежурных электриков спор —
конечно, идейный!

В конторке дежурных электриков смех
и дым коромыслом!
С каких — не пойму я — таких это пор
ты весь в моих мыслях!

Фасоннолитейный, ночной, ледяной,
суровый, не новый...
Я мальчик. Я слесарь. Пролетом бегу
от колкого слова!

Я слесарь... Мне хочется очень домой:
в кровать да за книжку.
Мне так надоели все эти болты
и гайки! Мальчишка...

Фасоннолитейный, крутой старожил —
смеешься и злишься!
С каких — не пойму я — таких это пор
зачем ты мне снишься!

...В конторке дежурных электриков жил,
заботы приемля.
Спустился с придуманных сказочных гор.
Поднялся на землю.

Проспект Metallургов

Проспект Metallургов —
наш главный проспект —
с реки начинается

свой вольный разбег!
И, как по течению этой реки,
плывут магазины, театры, ларьки!
Окован бетоном,

украшен цветами —
проспект Metallургов,
нелегкая память!

...Я точно не помню,
когда это было —
шумели березы

иль грозы выпали, —
но силою рук и душевного пыла
проспект Metallургов
мы сами создали!

Пропахший рабочею дымной водой,
он будет всегда молодой-молодой!..



КАКАБАЙ КУРБАНМУРАДОВ

Учился в Турнменском
госуниверситете
имени А. М. Горького,
служил в рядах
Советской Армии.
Сейчас работает
редактором
в издательстве
«Туркменистан».

Море и пустыня

Говорят ученые:
Где ныне
Вольно простирается пустыня,
Точно так же
Без конца и края
Раньше простиралась
Ширь морская.
Так-то так,
Гипотеза понятна,
Но как все гипотезы —
Абстрактна.
До тех пор,
Пока не доведется
Этих двух стихий
Увидеть сходство.
Край родной мой,
Пышущий жаром,
Ты, как море,
Блещешь под зарею,
Как над морем,
Пролетают птицы,
Как у моря,
Не видны границы.
Щедрою весной
В Туркменистане
Каждый холм
Нежно-зеленым станет,
Переливом цвета
Глаз лаская,
Как вода каспийская
Морская.
Как валы морские
Великаны,
Бесконечно тянутся
Барханы,
И полосы светлые
Над ними —
Гребни над волнами
Штормовыми.
А когда повеет ветер
Жаром,
Две стихии сходны миражами:
В Каракуме —
Даль морская стынет,
В море —
Миражом встает пустыня.

☆☆☆

Хочешь, друг, стихи увидеть?
Да, не прочитать, а встретить!
Мы с тобой, из дома выйдя,
Поглядим, силен ли ветер.
Вот он облачко гоняет,
Что похоже на овечку,
А оно клочки теряет,
Словно сон, недолговечно.

Но, прогнав его за город,
Понесется ветер дальше.
Ляжет облачко на гору,
А гора не вздрогнет даже.
Не услышит, не почует,
Что к ней облачко приникло.
Тучи кучей здесь ночуют —
К ним гора давно привыкла.
О минувшем не тужило
Наше облачко напрасно —
Полежапо и решило,
Что к горам оно причастно.
Выше всех оно на свете,
Всех важней (таков характер).
Пусть себя потешит... Ветер
Скоро снова его подхватит.
Ты со мной из дома выйдешь,
Даль раздвинет поле зренья.
Приглядишься — и увидишь,
Где живут мои сравненья.
Так смотри вокруг, не мешкай,
Чтоб не спрашивать поэтов
С иронической усмешкой:
Где они нашли все это!

Снег

Шел снег вчера, как будто шла
Дивизия в атаку,
Но вот, не выдержав тепла,
Стал отступать однако.

Скрывался в тень насколько мог,
Когда ж прижгло лучами,
То снег по улицам потек
И хлынул с гор ручьями.

Лишь высочайшая скала,
Не кончив с солнцем спор свой,
Как бастион зимы бела.
Вся — вызов и упорство.

Утро

Нас птицы утром ждут —
Открой окошко в пето
И не жалея минут,
Затраченных на это.

Присядешь на крыльцо:
Листы звучат, как струны.
Мир ясен, как лицо
Невесты — девы юной.

Люцерны полоса.
В ней искры не потухли.
Пройдешься, — и роса
Твои намочит туфли.

Но скоро вновь жара
Сухим огнем повеет,
Недолгая пора...
Цени, цени мгновенье!

Весенний ветер

По всем календарям уже весна,
И на глазах меняется окрестность.
Росу я видел нынче.
Ото сна
Земля очнулась,
И трава воскресла.

Весенний ветер с плеткою в руках,
Погонщик гроз,
Неутомим и жилист,
Хлопочет, суетится в облаках,
Чтобы они дождями разрешились.
О ветер-водолей,
Спеши, спеши —
Скорее бы в полях зазеленело!
Я ветру благодарен от души —
За доброе он нынче взялся дело.

☆☆☆

Выросший в пустыне, я люблю растенья —
Украшение улиц и долин красу.
Есть ли наслажденье выше наслажденья
В жаркий день укрыться в парке ли, в лесу!
Карагач и тополь, ива и чинара,
Да поют нам гимны лира и гитара!
Но еще достойней лесен самых лучших
Саксаул, живущий средь лесков горючих.
Выросший в пустыне и влюбленный в мир,
Здравицу кричу всей фауне зеленой.
Но всего мне больше средь деревьев мил
Тамариск, цветущий у воды соленой!

Перевел с туркменского
Н. НОВИКОВ.



ВЛАДИМИР МОЛЧАНОВ

Родился в 1947 году.
Служил в рядах
Советской Армии.
После окончания
Воронежского
университета
работает
в г. Белгороде
в районной газете
«Знамя».

☆☆☆

Минут счастливых не считаю,
Перед бедой спины не гну,
В безбрежном небе не витаю
И землю тоже не кляню.
Средь серых дней, ко сну способных,
Не помышляя о другом,
Одна ты, как степной подсолнух,
Высвечиваешь все кругом:
И темный лес в палахе тучи,
И дым деревни в стороне.
Свет золотистый неразлучен
Со всем, с чем разлучаться мне.
Как солнце зимнее в начале
Седого утра, я притих
Над восходящею печалью
От солнечных волос твоих...

☆☆☆

Когда ни любимой, ни друга,
А в окна — метель да лурга,
Я встану на лыжи упруго,
Прогнутся под ними снега.
Пусть ветер лоземкою свищет
И псом обозленным рычит,

А все-таки проще и чище
Летающее сердце стучит.
А все-таки ближе округа
И больше в движеньи огня,
Хотя ни к любимой, ни к другу
Несется по снегу лыжня...

☆☆☆

Последние листья летят и летят,
Чернеют и реки и лужи.
Под окнами гроздь рябины горят
Решительным вызовом стуже.

Как черный кочан, коченеет земля,
Чернеют деревья и небо.
Холодным огнем лопыхает заря,
А тучи как будто из снега.

И так захотелось мне осень продлить
Рукой отодвинуть метели.
Я из дому вышел, чтоб птиц проводить,
А птицы уже улетели...



АЛЕКСАНДР КОКШИЛОВ

Родился
в Ярославле.
Сейчас живет
в г. Волжском
Волгоградской области,
работает
начальником
участка на заводе.
Студент-заочник
Литинститута
имени Горького.

Обман

«Билеты я, мальчик, достану тебе.
Я скоро, постой у окошка...»
Красивая тетя исчезла в толпе
И с нею отцовская трешка.

Ждал десять, ждал двадцать — ждал много минут.
Народу почти не осталось.
Ну вот и билеты уже не дают.
Куда же она подевалась!

Я долго боялся поверить в обман;
Стоял, как солдат в карауле.
Еще раз зачем-то проверил карман
И понял, меня обманули.

...Красивая тетя, промерзший вокзал.
Мальчишка заплаканный...
Хмурясь,
Отец мне тогда, утешая, сказал:
Вы просто, сынок, разминувшись.

☆☆☆

Шлем танковый, ватные брюки —
Не боязно быть вратарем.
И все ж обжигало мне руки
Плетеным промерзшим мячом.

Когда с недалекой отметки,
Примерившись, били сплеча,

Казалось, не выдержать сетке
Оранжевой пули мяча.

Рискуя шальной головою,
С размаха бросался на лед.
Шутили тогда за слиною:
Боятся, что сетку порвет!

Под клюшки ложился я снова,
Одно лишь в сознание храня:
Заметила бы Карасева,
Влюбилась бы Гелька в меня!

☆☆☆

Мы жили в то время, как все,
И лучше кого-то едва ли,
Спасибо за все «полосе» —
Так поле у нас называли.

Шесть соток не лучшей земли
Отцовская грызла лопата.
Мы живы, мы выжить смогли
Три разнокалиберных брата.

Картошка на сковороде,
Печеная, просто в мундире...
Картошка всегда и везде.
Картошечка лучшая в мире!

Отец, как подсолнух, худой
Под вечер качался устало.
Зато никакой лебедой
Весна нас уже не пугала.

И память надежно хранит
То время несытного рая:
Под солнышком ранним горит
Лопата его штыковая!

Самолетик

То показывал брюшко,
То планировал на спинке.
Поднимался высоко,
Олускался до травинки.

«Самолетик, самолет,
Ты возьми меня в полет!»

Прокатиться так хотел!
Я чуть-чуть не докричался.
Самолетик улетел:
У него бензин кончался.



ВЛАДИМИР ЧЕРНЫШ

Ему 23 года.
По окончании
педагогического
института
работал учителем.
Живет
в г. Хмельницком
на Украине.

16 лет

Сыр голландский, морс, оладьи,
Торт, как облак шоколадный.
В вазах рассыпи конфет.
Девочке 16 лет.

С другом девочка танцует,
лимонад с шампанским пьет.
Мама в лоб ее целует,
папа руку важно жмет.

Мип, талантлив как!.. чертовски!..—
лоб высокий, строгий вид —
Иннокентий Смоктуновский
с фотокарточки глядит.

Одноклассники как дети
уминают винегрет.
Миллионы лет планете —
девочке 16 лет.

За городом

Мчался вихрем, не зная,
почему счастлив я,
воробья обгоняя,
притормаживая.
Щебетали колеса,
солнца рвали лучи.
Пели рыжие волосы,
плыли в небе грачи.
Сосны — слева и справа.
Колокольчика свет.
Утро. Молодость. Гравий.
Старый велосипед.

Картошка

Я обещал помочь немножко,—
и это правда, не вранье,—
когда копал у ней картошку,
верней, у бабушки ее..
Бралась во мне такая сила!..
Я целый день не ел, не пил.
Другого девушка любила..
Я ничего не говорил..
Свой проявляя норов бычий,
весь был как будто из брони..
Старушка волею приличий
просила слезно: «Отдохни...»
И что-то девушка шептала,
кричали гуси на реке.
Лопаты лезвие сверкало,
горела кровь на черенке.



ЕКАТЕРИНА ГОРБОВСКАЯ

Москвичка.
Окончила
среднюю школу
рабочей молодежи
в этом году.

☆☆☆

Светит солнце. Или месяц.
Или вовсе ничего.
А всего-то восемь — десять
Дней, как знаю я его.

И лица его не помню.
Где мне было рассмотреть!
Я глядеть старалась томно,
Мне хотелось зареветь,

Плыл туман перед глазами,
А с ресниц валилась тушь.
Я сказать решила маме,
А она смеялась: «Чушь».

Воспоминание

То был старый, очень старый,
Безнадежно старый дом.
Пытку ветром, бурь кошмары
Он сносил с большим трудом.
Он кряхтел, урчал и плакал,
А ведь раньше был — дай бог,
Он как старенький Геракл,
Что немного занемог:
Он большой, да бревна сгнили,
Он стоит, но как-то так,
Будто в шутку уронили
На него его чердак.

И вот в этом самом доме
От людей и суеты,
Закопав себя в соломе,
Укрывались я да ты.

И средь притихшей старины
Мы были люто влюблены.

☆☆☆

Привет, король бубновой масти.
Ты появился в октябре,
И я искала слово «счастье»
В большом толковом словаре.

Напрасно плакали чернила
На строчках странного письма..
Я не спрошу о том, что было —
Я все придумую сама.

Я все придумую, как надо,
Ни в чем не буду обличать —
На лбу твоём моя помада,
Как всепрощения печать.

Несправедливость

Прости меня, мальчик пятнадцати лет —
Тот самый, кому посвятила
Свой первый, нескладный и нежный куплет,
Который от всех утаила.

Прости меня, мальчик, ты даже не знал,
Ты жил, ты учил логарифмы,
А я все любила... И слезы ронял
Пегас на нескладные рифмы.

Прости меня, мальчик, за то, что потом
Повадилась, лоднаторела,
За то, что, склоняясь над привычным листом,
Другим посвящала умело.

А ты был со мною добрее других.
Другие бывали жестоки.
Прости, что тебе — самый первый мой стих
И самые глупые строки.



ВИКТОР ГАВРИЛИН

Родился в 1948 г.
в г. Бийске
Алтайского края.
Окончил
Московский
институт
иностранных языков
имени М. Тореза.

☆☆☆

Дожди на родине моей,
и не слышать уже ни птицы.
Я столько недоспал ночей,
теперь легко и спадко спится.

А осень так уже поздна,
и так проста, и так неярка,
что утром виден из окна
другой конец пустого парка.

Яблоки

Запоними подококник
плоды — железо и нектар.
А ночью снится: дым и кони
и а синем августе базар,

откуда нас потом увозят
с каникул летних поезда,
и трутся яблоки в ааоськах
и пахнут, пахнут наасегда.

Я их запомнил поименно.
Созреет а августе земля,
я повторяю упоенно:
«Шафран, анисы, штрифеля...»

А знаешь, мипая, ведь рано
с нескучным детством рушить связь.
Грызи румяные шафраны,
от соннца щурясь и смеясь.

Еще не ночь. Не биты карты,
когда один пишь дух садов
зовет нас покупать плацкарты
давно ушедших поездов.

☆☆☆

Вот мы живем, и зарастает плотью
та брешь, та нежилая пустота,
где не сбывапась и кусала локти
задиристая юная мечта.

Уста младенца дар теряпи вещей,
и торопливый дух говоруна
нас покидал, и обретапи вещи
простые и земные имена.

Не небеса, а небо над тобою,
и не подать рукою до звезды,
и то, что называется «судьбою»,
вдруг обретае явные черты.

Журавли

В непросохшем песу,
где березы в соку и где почки

по-спиртному запахли и препью рвзит от змппи,
вразнобой где-то глухо бренчат бубенцы
на цепочке.
Ты пицо запрокинь — это просто петят журавли.

Что ты вздрогнвш, душа! Что ты, дикая,
спушвешь клетот,
что за новость рвспышишь, квкую отравдную
весть!

Сповно это к тебе, сповно это они не пропетом
и нв ближней попяне сейчас собираются сесть.

А они пропетят — тонкой нитью, сквозной
паутиной,—
пропетят, квк приснятся, высоким небесным
путем,
и рвннется душа
на стихающий крик журавлиный...
Ожидаем и любим и в вечной разлуке живем.

☆☆☆

В той захопустной мапенькой деревне
вдапи от рек боьших и от морей
на кпадбище среди кустов сирени
могилу вырыпи для бабушки моей.
Бып непропазной грязью недовопен
в три музыканта траурный оркестр,
и горько-горько пахнуп канифолью
сосновых досок правоспавный крест.
Быпа, как в песнях, мать-земпя сырая,
и я по-детски пожалеп до спез,
что не быпо ни бога и ни рая,
куда бы ангел бабушку укес.
Лишь раз в году на хопмик из сугпинка
букет положат горше победы
крестьянке из деревни Лебединка —
непепые неездешие цваты.



ЗОЯ ЭЗРОХИ

Живет в Ленинграде.
Окончила
Ленинградский
химико-технологический
техникум
имени Менделеева.

Я — посудомойка

Ныряют а теплый океан
Тарепки, пожки... Но сначала
Тарепку, пожку и стакан
Я принести дожна из зала.

А в запе — скользкие попы,
Посуды звон и пиц круженье,
И пюди, ступья и стопы
Мне затрудняют продвиженье.

Но я петляю, как в лесу,
С небрежной грацией вахенки
И тряпку мокрую несусь,
И полощу ее в лоханке.
Я вижу стол. Он говорит:
«О горе мне! Я запит щами,
И макеронами покрыт,
И им подобными вещами.
Стаканов грязных миллион,
Тарелки, крошки, випки, пожки...» —
Так горько жалуется он,
Ко мне протягивая ножки.
Я подхожу. Нет, я не трус.
Я оценила обстановку
И вот уж маленький Эльбрус
Сложила весело и ловко.
Крутая хрупкая гора,
Угроза звонного обвала,
Стояла смирно — так добра! —
Покуда стоп я вытирала.
Затем, как в цирке — повсюду рук
И никакого нет обмана, —
Несу тарелок двадцать штук,
Пятнадцать ложек, три стакана...
Я ухажу. А за спиной
Сверкает стоп преобразженный.
И чей-то взгляд летит за мной,
И чей-то шепот восхищенный.

☆☆☆

Я купила маленький флакончик
Под названием «Красная Москва»,
Развинтив его стеклянный кончик,
Я его понюхала сперва.
Карандаш чернее зимней ночи,
Он меня кпюет наискосок.
У меня теперь большие очи
Упопзают прямо под висок.
Я теперь могу носить сережки,
Как береза или же ольха,
И гуляя с ними по дорожке,
Подцепить могу я жеииха.
В поисках на ногти перламутра
Я хожу при серьгах и кольце.
И лежит рассыпчатая пудра
На моем вескушчатом пице.
Я иду, и вверх меня возносят
Туфли на высоких каблуках.
Я не знаю, как их люди носят,
Я б скорей ходила на руках.
Спотыкаюсь, падаю, помаю,
Отлетают с криком каблукки...
А другие носят — я не знаю —
Веселы, спокойны и легки.
Я покупки складаваю в кучку,
Даже получается гора,
И свою чудесную полчку
Вспоминаю, бывшую вчера.

☆☆☆

Пришла зима. Нет, не завывала вьюга —
Ноябрь легко сменился декабрем.
И за окошком ппавно и упруго
Качнулась ветка с толстым снегирем.
И падал снег за дверцею балкона.
Казалось, воздух рвется и летит,
А ночью — ткань волшебного шифона,
Как чешуя русалочья, блестит.
И в смену я — в вечернюю, в ночную —
В большой лаборатории, одне,

Обдумываю жизнь свою земную,
Подолгу замираю у окна.
Вот странный год! Весна короче строчки.
Блеснуло лето рыбою и пруду,
И быстрые, как ласточки, листочки
Умчались, город оставляя льду.
Я у весов. Но цепкий клюв пинцета
Замрет, схватив за шейку разновес...
Я вижу лес. Далекий свежий пес.
Лес в ореоле летнего рассвета,
В котором я была и не была.
Тот лес, который знаю и не знаю.
Лес пис и зайцев, сказки и тепла,
Зеленый, позопоченный по краю.
Я вижу птиц, стрекоз и лягушат,
Брожу я по ромашкам, по опушкам.
И пугушата так смешно спешат,
Что временими скачут кверху брюшком.
...О чем я, в самом деле! Молода,
Еще успею ясным песом, летом
Гулять и рифмы складывать при этом.
Но отчего так трудно мне тогда!



ВЛАДИМИР КАРПЕЦ

По образованию юрист.
Работает в Институте
права АН СССР.
Участник
литературной студии
при МГК ВЛКСМ.

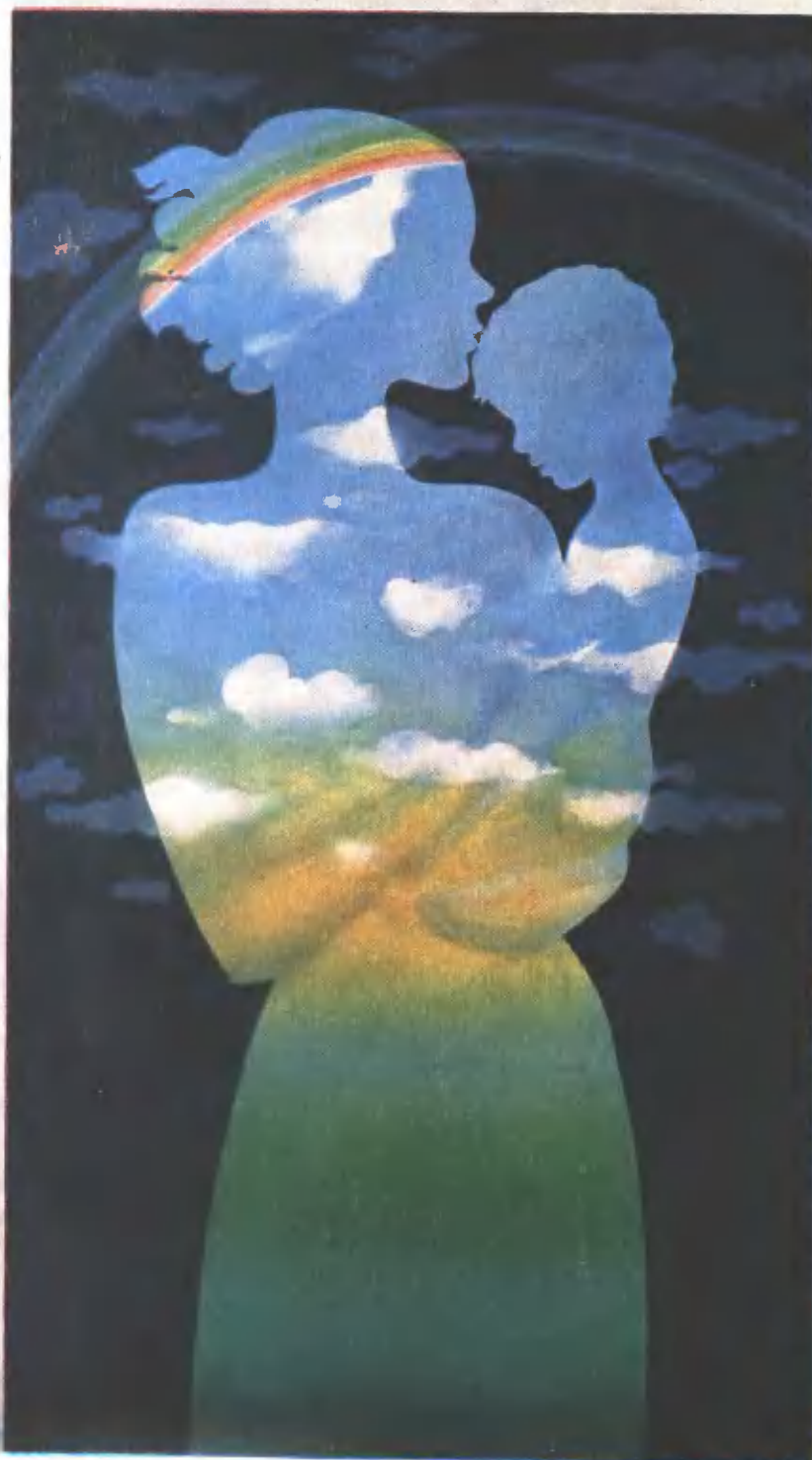
☆☆☆

Быле, наверно, осень, а может быть, весна.
У старого театра мне было не до сна.
Чего-то не хватало, а может быть, зари,
И я смотрел на эти большие фонари.
И стало вдруг тоскливо, а может быть, светло,
И вспыхнуло пуною фонарное стекло.
И заиграла флейта, а может быть, рожок,
И сверху на деревья посыпался снежок.
И не прошло минуты, а может быть, и двух,
И снег под фонарями рассыпался, как пух.
Так падает под лампой, ло комнате паря.
Оторванный рукою листок календаря.

☆☆☆

...Листе паденье в форме цифры 8
свершается, поскольку это осень
и время листопада. Далеко
белеет паропод, и мне легко
его принять за парус одинокий.
Но бурь никто не ждет, и он, далекий,
качается на медленной волне.
Ребенок в незашторенном окне
глядит на волны, слушая и слыша,
как музыка волнуется, колыша
вопну, рожденную на глубине.
И волны разбиваются. Оне
прощаются с понтийскою свободой,
как тот ребенок, что глядит на воды,
прощается с грядущей пустотой
и забывает о свободе той.

МИР ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ



В. ФЕКЛЯЕВ. Плакат.

По залам Всесоюзной художественной выставки «Молодая гвардия Страны Советов», посвященной 60-летию Ленинского комсомола.



Н. СОКОЛОВА.
Голубые дороги юности.
 (Саяно-Шушенская ГЭС).
 Центральная часть
 триптиха.



Е. РОМАНОВА
Портрет артистки
И. Чуриковой
и кинорежиссера
Г. Панфилова.



И. РЗАЕВ.

Мирное созидание. Из серии «Шамхорская ГЭС».



М. ТАЛАШЕНКО.

Субботник в ботаническом саду.



**ОЛЬГА
НЕМИРОВСКАЯ**

ПОСТИЖЕНИЕ НОВИЗНЫ

**Всесоюзная выставка
«Молодая гвардия
Страны Советов»**

Молодость прекрасна. Обаятельна и самозабвенна. Серьезна, романтична, притягательна. Жажда великих свершений движет ее поступками, самоотверженность определяет возвышенные порывы, героизм.

Такой предстает перед нами молодая гвардия Страны Советов на Всесоюзной художественной выставке, показанной недавно в Москве. Это ей, боевой, энергичной юности, посвящаются произведения живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства. Все 60 лет славной истории Ленинского комсомола вместила в себя яркая, убедительная художественная летопись. Ее начинали такие замечательные мастера, как Петров-Водкин и Самохвалов, ее продолжали Пименов, Дейнека, Кукрыниксы, и теперь страницу за страницей вписывают художники среднего и самого молодого поколения, пришедшего в искусство в семидесятые годы. Все они сказали о жизни и времени по-своему, точно, искренне.

Особенно пристально вглядывается зритель в работы молодых, ибо они лучше других могут почувствовать своих ровесников, их устремления и помыслы. Об этих произведениях и пойдет речь в данных заметках.

На выставке «Молодая гвардия Страны Советов» зритель, безусловно, отметил широту охвата действительности, стремление молодых художников работать на переднем крае нашей жизни. И прежде всего понять своего современника в труде, в работе, где раскрываются лучшие духовные, нравственные качества современника.

В Тюмени написал Д. Шушкалов портреты тружеников, представленные на нашей третьей обложке. Очарованный суровой, загадочной землей, он создал ее образ в картине «Город нефтяников Нижневартовск». Жизнь строителей БАМа, их будни и праздники отображают в своих полотнах В. Рожнев и В. Грызов. В графических листах воплощает В. Фекляев образы солдат-пограничников с Курильских островов. С партией геологов глухой тайгой Дарасуна ведет нас живописец В. Николаев, и вместе с художником мы постигаем смысл жизни этих ребят, тот нравственный стержень, который поддерживает их в трудной дороге.

На одном из участков Саяно-Шушенской ГЭС увидел Н. Соколова светловолосого паренька с глазами мечтателя и романтика. Он шел по строительной площадке и нес в рабочей каске нежные, трогательные ромашки. Одна небольшая деталь, подмеченная художником — как много дала зрителю в понимании героя.

Труд как живой фермент... Эти слова из «Капитала» Маркса в одной из своих недавних статей вспомнила Мариэтта Шагинян. Как фермент для живого организма, труд необходим, он одухотворяет жизнь, придает ей смысл и ценность. Именно в этом направлении ведут нравственные и художественные искания серьезные, думающие молодые мастера. Не так еще много явных завоеваний на этом пути, но выставка показала, что курс взят правильный. Как дело жизни ощущает свой труд, свое искусство молодая женщина — художник с картины С. Пономаренко «В Удмуртии». Много голубого — цвета надежды и радости — вводит Т. Палло-Вайк в портрет слесаря завода «Ильмарине» Рейна Асберга. С юмором, родственным студенческому капустнику, рассказывает М. Талашенко о работе на субботнике...

Молодого художника с походным мольбертом сейчас можно встретить повсюду — на заводах, строительных площадках, в полях, рыбацких поселках. Первые знакомства, первые впечатления всегда са-

мые общие. И естественно, что на ранних этапах освоения темы наиболее доступным и понятным становится пейзаж. Не случайно на выставке много работ, где природа, пожалуй,— главное в картине. Авторы и не скрывают этого, иногда сознательно обнажая прием. В «Мирном созидании» И. Рзаев показал небольшую группу художников, приехавших на Шамхорскую ГЭС. Залитые солнцем склоны древних, величаво-спокойных гор, атмосфера дружного труда — все пронизано пафосом жизнеутверждения. Художники изображены пока в стороне от главного места работы, словно затерялись на дне глубокого ущелья. В таком сюжетном повороте дается ощущение могущества природы, восхищение человеком, вера в его силу, разум. И, может быть, сознание собственной малости перед величием и размахом созидания.

Мотив мощи земной стихии в картинах, где главная тема — труд человека, довольно часто используют живописцы разных творческих школ и почерков. Только бы это решение не стало обязательным и, увы, расхожим атрибутом... Ведь если тема, в данном случае производственная, взята вне ее сложных — социальных, нравственных, психологических — связей и не одухотворена личностью самого художника, рождаются холодноватые, хотя и достаточно грамотные сочинения.

Одной из примет выставки (особенно это видно в работах молодых) стало обилие индустриальных пейзажей. Покоренный гением научно-технической мысли, полетом космической фантазии и не менее фантастичной реальности, художник открывает новую красоту грандиозных инженерных сооружений. Жаль только, что восхищение четкими конструктивными формами, порой причудливыми, словно бы инопланетными, становится подчас едва ли не единственным признаком современности. Можно понять интерес к декоративности, своеобразному пластическому ритму форм и линий, но настораживает их некоторая отвлеченность (не всегда они одушевлены живым чувством художника). И потому появляются внешне эффектные, красивые по цвету и освещению натюрморты из металлоконструкций.

А ведь индустриальный пейзаж ставит перед художником задачу осмыслить человека в современной обстановке. Забыть об этом — значит обеднять и себя и зрителя.

В полотнах, с которых глядит звонкоголосая, уверенная юность, покоряя открытым, радостным приятием мира, вдруг останавливает внимание внутренняя сосредоточенность многих героев, интенсивная работа мысли. Напряженно всматриваются вдаль герои Г. Келауридзе — юноша и девушка с картины «По комсомольским путевкам». Поезд мчит их по бескрайним просторам, впереди — новая, самостоятельная жизнь. Как сложится она для них? Сумеют ли с достоинством пройти испытания, обретут ли себя, друг друга?... Задумалась и вчерашняя школьница на полотне А. Акыева «В родной деревне» — о своей дальнейшей судьбе, о том, как жить, правильный ли избран путь.

Проникнуть во внутренний, духовный мир современника — задача нелегкая. Тут нужен и определенный художественный опыт и опыт общения, знание людей, которых пишешь. Портрет актрисы Инны Чуриковой и кинорежиссера Глеба Панфилова, созданный Е. Романовой, — это своего рода программно заявленное утверждение духовности. Невольно вспоминаются строки Данте, вдохновлявшие художников Возрождения, которые утверждали своим искусством высокие гуманистические идеалы:

Тот малый срок, пока еще не спят
Земные чувства, их остаток скудный
Отдайте постиженью новизны...
Вы созданы не для животной доли,
Но к доблести и к знанию рождены.

Иногда, впрочем, в некоторых произведениях внутренняя сосредоточенность только обозначена и воспринимается, скорее, как внешняя отрешенность изображенных на полотне персонажей. Не всегда молодому автору удается найти для своих героев активный выход из этого состояния.

Осваивая творческие традиции, молодые художники понимают: сегодняшний день уходит своими корнями в историю. Не случайно вспоминает Т. Назаренко декабристов, восстание Черниговского полка.

В работах молодых оживает минувшее, героические события прошлого переключаются с делами нынешними. Прослеживается связь времен, преемственность поколений комсомольцев двадцатых, сороковых, семидесятых годов. Энергичны, полны решимости сражаться за лучшую жизнь герои Д. Умарбекова. Уходят в революцию, в весну семнадцатого года латышские стрелки А. Мелдере. Упорно учатся деревенские парни и девушки в «Ликбезе» Л. Шиловой.

Близкой болью, памятью отцов и матерей звучат драматические события Великой Отечественной войны. Художники, знающие о ней по книгам, кинофильмам и рассказам фронтовиков, взволнованно воплощают свое понимание героизма. Этому посвящает Г. Перцев полотно «Малая земля», об этом рассказывает С. Шарипов в «Воспоминании».

В нашу эпоху миллионы людей объединяет одно желание — отстоять мир. Война не должна повториться — это заявляют трудовые люди всех континентов. Поэтому так волнует плакат В. Фекляева «Мир планете Земля» — пронзительный, как заклинание, решенный тонко и вдохновенно. Мягкие силуэты юной женщины и ребенка, многоцветье радуги, серебристые облака, голубизна неба звучат песней во славу счастья мирной жизни.

Так выглядят молодые на Всесоюзной выставке, о них эти заметки. Может быть, не всегда еще глубоко мысль в работах тех, кто выступает в искусство, не всегда самостоятельны подходы к теме и творческая манера, но экспозиция показала, что идет активное освоение живых художественных традиций, постижение нашего стремительного, обновляющегося мира — продолжается.

ПУБЛИЦИСТИКА



ЮРИЙ
ИВАНОВ



РЯДОМ С САЯНО- ШУШЕНСКОЙ

*Для многотысячного
коллектива строителей
всесоюзной ударной
комсомольской стройки —
Саяно-Шушенской ГЭС —
год 1978-й был особенным.
В День энергетика,
22 декабря, дал ток
первый агрегат
этой крупнейшей в мире
гидроэлектростанции.
Однако грандиозная победа
не снимает на первый взгляд,
казалось бы,
далеко отстоящих
от энергетики,
но тем не менее
очень серьезных
экологических проблем.
Как повлияет строительство
на окружающую природу?
Что станет со знаменитым
Саяно-Шушенским
заповедником?
Как сохранить животный
и растительный мир
в местах,
где идет проектирование
и сооружение
очередных комплексов
Саяно-Шушенской
гидроэлектростанции?
Геодезисту Юрию Иванову — 28 лет.
В составе одной из экспедиций
Ленгидропроекта
он участвовал в изысканиях
на верхнем Енисее.
В своих записках
он ищет ответа на эти вопросы.*

На экспедиционном дворе шум сборов, а над котлованом Саяно-Шушенской ГЭС — облако пыли и дыма. Пыль оседает сверху после скальных взрывов, пыль поднимается снизу от проносающихся по берегам реки БелаЗов; шлейф пыли извивается над kloкочущим Енисеем. По вершинам соседних хребтов тянется то ли легкий дым, то ли нижняя кромка кучевых облаков. Красиво? Не дай бог так воскликнуть, если рядом работают геодезисты! Для них не то что пыль — легкое марево — препятствие, мешающее точной работе оптических приборов.

«Сейчас изыскателям хватает работы у строящейся плотины. Чего ради отправлять десяток специалистов в безлюдный Саянский коридор на четыре месяца?» — подобное сомнение возникало у людей, озабоченных лишь возведением ГЭС и мало знакомых с верхним Енисеем. Они забывали, что сама плотина окажется ненужной, если за ее спиной вода разрушит берег и пойдет по новому руслу. Пока такая опасность исключалась, но со временем она может стать реальной... Об этом предупреждали геологи Ленгидропроекта после июльской разведки 1974 года. Вот отрывок из отчета тех дней:

«Обвалы и оползни получили в верхнем Енисее широкое распространение. Огромные обвальные цирки с крутизной до 80°, высотой до 80 метров и шириной фронта до 500 метров дают общий объем обвалов до восьми миллионов кубометров... Создание водохранилища явно вызовет активность гравитационных процессов, особенно в первые годы. Возможно усиление сейсмичности. Под водой окажется большая часть осыпей, переувлажнение которых вызовет подводное оползание, вовлечет в процесс надводные части осыпей и обнажит коренные породы. Последние будут подвергаться выветриванию и разрушению...»

Тревожные эти записки настораживали еще в городе, давали первое представление о новых местах.

«Нужно самому везде побывать и обо всем составить собственное мнение. Иначе изыскателем не станешь» — такова точка зрения нашего шефа, кандидата геолого-минералогических наук Арнольда Ивановича Атласова. Ему трудно возражать. Мы знаем, что Атласов-то побывал почти везде! Вспомнив, что побережье Енисея изучено им на сотни километров, местные юмористы предложили прибавить

к его «географической» фамилии приставку «Енисейский». Но сообразили — к той же фамилии придется тогда добавлять: «Амурский», «Колымский», «Индигирский», «Ленский»...

Масштабам обьезженных районов едва ли кого удивили в наш век. Двадцать лет назад бывалые полевик удивились другому: всю свою первую зарплату за летний полевой сезон молодой геолог Арнольд Атласов «выбросил» на дорогой микроскоп. Прибор затем «гостил» в экспедиционных палатках — местах, где странствовал его хозяин. Не дожидаясь зимней «камералки», геолог спешил сам исследовать занятные образцы пород.

Кто же такой Арнольд Атласов? Энергичный, резкий, не терпящий похваст в работе учений? Самолюбивый руководитель, увлеченный делом, но доверяющий лишь себе? Или опытный геолог, способный преодолевать и горные хребты и... бумажные пороги стареющих правил? «Сам, сам, сам...» — от Атласова коллеги слышат чаще всего именно это местоимение. Не самолюбивое «я», «мое», «мой», а ответственное: «сам сделаю», «сам пройду» или «решу самостоятельно». В стенах Ленинградского университета он сам выискивал новые методы химических анализов. В тайге один рвался проверить интересные и сложнейшие маршруты.

Для Ольги Уткиной, семнадцатилетней участницы наших изысканий, нет сомнений: Арнольд Иванович — самый смелый, самый знающий, самый сильный... Как-то раз, правда, ее убеждение было ненадолго поколеблено...

...Ежедневные обязанности повара приучили Ольгу тревожно воспринимать романтику походных костров, но тем загадочнее выглядели в ее глазах сложности геологических исследований. Однажды, оставив кухонные дела, девушка взобралась на утес и прикинула к окулярам бинокля, наблюдая за продвижением вверх цепочки изыскателей...

В то утро нас было четверо, отправившихся в маршрут вдоль Енисея. Арнольд шел впереди, выбирая удобные ступени для подъема. Путь по острому гребню хребта был тут единственно возможным: крутые обрывы обрезали тропу с обеих сторон.

Миновал полдень, час, второй, а до вершины еще около трехсот метров. Внезапно Атласов остановился, замерли и остальные. На светлом фоне неба Ольге хорошо видны темные фигурки людей, застрявших перед изломом хребта. Гребень изгибается здесь крутой седловиной, испещренной узкими провалами. Нам это место не внушает особых тревог, но ведущий указывает на очередной «нож», окаймленный глубокими трещинами. Шеф сравнивает его с гнилым зубом: чуть тронь — и покажется. А обойти «подозрительный зуб» невозможно. Удивление и досада охватывают наблюдательницу, увидевшую, как вся группа повернула назад. Да и все мы противимся решению Атласова отступать. Одни ворчат: «Арнольд стареет и осторожничает», другие указывают на предстоящие потери рабочих часов: маршрут-то надо завершать!

Маршрут мы завершаем на следующий день, выйдя к вершине с другой стороны. Бросив рассеянный взгляд на красоты простирающихся вокруг Саян, геологи устали в землю — состав почвы занимает их больше, чем художественные особенности горного пейзажа. Геодезистов же, напротив, интересует горизонт, хотя в нем мы выискиваем не редкие краски природы, а редкие для этих мест триангуляционные знаки. Неожиданно задул сильный ветер; густые облака подкрались к нижним склонам, стали мешать наблюдениям. Внизу в это время уже хлещет ливень, доносится шум камнепадов.

Тучи быстро проносятся дальше; виден гребень хребта и оскал его седловины — препятствие вчерашнего маршрута. Внимательный Николаев там что-то замечает, всматривается и торжественно объявляет: «Ребята, ветер выбил зуб в этой челюсти!»

В чем дело?

Оказывается, порывов ветра и дождя было достаточно, чтобы рухнула «гнилой зуб», настороживший вчера Атласова...

Синяя нить верхнего Енисея на карте легко охватывается взглядом. А на месте достаточно миллиметра этой линии и... теряется в пространствах реки взор наблюдателя. Так и схема наших изысканий вдоль Енисея выглядит по плану очень простой. Но на деле трудно предусмотреть, где и когда закончится очередной маршрут. Неожиданности начались в скалах.

Кто первым изрек такую глупость: «Надежный, как скала?» Скалы, как и люди, ведут себя поразному. Многие из глыб требуют к себе особого внимания — к этому выводу мы пришли, наблюдая, как подземные толчки, родниковые воды, бурный Енисей и шквалистый ветер изменяют очертания берегов, миллиметром искажают отметки высот, обрушивают десятки кубометров пород. Топографические карты Саян следовало бы проверять каждый год, так как устареть они могут и... через день после своего рождения.

Такая проверка доступна геодезистам, «вооруженным до зубов» оптической аппаратурой и математикой. Правда, у Владимира Ивановича Корнева арсенал невелик: точный нивелир, бумага да охотничий нож для заточки карандаша. Вооружен еще он и опытом пятнадцатилетней работы в экспедициях и необычной пунктуальностью...

Третий день Корнев молчалив и хмур. За обедом он, похоже, даже не заметил того, что съел. Ушел, забыв буркнуть привычное «спасибо», а вскоре вновь приник к окуляру нивелира. Сейсмологи сообщали о легких «волнениях» за спиной строящейся ГЭС. Люди особых толчков не почувствовали, но бездумные скалы в подобных случаях восприимчивей и способны сместиться... Геодезист знал: новейшая арочно-гравитационная конструкция ГЭС рассчитана на самое «предательское поведение» окрестных скал. Но помнил он и о другом: на плечи этих скал никто еще не взваливал более тридцати кубических километров воды!

За скалами нужен глаз да глаз, оптический, конечно. Но как уследить за миллиметровыми движениями гор, если каменные гиганты начинают дрожать и колебаться в знойной дымке июньского марева? Или «выбивают» почву из-под ног нивелировщика, заваливая очередным камнепадом репера² с отметками высот!

Глаза давно устали от многократных отсчетов, а теперь перед ними новый объект. Сквозь перекрестие нивелирной трубы Корнев долго рассматривает щербинки валуна. Откуда он скатился? «Каменный гость» застрял на склоне у самого обрыва. Если верить 40-кратному увеличению оптики с перевернутым изображением, то пришельца стоит лишь тронуть, и он рухнет в... голубеющее под ним небо. Свернуть в сторону и обойти препятствие нельзя: слева — бурлящий Енисей, справа — отвесные скалы. Что делать?..

¹ 31,3 км³ — будущий объем Саяно-Шушенского водохранилища (Прим. автора).

² Репер — вид геодезического знака с точно вычисленными координатами и абсолютной высотой места (Прим. автора).

В стороне от Корнева молча сидит парень двадцати шести лет. Помощник примостился на ящике от нивелира и терпеливо ждет последнего отсчета. Он ведет вычисления; с точностью до миллиметра готов указать высоту каждой стоянки, давно начертил схему сегодняшнего хода, а на последней странице журнала заранее подписал: «Вычислял Юрий Ветров». Осталось лишь замкнуть пройденный маршрут в триангуляционную сеть и, сверив результаты, выяснить, насколько дрогнули береговые скалы перед подземными силами.

Юра впервые сталкивается с горными условиями работ. Самостоятельного задания ему еще не поручили, но предупредили: «Учи — работать и соображать должен сам; Корнев нынчить с помощниками не любит!» В первый же день Корнев нынчить с ним действительно не стал, сунул в руки рюкзак, штатив и коротко бросил: «Пошли!» Заметив через пять километров, что парень не отстает, понтересовался: «Как тебя зовут?»

— Юра.

— Пиши, Юра: точка стояния — пункт 32, точки наблюдения — репер 19...

Дальше в течение многих дней звучали числа и названия, понятные им двоим.

Сегодня молчание явно затянулось.

— Полюбуйся,— проронил наконец Корнев, отходя от нивелира.

Юра осматривал в трубу каменное препятствие: ситуация стала ясна.

— Его можно сбросить.

— Нужно,— откликнулся Корнев, рассматривая журнал и думая в то же время о засечках на пункты Другого берега. Он не увидел, как Юра скользнул в сторону и, беззвучно цепляясь кедами за ровный базальт, стал быстро подниматься вверх.

Скоро парень остановился в раздумье. Впереди извивается распадок, а дальше цель подъема — обрыв с застрявшим валуном. Подниматься удобнее в обход по логу сквозь кустарник, но молодой изыскатель насыпался об укусах таежных клещей. И хотя противознцефалитная прививка позади... «На голых скалах этих тварей должно быть меньше», — решает топограф, разглядывая в бинокль полторы сотни метров крутого склона. Скалы производят впечатление вполне доступных: множество выступов, ниш и трещин обещает превратить подъем в легкую игру с препятствиями. Итак, решено!

Лог с журчащим ручьем он пересек, но следующие шаги оказались шагами... назад. Осыпь мелкого щебня ожила, с шелестом окружила ноги, потянула за собой вниз.

«Но не спускаться же, едва попав в горы!» — мелькнула гордая мысль. А скоро и отступать стало нельзя: с обеих сторон нависали гладкие стены, за спиной осыпались задетые плитки, не оставляя для спуска даже зыбких ступеней. Впереди под углом в 80 градусов шла к небу узкая трещина — убежище летучих мышей, пауков и змей. При желании туда можно протолкнуть плечо и, опираясь на внутреннюю стену, ползти вверх. Другого пути не было.

Этот двадцатиметровый участок подъема отнял час. Час упорной борьбы за новые сантиметры, за возможность удержаться там, где сползает ветхий щебень, ломается сухой кустарник, рушится внешний слой скалы. От жаркого солнца и постоянного напряжения бежали ручьи пота, и лишь правая рука стыла от холода и сырости глубокой расщелины.

На северном горизонте просматривалась огромная стройка. Отсюда открывался великолепный вид на сооружения Саяно-Шушенской ГЭС, на новый железнодорожный мост, на Енисей... Но лишь подняв

голову, топограф уяснил, что теперь не до пейзажа. Небольшая площадка замыкалась нависшими вокруг ровными плитами скал. В сущности, это был тупик, где нет пути назад; короче говоря, ловушка.

Высота нового барьера не превышала и шести метров. Можно рискнуть и проползти половину стены, дальше — ломать шею. Сообразив это, Юра отчетливо понял, что означает фраза из правил техники безопасности: «Одиночные маршруты в горной местности запрещены». А ведь он даже не предупредил Корнева о своем «подвиге». Где тот будет искать помощника?

— И долго ты думаешь прохладиться? — Над каменным гребнем показалась голова Володи Корнева. Исчезновение товарища он заметил не скоро; шум падающих камней отвлек его от тригонометрических выкладок и сразу указал направление поисков. Юру он догнал, когда тот уже висел между небом и землей. Оценив ситуацию, опытный полевик решил, что самой громкой и отборной руганью положения не изменить. Проворчав все колоритные выражения себе под нос, Володя быстро двинулся по ложнине, в обход.

— Поднимись выше и освободи один из карабинов своей сумки. Так, защелкиваю... Двнгай! — Оказывается, два ремня от полевых сумок можно соединить и получить три метра недостающей связки. Шаг, еще шаг, и крепкая рука вытаскивает Юру из каменной западни. Рукопожатие длилось чуть дольше, чем требовалось, но есть ли регламент на такие мгновения? Затем оба молча карабкаются к валу. Вскоре четыре ладони покачали серую глыбу.

Спускались они медленно. Корнев не спешил с назиданиями, думая о собственной рассеянности. А Ветров чувствовал себя виноватым, хотя и рисковал лишь собственной жизнью. Он вспомнил теперь об особой математике изыскателей: рискуя собой — рискуешь другими. Нелепо погиб — обворовал товарищей...

Подводные обвалы, подмыв неустойчивых берегов, «сюрпризы» подземных ключей — все это может кончиться тем, что вода «превысит свои полномочия» и появится в самых нежелательных местах. Там, где совхозы рассчитывают иметь пойменные луга с сочной травой, возникнут обширные болота. Грунтовые дороги пересекутся с мутными потоками, а леса, отведенные под заповедники, начнут гнить на корню, станут непригодными для обитателей, привыкших к сухому климату. Природных бедствий можно избежать, если заранее уточнить обвалоопасные участки водохранилища. И гидротехники либо разрушат взрывами нависшие массивы, либо укрепят их, прибегнув к защите дополнительных дамб.

...Наши бинокли уже третий час направлены на противоположный левый берег Енисея. Несколько человек, будто загипнотизированные, не отрывая взгляд от подозрительных трещин и ниш выветренных скал. Глаза устали от содружества с оптикой, но по-прежнему ищут ответы на важнейшие вопросы — базальт, гранит или непрочные сланцы составляют тот далекий, склонившийся над логом массив? Каковы глубина и угол падения длинной трещины, отделившей от хребта тысячи кубометров породы? Есть ли осыли за этим склоном и дальше, вверх по ручью Малые Уры? Прочный ли грунт под деревьями, что скроются в 60-метровой толще воды? Вопросов много, и, казалось бы, чего проще — не теряя времени, садясь в катер, переправляясь через реку и выясняя все на месте. Не так трудно перевалить через хребет и, пройдя по руслу притока, понять,

какие неожиданности произойдут в этом заливе будущего моря... Стоп, нельзя! Перед нами территория государственного Саяно-Шушенского заповедника. Еще в мае в заповедник было отправлено письмо, где руководство экспедиции сообщало об опасности подводных обвалов в районе заповедника. Экспедиция просила пропустить своих сотрудников в эту зону для уточнения границ ожидаемых «всплесков». Дирекция заповедника более месяца «приходила в чувство» от угрожающих вестей, собиралась с ответом. Затем пришел... отказ! Причина была неясна. Послали второй запрос. Что — сидеть теперь без дела? Не таков Атласов.

...Обширные пространства заповедника до сих пор остаются для нас белыми пятнами. Хорошо проверены склоны правого берега: для лабораторных анализов взяты пробы грунта; определены массивы, где необходимо вмешательство взрывников. Но, по данным аэрофотосъемки, скалы, требующие срочного «лечения», должны быть и на другом «запретном» берегу. Породы еще можно обследовать, пока сухо и потоки дождей не превратили камень в скользкую западню. Однако старые правила Саяно-Шушенского заповедника явно не рассчитаны на природные законы Саяно-Шушенского водохранилища. И это несоответствие старого с новым оборачивается для нас препятствием более сложным, чем все пороги и осыпи, вместе взятые.

Что же предпринять? Решение нашел Арнольд Атласов. Нашел потому, что всю жизнь привык взваливать себе на плечи и рюкзак и... ответственность.

— Геодезисты пусть продолжают привязывать¹ все найденные блоки². Остальным собираться и переправляться вверх, к логоу Большой Шугур. А завтра утром я с палаткой высаживаюсь на том берегу. Пока егеря обнаружат вторжение да сумеют меня выловить, пройдет не меньше недели. За это время можно самому найти и зафиксировать все осыпи с трещинами. Вскрывать сомнительные зоны и делать замеры будем позже. Придет же когда-нибудь нам разрешение на вход в заповедник!

Каждый обвалоопасный массив Атласов нумеровал на темной скале белой краской; теодолиты нацеливались на новый объект, а журналы наблюдений в градусах, минутах и секундах фиксировали найденные точки. Эти документы с математической точностью засвидетельствовали, что, где и сколько проделано одним человеком за восемь дней. Цифры геодезистов не могли сказать лишь о том, как это проделано. ...Вскоре, загрузив в катер последние палатки, мы двинулись к основному лагерю. А через несколько дней вместе с осенними дождями пришло запоздалое разрешение на вход в заповедник. Но теперь лезть на мокрые откосы скал было бы самоубийством.

Вечерний костер догорал. Обугленные поленья потрескивали, обдавали нас последним теплом и рушились на выжженную траву. Не хотелось тушить пламя; за ним чудилась искрящаяся жизнь, в которую мы не решались вмешиваться. Истекали последние дни наших исследований верхнего Енисея. Скоро домой. Продукты быстро кончались; запас «живого мяса» — два десятка пойманных белок — гулял

на свободе. Ветров заявил, что белкам тоже нужны запасы к зиме, и отпустил пленниц в тайгу. Мы понимали: даже в лесу человек должен думать не только о своем желудке.

Не мясом единым жив человек. Если, например, лишится обеда Арнольда Атласова, то он по этому поводу лишь очередной раз сострит. Но когда Ветров стащил у него свежие ленинградские газеты... До сих пор Юра не знает, как помириться с разгневанным начальником.

И все же не прессой единой жив человек. Шурфовик Николай Алексеевич Малышев относится к газетам спокойно, а беспокоится он сейчас об одном: куда удрал Филка? Лохматый щенок полдня пропадает в окрестных зарослях, и старый таежник, забыв про ужин и отдых, ищет в сумерках своего любимца.

И все же чем силен человек здесь, вдали от теплых деревенских изб или привычных городских улиц? Какая сила заставляет людей ползти по краю каменных осыпей, цепляться за гребни нависающих скал? Никто же не принуждал нас идти на риск, терпеть знойное солнце, промозглые дожди. Никто! Так что же за этим скрыто? Жажда приключений? Приключениями изыскатели успели насытиться в первых же экспедициях, а фальшивая романтика у нас не в цене. Деньги? С меньшим риском можно хорошо заработать на стройке. Стремление познать новый мир?

Не стоит мудрствовать там, где действительность сама подсказывает готовые ответы. Сидящий рядом моторист Юрий Спиридонов прерывает мои размышления:

— Ты заметил: тайга разрастается лишь по вершинам прибрежных сопок?! На склонах и у воды держится только кустарник да отдельные тополя и лиственницы. Сосен и берез мало, а весь кедрзач наверху. Восемьдесят метров окрестных склонов покроеет вода. Но затопит она лишь камни, колючие кустарники да отдельные деревья! Все самое ценное останется над водой! Вспомни Красноярское водохранилище. Сколько лесов, пахотных и садовых земель ушло там под воду! А сейчас? Совсем другое дело!

Рабочий продолжал говорить об экономических преимуществах Саяно-Шушенской ГЭС, но главное уже стало ясным. Конечная цель всеобщей работы очевидна и дорога для нас лично. Говорят, человек счастлив, коли повезет ему в любви; в любви к другому человеку, в любви к своей профессии. Не берусь судить о первом, но дело свое мы любим.

Истекал четвертый день ожидания. Часть палаток уже свернута, упакованы все образцы пород. Вечером слышим шум мотора.

Этот наш капитан прибыл на три дня раньше срока. На базе экспедиции он не воспользовался двумя законными выходными и решил забрать нас в суботу. Вызванные им грузовики ждут нас у перевала, в сотне километров выше по течению. А сам капитан, не спавший две ночи подряд и измотанный капризами Енисея, пошатываясь, выходит на берег. Его катер к нашим услугам.

...До отплытия остаются минуты. Но почему Атласов задерживается на берегу? Его же все ждут... Оказывается, верный своим привычкам, он упаковывает в банку соль, спички, немного крупы и вместе с котелком оставляет все около стоянки. Кому-то из таежников найденное место пригодится. А мы прощаемся с Енисеем...

¹ Привязывать — геодезическое выражение; определение местоположения объекта относительно известной системы координат.

² Блоки — геологическое выражение, в данном случае — отдельные обвалоопасные массивы скал.



**НАТАЛЬЯ
РАЙСКАЯ**

СОТВОРЯЯ СЕБЯ

Наталье Райской недавно минуло 20 лет, живет она в маленьком городке Свобода, Курской области.

Ее биография на первый взгляд мало чем отличается от жизненного пути других двадцатилетних. С 1972 года Наташа — в рядах ВЛКСМ. В 1975 году окончила школу рабочей молодежи. Работала в Доме пионеров, в краеведческом музее. С пятнадцати лет пишет стихи и очерки, печатается в районных и областных газетах.

За этой, внешне благополучной канвой скрывается большая боль и большое мужество. В 12 лет Наташа впервые оказалась на больничной койке. К 17-ти врачам, по выражению самой Наташи, обнаружили у нее «целый букет различных заболеваний». Несмотря на длительные больничные «отлучки», девушка нашла в себе силы учиться и работать, заниматься своим любимым делом — писать стихи. Больше всего ей хотелось постоянно «оставаться в строю», не быть объектом людского сочувствия и жалости, а самой по мере сил помогать устоять другим людям, сложенным неудачами, отчаявшимся, потерявшим присутствие духа. Ее героем, ее нумиром стали Павка Корчагин и его мужественный создатель, «ленинской закалки» большевик» Николай Островский. У Наташи появилась большая цель в жизни: собрать обширный материал о корчагинцах и написать книгу о людях, преодолевших физическую немощь силой духа.

Предлагаемые читателям отрывки из дневника Наташи Райской, с наш взгляд, дают возможность сопоставить с интересным и сложным миром нашего современника, преодолевающего трудности, — человека, который совершенствуется, строит себя.

Февраль. ...Вот и закончилась демонстрация фильма «Как закалялась сталь». О многом я перемудала, пока смотрела фильм. Только сейчас поняла, что слишком много из моих невольных 17 лет прошло впустую, просто так. Да, были дни, когда можно простить себе вынужденную бездеятельность (это дни болезни), но были моменты, когда нужные дела оставались не законченными просто из-за элементарной лени. Василий Александрович Сухомлинский сказал: «Мудрость жизни человеческой действительно заключается в том, чтобы видеть себя — и видеть правильно»... Как найти себя? Как это — познать самого себя? Для меня Николай Островский всегда был прежде всего Человеком. Он отнюдь не какая-то исключительная личность. Он — Человек. Мужество. Но что это такое?

Трудно мне понять этот мир. А себя легко ли? Чем бы заполнить иногда пустые дни? Вообще надо изменить саму себя. Надо меньше заниматься собою.

Март. Сегодня прихожу из школы и вижу у себя на столе большой конверт. Это письмо от Леонида Михайловича Жарикова. Тут же и книга «Наш современник — Николай Бирюков»¹. Как присела к столу, так тут же, на месте, прочла ее всю до конца.

Еще одна огромная радость! Получила бандероль из Ялты, от Анны Ильиничны Бирюковой. Как удачно: в один день солидно пополнился мой «корчагинский архив».

И вдруг... Кажется, дело принимает плохой оборот. Пришел врач, говорит, что нужно непременно лечь в больницу.

Апрель. Итак, сегодня вторник. Прошло ровно 4 недели болезни. Началась моя «больничная эпопея».

Прошла неделя. Опять на снимок. Позвоночник...

Первый день в терапии. Сегодня Валя Ковалюк принесла передачу и целую пачку писем. Как хорошо, что друзья не забывают!

Май. Ну вот, походила несколько дней в школу и опять свалилась.

Июнь. Мне — семнадцать! Но радости что-то маловато. Удивительное происходит со мной в последнее время. Этот год очень тяжелый: с одной стороны — болезнь, а с другой... открытия. Да еще какие! Новые люди, книги, песни. Все-таки жизнь прекрасна. Со всеми трудностями, со всеми радостями, которых, конечно же, больше. Стоит жить на этом свете, в этом прекрасном мире! Ей-богу, стоит. Тем более когда тебе семнадцать.

Август. Вот и кончается лето. Еще одно мое лето.

На днях выступала в ДК на вечере памяти Николая Островского. Рассказывала о корчагинцах. Весь зал слушал внимательно. Все-таки жизнь моих друзей — суровая, но мужественная — затронула...

Ноябрь. Сегодня принесла первую полчку — 34 руб. 72 коп. Как ни мало, а все же деньги, значит, я уже не иждивенец — работник.

Письма стали приходить все чаще, а мне очень больно их читать: неужели я так никогда и не увижу своих друзей, которых знаю только по переписке? Ну почему природа так несправедлива?! Разве виноват человек в том, что он болен? Ведь у него в груди бьется такое же, как и у всех, сердце, у него нередко куда больше мужества, крепче воля...

¹ Николай Зотович Бирюков — советский писатель, автор широко известного романа «Чайка». С 18 лет в результате несчастного случая был прикован к постели.

Мне иногда кажется, что я могу очень много, а я чаще всего бессильна! И это физическое бессилие раздражает, гасит порывы души, как противный осенний дождь заливают затеплившийся костер, не дает ему разгореться.

1975 год.

Февраль. Получила письмо из редакции «Молодой гвардии»¹. В письме просьба-поручение редакции написать о современном молодом человеке. И уточнение: о человеке равнодушном.

По-моему, людей равнодушных нет. Но у каждого это равнодушие проявляется по-разному. Одни равнодушны к своей персоне, другие — к общему делу, людским судьбам. Я стою горой за вторых.

...Только что закончила читать интереснейшую книгу Ф. М. Левина «Из глубин памяти» — заметки о литераторах 20—70-х годов.

Май. ...В сегодняшнем номере «Молодой гвардии» статья обо мне. Прочла и удивилась: очень уж из меня «героическая личность» получилась...

Июнь. ...Сегодня я впервые голосовала. Невольно подумалось: вот я уже и взрослая. Хорошо это или плохо? С одной стороны, радуешься — ты теперь самостоятельный человек. А с другой — жалко расставаться с этой замечательной человеческой порой. В детстве все кажется просто. Но как жестоко приходится расплачиваться за свои детские ошибки потом! В детстве кажется, что стоит стать взрослым, и все проблемы решатся сами собою. Да, детство порою наивно. Но именно в детстве и получаем мы главные жизненные уроки. Учимся добру, справедливости, человечности. Все в детстве...

...Сдала географию — «пять». Держу сейчас в руках аттестат. Бой выигран! Даже не верится, что вытянула, а ведь это правда. Нынче у меня прекрасный день. Когда знаешь, что есть у тебя друзья, готовые в самую трудную минуту прийти тебе на помощь, жизнь кажется лучше... Вероятно, так и должно быть: если хочешь жить на земле Человеком, помни, что ты не один. Рядом всегда те, без которых уже не можешь жить сам, а главное те, кому ты не о б х о д и м. У каждого из нас своя боль, но надо уметь жить так, чтоб свою боль прятать поглубже, а чужую замечать вовремя. Облегчить ее, эту боль, дружеским участием, теплым словом. Так поступали друзья по отношению ко мне.

Июль. ...Нынче ходила в Паустово, в совхоз. Говорили с комссаром отряда. Я пробуду здесь три дня, до вечера 16 июля. Очень хочу познакомиться с местной литературной группой.

...Вчера было много выступлений. Нас пригласили девушки из общежития; читали стихи, много пели. А затем я, как гость вязниковской литгруппы, в ее составе выступала со своими стихами в совхозе перед студентами.

Сентябрь. ...Да, какая это все-таки сложная штука — жизнь. Каждому, вероятно, приходилось делать «открытия». И у меня их было уже немало. Но главным открытием моей жизни должна стать книга о корчагинцах, об Островском. Кое-что уже есть. Это и стопки писем и десятки папок с документами. Это люди, с которыми я связана ниточками почты. Но все это — вступление...

...Никогда не думала, что это так трудно — писать о человеке, паучившем тебя смотреть на жизнь. Вроде бы просто: взять и рассказать все по порядку. Но в том-то и трудность, что не получается так — по пунктам, по датам. Жизнь — жизни! Ее нельзя разделить на две — до и после. До чего «до»? И «после» — после чего? Был, есть и будет в мире чело-

век — Николай Островский. Но как рассказать людям, что он для меня?

Ноябрь. Одним из главных качеств характера, ценимых мною в человеке, считаю доброту, мужество, умение сопереживать. Равно, как нет мужества без доброты, так и доброта неполноценна без сострадания. Но сострадание само по себе, без участия — лишь красивое слово, не больше... А как быть в тех случаях, когда хочешь, знаешь, как и чем помочь человеку, но не можешь сделать этого?

...Только что кончила читать книгу О. Ф. Берггольц «Дневные звезды». Да, Г л а в н у ю книгу человек пишет всю жизнь. По-моему, это не так уж важно — будет ли таковая книга написана — главное, что жизнь свою он проверял страницами Г л а в н о й книги. Для нее, в ней, ею он жил, по ее строкам равнялся. А это куда важнее, чем сама книга. И еще право на эту книгу надо заслужить жизнью, работой...

Мне восемнадцать. По Уставу могу уже вступать в партию. Но у каждого, по-моему, есть, вернее, должен быть свой устав. Устав сердца, совести. Легко быть сильным на людях, наедине со своей совестью — значительно труднее. Я хочу быть и буду коммунистом. Но есть у человека что-то такое, что знает лишь он — это рубеж, когда, вернее, после которого можно позволить себе подавать заявление в ряды партии... Я же чувствую, этот рубеж мною еще не преодолен, не взята еще главная моя высота...

1976 год.

Март. Время все быстрее ведет свой счет, дни мелькают за днями, словно одно стремительное мгновение, но порою минута может тянуться так долго, что мне начинает казаться, будто время застыло, словно свой бег, остановилось... Но время не стоит на месте, оно всегда в движении, в пути. Вот так и люди должны бы жить. Должны... Но почему так странно бывает устроен этот мир: один в деле, работе, их движение стремительно, как само наше время. И в тот же самый миг кто-то живет словно в оцепенении, он, кажется, не понимает этого и сам, а никто или не видит, или не может догадаться, что человека необходимо расшевелить. А время бежит, уходят годы. И лишь однажды, за какие-то секунды до катастрофы мы начинаем понимать что-то особой остротой всю ненужность, бесполезность своего существования... Именно существования, а не жизни... И мне страшно, что я ничего не умею, что я живу слишком «тихо» для 18-ти лет. Часто мне хочется плакать, но если вдруг слезы появляются, то это не от боли, а от ярости, бессильной злости удерживать эту боль в себе, скрывать ее...

Мне бы научиться жить так, чтобы ничего не перекладывать на плечи других, а на свои плечи брать как можно больше. Мы порою жестоки, вот только сами, к сожалению, редко замечаем это. И лишь когда вдруг чья-то жестокость коснется нас, мы начинаем задумываться...

Май. Скоро и лето, опять будет июль, опять мне будет казаться, что стоит лишь открыть дверь и можно снова увидеть глаза друга, его лицо, улыбку. Но дверь эта почему-то не открывается...

Все люди однажды становятся взрослыми, только каждый в свое время, по-своему. Мне 19 лет и, наверное, рано думать о том, что я бы сделала, если бы можно было начать жизнь снова. И все же, если бы такая возможность появилась, и бы сделала кое-что по-другому. Из детства я вывела нечто: надо быть жестоким, беспощадным, требовательным к себе, к людям же щедрой, доброй, мудрой... Надо це-

¹ Областная молодежная газета.

нить, уважать, стремиться понять буквально каждого. И важно не замыкаться в «скорлупе» своей боли, трагедии, своего счастья, а непременно надо видеть все и всех вокруг себя. Надо уметь жить болью друга и человека тебе неизвестного — уметь ставить себя на их место, жить их жизнью, в их условиях. Тогда лишь можно стать взрослым по-настоящему. Если хочешь, чтоб помогли тебе, умей в первую очередь сам оказывать бескорыстную помощь. Хочешь, чтоб в тебя верили, сам научись верить другим. Требуешь уважения, любви — уважай, любви сам в первую очередь. Хочешь, чтобы считали тебя взрослым, — будь им!

Июнь. Мне 19 лет. Горько сознавать, что, прожив, в сущности, два десятилетия, человек ничего не успел сделать для людей. Что в жизни так много бед, горя, а он бессилен всему этому противостоять. К своей боли привыкаешь, мобилизуешь свою волю, силы, чтобы выстоять, не сдаться. А как свыкнуться с горем друга, болью матери, чей сын — твой друг! — ушел из жизни, прожил чуть больше 20-ти, с тем, что люди, назвавшие тебя другом, верящие тебе и в тебя, несут все горести тебе?! С тем, что беды захлестнули их и нет сил взять свою волю в кулак, крикнуть «нет!» исковерканной молодости, неизлечимому недугу, тоске одиночества?! Как помочь, когда тебе самому так хочется порою посоветовать на то, что с годами все труднее жить, все легче становится обрести возможность стать обыкновенным человеком? А помочь надо! Когда человек очень юн, он до безумия хочет счастья: огромного, неповторимого; он ищет любви. И — как удар ножом в спину — приговор врачей: неизлечим, болезнь будет прогрессировать!.. А человек мечтает, живет и любит: назло приговору, болезни, судьбе.

Август. Все чаще мне кажется: чем старше я становлюсь, тем труднее мне жить. Во всякой борьбе должна быть мера: важно «не перегнуть палку». Такое бывает раз в жизни: налетит, скрутит, поглотит все время и все силы. И лишь нечеловеческим напряжением этих самых и без того скудных сил, нервов удается мне пока еще сдерживать в кулаке свою горькую боль. Человек не рождается мужественным, нет. В жестокой борьбе закаляется характер, вырабатывается умение честно, мужественно переживать свои поражения и без малейшего промедления вновь браться за борьбу. Пусть все повторяется тысячу раз, значит, опять ошибка, значит, где-то струсли, пусть просто не хватило энергии, умения довести дело до конца. Значит, все опять сначала!

Сердце — сложный штука; даже «зажатое в кулак», оно не хочет, не может считаться с тем, что разум не имеет чувств, что он думает, но не понимает. А вперед, кажется, нет ничего утешительного. Ну, да ладно, главное — держаться что есть сил! Надо уметь быть сильным всегда, а не только лишь в исключительных случаях...

1977 год.

Март. ...Сегодня на «Невской волне» состоялся мой поэтический радиodeбют.

Апрель. ...Итак, мне предстоит разобраться во всем происходящем, разобраться самой, без чьей бы то ни было помощи...

Июль. ...Новости! Моя многолетняя работа в жюри песенного конкурса «До-ре-ми-фа- соль» отмечена специальным значком и дипломом.

Август. Вот уже месяц почти живу в тревожном ожидании, каждое письмо воспринимаю по-особому. То, что мне так нужно сейчас, все никак не идет.

Суть моей дальнейшей жизни видна мне теперь

ясно и четко: писать! А вообще я никак не могу представить себя в роли профессионального поэта. Стихи для меня — это нечто глубоко личное, то, что всегда внутри, всегда со мной. Я бы, наверное, не выжила, если бы не писала стихов, не знала, что есть на свете такое чудо. Так же, как люди. Оттого, наверное, и пришли мне недавно в голову строки: «Мое спасение — стихи и люди, — те, к которым я спешу на помощь...» Да, спешу на помощь...

Сентябрь. Да, проблема: как все-таки попасть в Москву? А ведь плодотворная, упорная работа в фондах музея, встречи, беседы с людьми — все это решит не только судьбу книги. Нет. Эти дни решают мою судьбу, мое возвращение в строй. Ведь если книга будет написана так, что ее можно будет издать, — это же огромная победа! Пусть даже она поможет одному-двум, но это уже будут новые бойцы, возвращенные в строй мною. А они, в свою очередь, тоже ведь смогут кому-то помочь найти свою тропку, свое место.

...Ура! Я еду работать! Кончилась полоса хандры, уныния, а главное — приходит конец и всему этому страшному периоду, когда я была оторвана от людей, от мира, от живого, настоящего дела.

...Наконец-то я встретила с еще одним своим заочным другом — с Рабаданом Курбановичем Ашурбековым. Высшее счастье — быть необходимой...

Октябрь. Приехала вчера утром в Москву. Сегодня весь день работала в музее. Очень много интересных материалов по роману «Как закалялась сталь». Нашла много по Бирюкову и Васильеву, новое и по А. Баяевой. А вчера... сразу поехала к Леониду Михайловичу Жарикову. Вот где была встреча — сколько радости, дружбы!..

...Побывала вот в Москве, в музее Островского и «заболела» этим вконец. Вот бы где работать, а?! Вот уж это совсем мое — Островский, корчагинцы. Можно столько узнать...

...Да, жизнь намного сложнее и суровее, чем нам хотелось бы. И все же именно это спасает многих от глупостей. Лучше ошибиться в молодости, пока есть время проверить себя, своего друга. Потом это может быть поздно. Но это, конечно, всегда больно, очень больно... Ведь человек, умудренный годами, опытом, он закаленнее... Месяца, страдаем, бросаемся на помощь, не зная, нужна ли она тому, кого спешим спасти. Но юность хороша тем, что она дает больших, настоящих друзей; тем, что в юности у человека больше сил; тем, что в юности он учится всему и у всех. Он познает мир всегда, порою вовсе не думая об этом. Таково свойство юности. Но юность не только щедра, чиста, но и очень ранима. И еще, юность ничего не прощает. Потому что юность — это пора, когда человек обретает свое «я», а оно всегда должно быть чистым.

...Все вспоминаю те 5 дней, проведенных в музее, в Москве. Эх, если бы они всегда были такими — дни моей жизни. Любимое дело, напряженная работа. И видеть, знать, что ты сам можешь очень много сделать, дать ценный совет, помочь. Великое счастье знать, что ты нужен, что твое дело нужно людям, оно им помогает, многих возвращает к жизни, борьбе. Я часто в последнее время думаю: чем же все-таки влечет к себе образ Корчагина, почему люди тянутся к нему? И почему для одних Павка просто литературный герой, для других — добрый друг и советчик?.. А для третьих он вообще — все! Ведь это же безмерно много — быть Комиссаром миллионов жителей планеты. И для каждого своим, именно его Комиссаром!



«МОЖЕТ, ВЫ ЗНАЕТЕ, КАКОЙ ТУТ СЕКРЕТ?..»

Мы обращаемся к нашим читателям — к тем, кто работает в сфере обслуживания, и к тем, кто соприкасается с этой сферой после рабочего дня.

Публикуя письмо молодого повара Р. Кадырова, редакция не дает никакого комментария. Мы хотим, чтобы ты, наш читатель, высказал свою точку зрения на проблемы, связанные со всей сферой обслуживания и касающиеся не только системы общественного питания, но и службы быта, торговли.

Итак, ждем писем.

Дорогая редакция! Никогда не писал таких писем, но сейчас очень уж захотелось поделиться с вами тем, что волнует.

Недавно в Алма-Ате проходил V Всесоюзный конкурс молодых поваров, кондитеров и официантов, конкурс искусства кулинарии и искусства сервиса. Участвовали в нем 17 команд — от союзных республик, Москвы и Ленинграда.

Да, совсем забыл рассказать, кто я такой. Зовут меня Рустам, мне 24 года, живу в Ташкенте, по профессии — повар, работаю в ресторане «Россия».

Я был участником этого конкурса от команды Узбекистана и потом представлял нашу команду на личном первенстве. И пусть я не занял призового места, все равно мне здорово повезло, что я смог там побывать. Ведь туда приехали самые лучшие молодые специалисты страны! Вот где было видно, что моя профессия — профессия повара — дело почетное, важное, необходимое.

А в кулинарных училищах почти одни девушки. А почему? Вот в старину на Востоке готовка была мужским делом, женщины к ней не допускались. Да и как ни смотри, а мужчина все равно готовит лучше женщины, а особенно национальные блюда. Так почему же сейчас считается, что плита — это женский удел? Вот я, когда выходной или в праздник, дома сам готовлю, а вечером, если поздно с работы прихожу голодный — за день набегался, даже забываешь поесть, — возьму картошку пожарю или мясо, — и все быстрее жены получается. Не знаю, почему так, но ведь приятно чувствовать себя на кухне человеком. А на работе, знаете, во всем белом, в поварском колпаке — чувствуешь себя королем. Серьезно. Я очень люблю свою работу и горжусь ею. И хотя я учусь на третьем курсе Ташкентского института народного хозяйства, все равно знаю, что по призванию я повар. Когда еще мальчишкой совсем был, сосед мой (кстати, поваром в столовой работал) попросил на каникулах помочь ему. Потом нас на свадь-

бы приглашали. У нас, если свадьба или торжество какое, обязательно дома празднуют. И, знаете, понравилось готовить — главное, чувствуешь, что радость людям доставляешь. Так и получилось, в четырнадцать лет пошел в кулинарное училище и ничуть не жалею. Ведь это такое удовольствие — готовить, особенно наше национальное: плов, манты, шашлык! Вы читаете и думаете, наверное: любит парень поесть, толстый, небось, как казан. Во все нет, это только представление такое: повар — обязательно толстый. А я ху-у-дющий. Разве станешь тут толстым — носишься весь день по цеху, не присядешь, не передохнешь, и так всю смену. Но я не жалею, наоборот, ведь работа только тогда доставляет удовольствие, когда она в полную силу.

Главная наша забота — посетитель. Приходит к нам человек, и мы должны не просто накормить его, нет, это поддела. Мы должны сделать так, чтобы ему было приятно, чтобы блюдо было не просто вкусным, но и выглядело аппетитно, так подобрать гарнир, так выложить на тарелку, чтобы глаз радовался. И если ты хороший повар, знаешь свое дело, болеешь за него, все тебе благодарны, чувствуешь — мы всем нужны, без нас праздник — не праздник, торжество — не торжество. Да и вообще обидно, если клиент придет раз, поковыряет вилок и уйдет. Значит, ты в этом виноват: ведь в твоих силах сделать так, чтобы ему захотелось прийти еще и еще. Чтобы он сказал знакомым: «Там-то — прекрасная кухня!»

Я первый раз участвовал во Всесоюзном конкурсе и хочу сказать: это — самое настоящее повышение квалификации. Здесь (да и на любом конкурсе) многому можно научиться, свои недостатки увидеть, опыта поднабраться. Нам, конечно, нужно учиться у команд Прибалтики — у них высокая культура в сфере обслуживания. И вот я сразу заметил: большой наш просчет в работе — неподготовленность рабочего места. А когда все под рукой, и время и силы экономим.

Вообще у нас, в Узбекистане, каждый повар больше всего любит готовить национальные блюда. Да и я тоже. Вот у нас сейчас новая техника, организация неплохая, а все же старые повара, у которых и было-то — только их руки, готовили лучше, богаче нас. Почему так, до конца понять не могу. То ли делаем мы сейчас все быстрее, быстрее, то ли увлеченность, вкус к этому у них был особенный... Вот ведь читаешь, интересуешься, а все не то — как-то у них все сочнее получалось. Может, вы знаете, какой тут секрет?

Но и мы ведь не то, что к рецептам привязаны. Раз попробовал, два попробовал, на третий — получилось, чуть больше соли, чуть меньше воды, — надо чуть иметь, без него ты не повар. Уверен я, работа научить вкусно готовить нельзя. Обязательно железом будет отдавать.

Некоторые думают, поварское дело легкое. Ничего подобного. Нас училось в группе 35 человек, 30 закончили, и из них хорошо, если 10 по специальности пошли. Наша работа физически трудная. С 7 утра и до ночи — мало кто об этом знает. Сейчас многие питаются не дома, а у нас. Дома из-за стола встаешь и говоришь: «Спасибо». Так хочется, чтобы, вставая из-за нашего стола, посетитель сказал бы: «Большое спасибо!» Жаль только, что мало кто ради этого в повара идет. Может, и ошибаюсь я в чем-то, но, во всяком случае, все, что написал, — искренне.

Рустам КАДЫРОВ

г. Ташкент.

Сейчас, когда многие газеты и журналы отмечают пятидесяти-, а то и шестидесятилетие со дня рождения, альманах «Жалын», который в 1979 году будет праздновать десятилетний юбилей, можно назвать совсем молодым изданием.

Однако эти десять лет для «Жалына» — годы роста, возмужания.

Годы, когда он завоевывал признательность и любовь своих читателей.

Он открыл дорогу многим новым талантам.

«Жалын» (по-казахски — «Пламя») — альманах молодых.

В каждом номере под рубрикой «Жолашар» («В добрый путь!») помещаются произведения начинающих поэтов, прозаиков. В общей сложности в шести своих номерах («Жалын» выходит раз в два месяца) альманах знакомит

читателей примерно с сорока молодыми авторами. Редакция альманаха специально для молодых авторов проводит ежегодный конкурс на лучшее произведение. Конкурс — одно из мероприятий, которым журнал откликнулся на постановление ЦК КПСС о работе с творческой молодежью.

Многие молодые авторы, получившие некогда главные премии «Жалына»,

такие, как Тынымбай Нурмагамбетов.

Оралхан Бокеев, Мухтар Магауин,

Сейилбек Кышкашев, Куляш, Ахметова,

успели уже выпустить по 5—6 книжек.

Активно выступают на страницах альманаха молодые критики.

Особенно популярен очерк.

Предлагаемый вниманию читателей «Юности» материал Кадирбека Сегизбаева рассказывает о жизни наших современников, молодых чабанов, людей многоопытных, грамотных специалистов, которые в нелегких погодных условиях делают важное для страны дело.

Туманбай МОЛДАГАЛИЕВ
Главный редактор альманаха «Жалын»



КАДИРБЕК
СЕГИЗБАЕВ



ПОЗДНЯЯ ВЕСНА

Каждый год в это время отроги гор Сауыр-Сайхана и Зайсанская долина, тянущаяся от самого Алтая, оживают, покрываясь нежным пушком зелени. Ныче же прихода весны не ощущалось: и горы и низины будто не очнулись еще от зимней спячки, а редкие темные проплешины, где стоял снег, выглядели необычно посреди белого безмолвия.

Мы уже полчаса на самолете, а все говорят об одном — о нынешней суровой зиме...

...Мне необходимо попасть в бригаду «Алшын талды» совхоза «Айнабулак». Я слышал, что этот совхоз остался зимой отрезанным от центра. Дороги засыпало глубоким снегом, и даже грузовые машины, которые перевозили корм, и те в течение месяца не могли добраться до него. Тем не менее зимовку труженики совхоза провели хорошо. Видно, обошлись заготовленными запасами кормов. К моей досаде выяснилось, что и сейчас подъездных путей к совхозу нет. Лишь на вторые сутки мне удалось найти грузовую машину, следовавшую в «Айнабулак».

Когда мы въехали в ущелье Кишкентау, погода испортилась. Заметно набирал силу ветер. Караганник по обеим сторонам дороги раскачивался и стонал на все лады. Такой ветер называется в этих местах «бес конак». Студеный, пронизывающий до костей. Шофер, молодой парень, точно угадав мои мысли, сказал:

— Буран начинается. «Бес конак». Пять дней свирепствовать будет.

Машина подпрыгнула на ухабе, отчего шофер сбавил ход и зачем-то оглянулся назад. — Жил, говорят, некогда в былые времена один скупой бай, — про-

должал оп.— Никто не переступал его порога. И вот случилось так, что набрели на его юрту ночью пятеро запоздалых путников. Переночевать-то он путников пустил, но ведь надо было их и угостить, как положено по степному обычаю гостеприимства, хорошим бешбармаком и чаем. А этого баю не хотелось, поскольку он был скупой. Все в степи знали, а поздние гости не знали. Вот и начал бай придумывать, как бы ему избежать непредвиденных расходов. Говорит путникам: «Ну, гости мои, можно было бы, конечно, в вашу честь и бараньей головой пожертвовать, но, сами понимаете, такая сейчас пора — скот отощал за зиму. Навара от такого мяса не будет. Я уж лучше вас ячменной похлебкой поточую. Кисленькая, куртом заправленная». Гости, разумеется, обиделись, не бывало в степи такого, чтобы путнику отказывали в приличном угощении, поднялись молча с места, сели на коней и усаkali восвою. В ту ночь, говорят, задул буран. Пять дней подряд сотрясал он юрту скупого бая, а сам бай пропал где-то в степи во время понсков разбежавшихся овец. Так был наказан бай за жадность. А буран, который задувает в начале весны, люди стали называть с тех пор «бес конак» — «пятеро гостей».

Ночь застала нас в дороге. Вскоре в свете фар ясно обозначились на ветровом стекле тысячи мелких брызг. Приглядевшись, можно было разглядеть струи дождя, протянувшиеся до земли от самого неба, все равно что огромная тетрадь в косую линейку развернулась перед вами.

— Видите,— произнес шофер.— Сначала дождь, а потом настоящая снежная буря разыграется.

Не успел он сказать это, как на ветровом стекле вперемешку с дождевыми брызгами стали появляться снежинки.

Машина спустилась в овраг Раушан. Сейчас он затянут льдом, поверх которого тяжело мерцала вода. То ли дневная талая вода, то ли недавний дождь.

Колеса почти полностью погрузились в воду, будто не на машине мы идем, а плывем на лодке. Груз на машине большой — четыре тонны! — можно и провалиться.

— Как бы не треснул лед,— заметил я осторожно. Шофер рассмеялся:

— Знаете, какая толщина здесь — полтора, а то и два метра будет. Зимний лед, надежный...

По ту сторону оврага Раушан показалось наслоение камней. Пещера. Камни с красными прожилками. Зловещий вид у пещеры, мрачный.

— Говорят, во времена коллективизации здесь укрывались бандиты. Правда это? — спросил я шофера.

Он пожал плечами, дескать, кто знает... А спросил я его об этом не случайно. Отец мой, когда я был еще маленьким, имел обыкновение читать коран на одной могиле. И всегда при этом объяснял мне: «Здесь, сынок, покоятся люди, погибшие от рук бандитов. Время тяжелое было — белые драпали за границу, а красные преследовали их...» А еще я вспомнил рассказ аксакала Бегимкана Солтабаева, который слышал совсем недавно. Вот что рассказал аксакал:

«Тридцатые годы... Народ только-только привыкал к новой жизни, создавались колхозы. Решили и мы обосноваться на новом месте, завести хозяйство. Рабочая сила — мы, мальчишки, да старики, которые больше управляли нами, ижежали сами работали.

Старые!.. Единственная соха на всю братию — сю и пахали.

Однажды ночью нас разбудил винтовочный выстрел, мы повыскакивали на улицу. Что с нас возьмешь? Мальцы. Трясемся со страху, не смеем взглянуть на пришельцев. А один из них орет уже: «Эй, голодранцы, есть среди вас комсомольцы?»

Мы — ни слова. И тогда толстый черный, что стоял с краю, вдруг подскочил ко мне и волоком вытащил на середину.

— Говори, пока цел! — рявкнул он.

Один из стариков заступился:

— Свет мой, не стыдно ли мальчонку обижать? Коль уж герой такой, напал бы на аул, где мужичины...

— О, трясушка старая! — возмутился черный. — Это ты, что ли, тут новую власть поднимаешь? — и ударил его наотмашь по лицу. Старик упал, тот уже винтовку на него навел. Может, и пристрелил бы, да второй его остановил: «Зачем пулю понапрасну транжирить?»

Оставили они нас в покое, да зато трех наших коз через седла перекинули и лошадей увели.

Назавтра объявились наши джигиты. Настигли они бандитов, да только многие полегли в бою. Вот в этом овраге Раушан и похоронили их...»

«Бес конак» разбушевался не на шутку. Караганник застонал еще громче. Ветер точно испытывал наше терпение. Тем не менее мы продвигались вперед. Неожиданно машина, свернув с дороги, накренилась и начала сползать под уклон. Я закрыл глаза. Что еще я мог? Открыть дверцу кабины и выпрыгнуть? Но уклон с моей стороны... И вдруг — резкий толчок. Заднее колесо, оказывается, наткнулось на большой валун. Приподнявшись примерно на полметра, колесо завертелось в воздухе, но потом снова опустилось на грунт. Опасность вроде миновала. Я взглянул на шофера. Тот продолжал сидеть, мертво прикипев к рулю и пристально вглядываясь в дорогу.

— Останови машину! — закричал я.

— Нельзя. Дашь тормоз — снова поползем вбок.

Не знаю, как мы выбрались из этого довольно-таки щекотливого положения, но открыл я глаза лишь тогда, когда почувствовал привычный ход грузовика. Еще через какое-то время шофер остановился и, выпрыгнув из кабины, обошел вокруг машины.

— Ну, пронесло! — воскликнул он. — Корма не просыпались!

Я рассмеялся: «Сами чуть не опрокинулись...»

Когда впереди показался совхоз, я заинтересовался у шофера, как его зовут. Теперь рассмеялся он.

— Видать, и познакомиться не успели мы с гали, да? Зовут меня Жумахан, а фамилия Арыкбаев.

Машина поднялась на небольшой перевал. Внизу, в горном ущелье, засиял огнями аул. Это и была четвертая бригада совхоза «Айнабулак», известная под названием «Алшын талды». Один из знаменитых электрофицированных чабанских городков, о которых в последнее время так много пишут.

«Бес конак» не унимался. Он всю дорогу сопровождал нас. Ну что ж, мы въехали с ним в аул в качестве «шестого» и «седьмого» гостей.

...Я беседую с бригадиром Аканом Мырамытовым, передовым чабаном Ахатбеком Сагаевым и еще с несколькими молодыми животноводами. Лица у всех загорелые, обветренные — мои собеседники ка-



Картинная галерея
«Жалына».
В. Антощенко-Оленев
«Народный мастер».

жуются похожими друг на друга. Будто братья. «Не одной матери, так одной степи дети», — подумал я.

За чаем поговорили немного об аульных и столличных новостях. Затем я мало-помалу перешел к главному — каково положение дел в бригаде, как прошла злополучная зимовка. Выяснилось, что, оказывается, нет ни одного чабана, у которого не было бы потерь. В самых благополучных отарах чабапы недоисчитались двух-трех овец.

Герой очерка, казалось, не вырисовывался. В разговоре я осторожно намекнул, что спешу, что мне надо и в другие совхозы, но бригадир Акан обиделся.

— Не по душе бригада, а? Не те ребята... Что ж... Бывает... А кто из них хоть один свободный день имел в зиму? Кто? Эг-е-е, то-то, что никто. Жаль, не писатель я, а то про каждого из них книжку написал бы, ей-богу! А ты спешить куда-то... Некогда тебе...

— Да что вы, ака, я слушаю вас. Ведь не зря же сюда приехал.

— Нынче только, думаешь, зима такая? Нет... Последние четыре года засуха жарит, а зимой — бураны. Каждый год дождливого лета ждем и мягкой зимы. Но природа, видать, испытывает нас. Местность, сам видишь, гористая, оттого и пастбища не ахти какие. Караганник кругом, а он для нас — сущая беда. Общипывает наших тонкорунных овечек. Половину своей шерсти животные на колючках оставляют. А это уже вред плану не только по заготовке шерсти — овцы, потеряв шерсть на брюхе, простужаются, болеют...

А еще кругом ковыль, серебристый, белый ковыль. Он тоже не радость для чабанов. Облепляет он

шерсть, не оторвешь никак, и оттого шерсть ценность свою теряет, какая бы овца здоровая ни была.

И третье — оцам трудно добывать себе корм из-под глубокого снега...

С биографией Акана Мырамытова я был отчасти знаком. В молодости он долгое время работал чабаном, а в последующие двадцать лет возглавлял ферму, чабанскую бригаду в совхозе.

— Если откровенно, — говорил бригадир, — тонкорунная порода — она и есть тонкорунная. То есть она особенных природных условий требует. А у нас? Летом жара, зима лютует, земля ковыльная, в караганнике... С тонкорунной породой, знаете, трудно нам... То ли дело казахская порода или эдильбаевская! А ведь когда-то в наших краях только их и разводили. Вот уж кто за себя постоять может! Им и снег ни почем, было бы только чем под ним поживиться. Бьют себе копытцами — добывают корм. И караганник им не беда и ковыль. Я понимаю, го-сударству тонкое руно необходимо, но овец этой породы все же лучше в других условиях содержать, не в таких, как у нас. Их на пастбище не погоняешь. Да еще вот в такую зиму, какаю была. Им бы где снега поменьше, да чтобы местность была равнинная. Эх-хе, как ни досадно, а не подходит им наша земляца, не подходит...

— В некоторых областях, — продолжал Акан, — чабаны от сотни овцематок по 140—150 ягнят получают. Поверите, сердце болит... Хуже других мы, что ли? А что у нас? Самый высокий показатель нашего лучшего чабана Какена Киярстанова — 118 ягнят! А ведь он передовик, никто не перекрывал еще эту цифру. А взять Зигалиева Капсадыка, Акпалова Казыбека, Донгелбаева Келгенбая, Кайсанова Кису, Шынтемирова Сыдыка! Семь потов проливают они в сезон окота и стрижки, себя не жалеют. А все равно в сравнении с другими областями показатели у нас ниже. Да... Тяжелая нынче зима была, но все равно мы на нашего Капсадыка падемся. У него 694 овцематки. Для эксперимента он органи-

Жалын

зовал окот от половины отары еще зимой. Пока среди зимнего молодняка нет потерь...

— Думаем, что в последующие годы мы распространим это начинание в отарах,— вступил в разговор чабан Ахатбек Сагаев.— Что главное для рано народившегося приплода? Теплый хлев, запас кормов. А это мы в состоянии предусмотреть. И потом: зимний приплод более стоек к холодам и менее подвержен болезням. К маю или июню мы имеем возможность отделить молодяк от маток, и последние хорошо прибавляют в весе за лето, да и сами ягнята подходят к зиме вполне окрепнувшие.

— Ахатбек, ты бы лучше рассказал, как с волком сражался,— вступил в разговор молчавший до этого Закош Касымжанов.

— Нашел про что вспоминать! — отмахнулся Ахатбек.— Волк — это волк, а вот что жена твоя не по времени рожать вздумала — это действительно была история. Два дня, понимаешь, буря шумит, овец из хлева нельзя выгнать, все нервничают, а его жена возьми да и начини рожать! Вы и представить себе не можете, как наш Закош огорчился. Вот незадача, говорит, и дня-то подходящего выбрать не можешь... А волк... С волком получилось так... Овцы, помню, вернулись с пастбища. Загоняю их в хлев по одной, пересчитываю, как положено. Вдруг замечаю, овцы мои заметались и в разные стороны — шарах! А серый громадный волчище как ни в чем не бывало проскальзывает прямо перед моим носом в хлев. От неожиданности я остолебенел. Но мешкать нельзя. Плеть у меня крученая, тяжелая. Размахнулся я ею и огрел зверя по спине. Тот, значит, на меня. Прямо в лицо кинулся. Я успел ухватить его за горло, так вместе и повалились на землю. Все лицо у меня в крови. Не предполагал я в звере такой силы, сам барахтается и меня таскает. На помощь звать некого. Растерялся я, что ли, ослабил на миг пальцы, так он тут же опрокинул меня и — бежать! Надо же, ружьишки несчастного, и того не оказалось под рукой. Ну, тем временем волк ушел, а мне пришлось обратиться к доктору. Месяц потом провалялся в больнице...

Долго еще чабаны обменивались впечатлениями по поводу этой шумевшей, видно, истории, пока кто-то из них не сказал:

— Кончайте, братцы, иначе мы прозеваем шильдехану¹ у нашего соседа Какена. Надо бы успеть, а то, чего доброго, заляжет дед в постель.

Все дружно поднялись с мест. Я, разумеется, понял их предложение буквально и даже понтересовался:

— Почему «дед», если у него шильдехана?

Чабаны переглянулись, заулыбались.

— У нашего Какена сегодня две овцы окотились,— объяснил мне Акан.— А у нас традиция — поздравлять коллегу с началом окота.

У меня мелькнула было мысль поддержать эту традицию — пойти и поприветствовать старого чабана, но потом я раздумал — посторонний человек есть посторонний. Пусть уж повеселятся люди так, как им того хочется. Сколько бессонных ночей еще предстоит им! Не до шильдеханы будет...

Командировка закончилась. Я воображал себе встречу с редактором и его вопрос: «Что же ты привез?» А задание было таково — привезти очерк о современнике. Встречи со знаменитым животноводом у меня не произошло. Но... Я поговорил с людьми, которые вносят свою долю труда в общее дело процветания нашего государства, для которых это общее давно стало частным, личным. Взять хотя бы водителя грузовой машины Жумахана Арыкбаева, который после того, как едва не опрокинулся грузовик, поинтересовался в первую очередь кормами в кузове — ведь это был важный груз для далекой чабанской бригады. Или Ахатбека Сагаева, который, рискуя жизнью, бросился в схватку с волком, защищая народное достояние — вверенную ему отару. А Закош Касымжанов? Ему недосуг было и рождению сына порадоваться — целых двое суток из-за непогоды он вынужден был держать отару в загоне, овцы не могли выйти на пастбище, а как же животным без корма?

Достоевский в «Дневнике писателя» отмечал, что есть две формы героизма — героизм мгновенный и героизм трудовой, будничной... Думаю, что я встретился с людьми, вся жизнь которых — каждодневный подвиг. И источник этого подвига не в мгновенном душевном порыве, не во всплеске энтузиазма, а в повседневном упорстве, настойчивости, осознании важности своего труда... Каждый из этих героев — словно определенный музыкальный инструмент в большом оркестре, воссоздающем героическую мелодию труда.

Перевела с казахского
Л. КОСМУХАМЕДОВА

¹ Пиршество по случаю рождения младенца.





ГАРРИ КАСПАРОВ РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ОН ИГРАЕТ В ШАХМАТЫ

В 13 лет Гарри Каспаров уже был двукратным чемпионом страны среди юношей, в 14 — выполнил норму мастера спорта, в 15 — добился права участвовать в высшей лиге чемпионата СССР. Подобных успехов в столь раннем возрасте история советских шахмат не знает. Чемпионат страны завершился под Новый год, и, когда выйдет этот номер «Юности», мы уже будем знать, как был принят бакинский девятиклассник в высшем шахматном обществе... Рассказ Гарри Каспарова сложился из ответов на вопросы, с которыми к нему обратился корреспондент «Юности».

Я в третьем классе учился, когда начал играть в турнирах. Жизнь разделилась сразу на будни и праздники. Праздниками стали турниры, а будни — это все остальное. Теперь же я испытываю удовольствие и от каждодневных занятий шахматами. Только удовольствие. Сейчас, например, анализирую одну довольно старую дебютную схему, из которой вроде бы еще можно выжать ряд интересных моментов — получить, быть может, не перевес, но именно ту позицию, которая мне по духу. Теперь нет будней.

Лишиться шахмат? То есть как лишиться? Если бы и оказался вдруг на необитаемом острове? Ну и что! Я бы начал с того, что сделал себе шахматы. Партнеров бы не было? Какое-то время можно обходиться и без партнеров. Думаю, что несколько лет продержался бы без партнеров. Если бы не было из чего сделать шахматы? Тогда вообще нечего делать на этом острове. Шахматы — это минимум. Вы говорите: я бы делал шахматы, а злая сила уничтожала их? Тогда нам пришлось бы выяснять отношения...

А уж если не шахматами, то занялся бы математикой. Только два варианта. Третьего не могу предложить.

Я еще был совсем маленьким, когда стал смотреть, как мои родители играют в шахматы. С год смотрел, постепенно доску запомнил, стал домашних обыгрывать... Нет, когда пошел в первый класс, еще не обыгрывал. В первом классе всех детей куда-нибудь отдают. Как я потом узнал, меня хотели было отдать на музыку. В папиной семье все музыканты, но папа почувствовал, что я равнодушен к музыке, что мне нравятся шахматы. И меня отвели во Дворец пионеров. В детстве у меня была даже любимая фигура — слон. Слон мне нравился своей дальностью, не знаю уж чем, но вот — нравился. У меня был матч с моим соседом Ростиком Корсунским. Принципиальный матч — я слонами играл, а он конями. Я выиграл этот матч.

Корсунский — он сейчас тоже мастер — старше меня на семь лет, но мы начинали вместе во Дворце

ниперов. Я сразу попал там в среду, где все были старше меня: минимум на три года. Но за шахматной доской мы уравнивались, причем многих я даже побивал. И сегодня мой круг — это не сверстники, а ребята более старшие.

Мой кумир? В 1969 году, когда я начал играть в шахматы, Спасский как раз стал чемпионом мира. Книга о матче Спасского с Петросином — моя первая шахматная книга. И папа болел за Спасского. Но Спасский был моим кумиром недолго. После семьдесят второго года — после матча Спасского с Фишером — я охладел к нему. В ту пору я уже изучал партии великих шахматистов и сразу выделил Алехина. Сразу почувствовал, что он мне особенно близок. Сейчас, когда мой стиль игры уже начинается складываться, я все больше подпадаю под влияние Алехина. Книга, в которой помещены его триста партий, — моя настольная книга.

Чем мне близок Алехин? Своей неясной, пожалуй, интуитивной игрой. Основой его игры была комбинация. На первый взгляд внезапная, на ровном месте, но на самом деле — всегда назревшая в позиции. Но, чтобы стать тем универсальным мастером, каким он стал, Алехин должен был научиться не уступать Капабланке и Ласкеру и в простых позициях, блестяще обороняться, играть эндшпиль... Однако приобретая все эти качества, он не жертвовал своим изначальным «я» — сохранил верность своей манере игры, свою нешаблонность. Алехин — мой шахматный идеал. Из современных шахматистов наиболее универсален, пожалуй, Спасский. Но Алехин, как мне представляется, был масштабнее и значил больше, чем Спасский в пору его расцвета. Я вдруг подумал сейчас, что не совсем случайно, пожалуй, еще не зная Алехина, тянулся именно к Спасскому.

Мне еще многому надо учиться в шахматах, но я постараюсь, следуя примеру Алехина, сохранить непременно свое «я». И пока стремлюсь играть в те шахматы, где интуиция и счетные способности могут решить дело. Чему первым делом и бы хотел научиться? Ставить фигуры по-карповски, например. Чемпион мира блестяще играет фигурами. У него каждая фигура знает свое место и как бы сама занимает быстро нужную позицию. А небольшого позиционного перевеса Карпову зачастую уже достаточно, чтобы добиться перевеса решающего...

Личное общение с выдающимся шахматистом — вот что дает больше всего. Мне повезло — в 1973 году, когда я был еще просто мальчишкой, который очень любил играть в шахматы, Михаил Моисеевич Ботвинник пригласил меня в свою школу. Тому, что я приобрел за эти пять лет у Ботвинника, нет цены! Он не давит ученика своим авторитетом, своими представлениями о шахматах. Это он утвердил меня в мысли, что шахматы Алехина — мои шахматы. На каждом этапе он мне подсказывает направление. В начале семьдесят седьмого года я стал двукратным чемпионом страны среди юношей. Я набрал восемь с половиной из девяти и уже за тур до конца был чемпионом. Думая, что теперь у меня все получится, я приехал в Москву на сессию шахматной школы Ботвинника. Поздравив меня с победой, Михаил Моисеевич предложил тут же, на сессии, проанализировать мои победные партии и несколько партий жестоко раскритиковал.

В прошедшем январе я впервые играл во взрослом турнире — это был мемориал Сокольского в Минске. Я ехал в Минск, чтобы стать мастером.

Было подготовлен дебютно, причем не просто подготовлен, а так, как надо. На турнире я добивался позиций, известных в теории и оцениваемых как

равные. Но это были те острые, нестандартные позиции, которые мне нравятся. И с этих позиций я начинал настоящую игру. После двух туров у меня было два очка. В третьем туре я играл с мастером Шерешевским. По дебюту возникла разная позиция. Но он очень хотел у меня выиграть — в начале турнира все хотел у меня выиграть — и жертвовал пешку. Не очень корректная жертва, но какую-то игру получил. Потом пожертвовал вторую пешку. Даже на глаз было видно, что это очень опасная жертва. Я думал пятьдесят шесть минут. Это редкий случай в моей практике. Чувствовал, что в этой позиции что-то есть, и взял пешку. В этот момент все уже похоронили меня. Я предложил жертву ферзя, но он не взял, а отыграл одну пешку. Я видел, что у Шерешевского есть очень выгодная на первый взгляд комбинация, но на эту комбинацию я заготовил опровержение. И, когда он пошел на эту комбинацию, я поймал его на тактический удар. Все мои фигуры немедленно вошли в игру. Мало того, я остался с пешкой. Быстро сделал восемь последних ходов и в завершение провел еще два тактических удара. И он «развалился».

В четвертом туре, правда, я проиграл, но выиграл три следующих партии и подумал, что теперь уж мастером стану. Я мог стать мастером еще в семьдесят седьмом, когда играл в Ленинграде отборочный турнир к юношескому первенству мира. За два тура до конца я лидировал, но перед последним туром меня догнал Юсупов. Ему предстояло играть черными с сильным мастером Харятоновым, а мне белыми — с Ермолинским, который замыкал турнир. Дележ первого места ко всему прочему давал мне звание мастера, но я считал себя обязанным выиграть эту партию, стремясь занять чистое первое место. Мой партнер играл вдохновенно, а я переоценил свои силы — я, видимо, еще не был подготовлен к такой жесткой турнирной борьбе. В конце партии я грубо ошибся и проиграл...

А в Минске я не мог простить себе одну вничью. Я полностью переиграл Смирнова — мог выиграть, как угодно. И в это время вспомнил, что в гостинице меня ждет «Граф Монте-Кристо»... Тут же зевнул. Мало того, я грубо зевнул и второй раз... К последнему туру я уже перевыполнил норму мастера, но чтобы наверняка занять первое место — меня преследовал международный мастер Купрейчик, — надо было выиграть у гроссмейстера Лутикова. Меня не смущало, что впервые играю с гроссмейстером. Мне нужно было это очко. И я выиграл.

Из Минска я сразу поехал на сессию школы Ботвинника, и опять, конечно, мне пришлось выслушать не только поздравления. На этой сессии Михаил Моисеевич предложил мне быть его ассистентом. Я был горд — значит, и уже в состоянии оказать какую-то помощь самому Ботвиннику!

А по окончании сессии Ботвинник спросил: надеюсь ли я быть среди первых на Всесоюзном отборочном турнире в Даугавпилсе, где 64 шахматиста должны были оспаривать одну путевку в высшую лигу чемпионата СССР и шесть — в первую? Я ответил как-то неопределенно. Ботвинник сказал, что при таком настроении незачем ехать на турнир, который проводится по швейцарской системе и как тренировочный неэффективен. Убеждать меня было не надо. Шахматы — это борьба. Если не ты, то кто-то другой будет первым. А это весьма неприятно.

В Даугавпилсе и в первом же туре разгромил международного мастера Панченко. И у меня пошла игра. Было несколько туров, когда мне удавалось все: я выиграл важную теоретическую дуэль у гроссмейстера Альбурта, прямой атакой с жертвой

двух фигур победил международного мастера Палатника... И мне досталось то первое место, за которое боролись семь гроссмейстеров и девять международных мастеров. А услышать от Ботвинника, что качество моей игры в Даугавпилсе его также обнадеживает, было верхом блаженства.

Кто помог мне готовиться к высшей лиге? Бакнянский тренер Александр Иванович Шакаров. Уже не первый год постоянно меня консультирует и известный московский тренер Александр Сергеевич Никитин. О том, что дают мне советы Ботвинника, я уже говорил. Вот сейчас думаю: смогу ли с первой попытки сориентироваться, как следует играть с Петросяном или Талем? Во взрослом шахматном мире тщательно изучают партии, характер, привычки соперника... Перед турниром в Минске я уже прикидывал, как буду играть с некоторыми соперниками. Теперь я учусь заниматься этим всерьез.

Я помню партии, которые играл в турнирах, но рассказать, как выглядели иные мои соперники, пожалуй бы, не смог: я не привык во время игры всматриваться в лицо соперника. У меня белые, у него черные. Вот и все. Я смотрю только на фигуры. Да, так было всегда. И даже в Минске, когда я играл с Лутиковым. В этой партии против меня были только черные фигуры. Так было и в ноябре семьдесят пятого года, когда в турнире Дворцов пионеров я играл с Карповым. До начала партии я сознавал, что предстоит играть с чемпионом мира, но партия началась, я против меня были только белые фигуры. На Карпова я не смотрел. Я смотрел на доску. Я получил большое преимущество, но выиграть не смог. Партия была отложена на присуждение, но у меня уже был проигрыш... Лишь откладывая партию, я впервые оторвался от доски — поднял голову. Зрителей было вокруг!..

Мои любимые книги? Помню, как папа прочитал мне «Подвиг Магеллана» Стефана Цвейга. Потом, едва научившись читать, я сам взялся за эту книгу. И однажды — это было тринадцатого апреля, в тот день мне исполнилось шесть лет — я проснулся и обнаружил около себя огромный глобус. Я закрыл глаза, снова открыл — глобус не исчез. И я тут же начал его изучать. А потом у нас дома появилась большая карта мира. Я запомнил все столицы, все большие города. Голова еще была не очень загружена шахматами... Долго находился под впечатлением «Наполеона» Тарле. Мне нравятся книги, герои которых — сильные личности. Если говорить о школьной программе, то любимый герой — лермонтовский Демон. Я писал о нем сочинение. Люблю читать Джека Лондона. А «Старик и море» Хемингуэя — это же борьба человека не только с океаном, так ведь? Вскоре, быть может, другие книги станут моими любимыми — так много книг еще не прочитано...

Не жалко ли мне побежденного? В семьдесят седьмом году в предпоследнем туре юношеского первенства страны я играл с Юсуповым. Артур старше меня на три года. Я шел первым, опережая Артура — да, он станет чемпионом мира как раз в тот год — на полтора очка. Эта партия складывалась для меня поначалу не очень удачно.

Артур захватил инициативу — давил. И вдруг он ошибся. Я перехватил инициативу. Ничья уже давала мне звание чемпиона. Но, предложив я ничью Юсупову, я поступил бы нечестно по отношению к тем, кто боролся с ним за второе место. И я выиграл эту партию. Что значит — жалко побежденного? Я же тоже проигрываю...

Да, с Майей Чибурдадзе я знаком. В январе семьдесят шестого года в Тбилиси и я и она впервые стали чемпионами страны среди школьников.

Нас вместе повезли на телевидение... Нашлись ли общие интересы? Да, мы говорили о шахматах. Она старше меня на два года. Тогда, в Тбилиси, я не чувствовал разницы в возрасте — с шахматной точки зрения она ничто из себя фактически не представляла. Но сейчас она сразу стала намного старше меня. Семнадцатилетняя девушка? Нет, уже чемпионка мира. Это уже другая категория. Я не хотел бы сравнивать мужские и женские шахматы — это разные шахматы. Но в данном случае дело не в этом. У Чибурдадзе такая же целеустремленность, направленность страшная, что и у Карпова. Сколько она сделала меньше чем за три года!.. Надо отдать должное ее тренерам — в первую очередь гроссмейстеру Гуфельду. Но ее характер! При своем комбинационном таланте она обладает такими спортивными качествами, что в этом смысле из взрослых шахматисток ей не уступает только Гаприндашвили. Характер и здоровье! Для нее слоено не существует перегрузок — весь последний год она почти целиком играла в шахматы!

В семьдесят седьмом году я участвовал во Франции в так называемом кадетском первенстве мира (е нем участвовали шахматисты младше 17 лет). Регламент был очень жесткий. Я надеялся победить, но не выдержал чисто физически. В последних турах уже не мог конкурировать с более старшими и физически более крепкими ребятами и занял только третье место. А первым был исландец Арнассон, у которого я выиграл. Возвратившись домой, всерьез занялся физической подготовкой. С тех пор постоянно держу себя в порядке — бегаю, играю в футбол, увлекся плаванием. Впервые играя в высшей лиге чемпионата страны, я не ставлю перед собой никаких конкретных целей. Ни с кем из гроссмейстеров, играющих в высшей лиге, я еще никогда один на один за доской не встречался. Посмотрим, на что я уже способен в такой компании. Умение Чибурдадзе переносить перегрузки, как и ее невероятная целеустремленность, — в данный момент для меня пример.

Да, не представляю уже, как проживу хотя бы день без шахмат. Не возникает ли ощущение однообразия? Нет, никогда. Мне нравится сам процесс жизни. Встаешь утром. Свежесть. Ты полон сил. Впереди еще целый день. За день можно узать так много всего интересного, так много всего сделать. А если день ясный, солнечный, то тогда совсем хорошо. У нас в Баку таких дней много. А жил бы в Ленинграде, быть может, радовался бы дню пасмурному, дождливому...

Школа? Пока без особых трудов вытягиваю на пятёрки. Когда возвращаюсь с турниров, приходится догонять. Тут уж мне помогает мама — она хорошо разбирается и в литературе и в математике. Разве что хвня ей не дается... В шахматах? Она всегда оценит мою позицию... по моему лицу.

Стремлюсь ли я быстрее повзрослеть? Раньше — да, когда мне девять-десять было. А сейчас не хочу. Могу ли представить себя в пятьдесят лет? Нет. И даже не хочу представлять. Сейчас так светло, а там... уже «доигрывание» будет. Я себя чувствую наиболее свободно среди ребят-шахматистов до двадцати лет. А с более взрослыми шахматистами встречаюсь пока лишь за доской. Наблюдаю со стороны околосахматный мир... Зачем все эти страсти? Я и ты за доской. Только за доской мы и должны выяснять отношения. Я бы хотел иметь со всеми дружеские или просто хорошие отношения, а враждовать — лишь сегодня с черным, а завтра — с белым королем.

КРИТИКА



ВЛАДИМИР
ЛЕСОВОЙ

НА ЛИНИИ ОГНЯ



Мы работали в одном и том же райкоме комсомола, правда, с интервалом в тридцать лет (почти целая эпоха!). В жизни нам ни разу не пришлось свидеться, но я всегда чувствовал рядом с собой его незримое присутствие.

Липовая Долина... Жизнь райцентра, расположившегося вдали от больших дорог и городов, среди свекловичных плантаций, протекает, как и вчера, тихо и спокойно. Впереди показалась длинная, как сельская песня, улица с поочередно выстроившимися на ней учреждениями: двухэтажным кирпичным зданием райкома с фикусами в окнах, райисполкомом со скребком для обуви у входа. Дальше — сквер, посаженный еще на первых довоенных комсомольских субботниках. Как велики стали деревья!

Ищу глазами маленькую покосившуюся хату на выгоне под соломенной крышей. Мало кто знает в Липовой Долине, что в тридцатые годы в ней размещался райком комсомола, а его первым секретарем работал этот юноша, поэт...

Как умел он зажечь молодежь интересным делом, страстным словом позвать за собой в бой против старого мира, не боясь кулацких выстрелов в спину. То была настоящая романтика борьбы. И соломеннокрышная Липовая Долина была на линии огня. Вот, может быть, по этому самому затравившему по обочинам большаку, хоженному мной да перехоженному, по этой стылой жиже глубокой военной осенью вел его босиком на расстрел. Вели мнимо воспетых еще в юности пшеничных полей у дороги, обрызнутых утренней росой, мимо Хорол-речки.

Ой, раскинулось широко
Поле из края в край...

Эти строки были опубликованы сорок лет назад на страницах республиканской газеты «Комсомолец Украины» (теперь «Молодь України»). Их автор — Фе-

дор Швиндин. Комсомольский работник. Поэт. Коммунист.

Осталось так мало биографических сведений о нем. Но остались стихи. Да еще смелые, бьющие в цель строки в районной газете, с которой он начинал свой путь в литературу.

Листая пожелтевшие, хрупкие, как осенний лист, газетные странички «Колгоспной правды» тех далеких лет. Федор Швиндин писал много и самозабвенно. На злобу дня. Читая публицистические строки Швиндина, трудно остаться равнодушным. Они волнуют и сегодня.

Но главное — в моих руках маленький сборник стихов Федора Швиндина, озаглавленный «Грозова юність». Вышел он в свет уже после войны, в 1957 году в издательстве ЦК ЛКСМ Украины «Молодь». А в 1961 году автор поэтического сборника вместе с другими молодыми писателями-воинами, погибшими в бою, — Пилипом Рудем, Петром Артеменко, Леонидом Левицким, Миколой Шутем, Владимиром Булаенко был посмертно принят в члены Союза писателей Украины. В Киеве, в Доме украинских литераторов на мраморной доске их имена.

Книга Швиндина, с ответами пожариц на обложке, еще в год издания стала библиографической редкостью. Составитель сборника — Валентин Речмедин, писатель, друг поэта, его однокашник по «Комсомольцу України». А эпиграфом к книге послужили стихи самого же Федора Швиндина. Они оказались пророческими. И звучат сегодня как клятва:

«Як гряне бій і прогрімать
гармати,
На лінію вогню з братами я
піду.

На снимке — Федор Швиндин.

Не відступлю, Вітчизно, моя мати,
Лишь смертю скошений,
можливо упаду...

Специально привел эти строки на языке оригинала. Думаю, что русскому читателю они будут понятны без перевода. Стихи были написаны в 1939 году — за два года до начала Великой Отечественной войны...

Федор Гаврилович Швиндин родился 2 марта 1913 года в небольшом крымском городке Джанкое в семье дворника и прачки. С раннего детства познал он нелегкую жизнь. С пяти лет ходил Федя подпаском у местных богачей. С утра до позднего вечера — босиком, по репьям да по колкой стерне. А там и отдыхать некогда, известно, коротки летние ночи: заря с зарей целуется. Однажды не выдержал паренек и уснул в лопухах на сырой земле. А проснулся — ногой ступить не может. Так на всю жизнь и остался калекой.

Сразу после революции старый Гаврило Швиндин, так и не найдя обещанной переселенцам земли в благословенной Таврии, засобирался в родные места на Сумщину. Слышал, что в его Андреевке землю начинают нарезать беднякам. Как порешил, так и сделал: торбу за спину, детей на руки и — в дорогу. Но не суждено было ему увидеть родные поля и перелески. Не доехал отец Федора до родного порога: умер от нужды и забот на полпути к дому, возле станции Ромодан. Вместо отца привезли в Андреевку закостеленный труп. Позже поэт напишет: «В цветах отцовская могила... и крест трухлявый в бурьяне».

Вот здесь, в Андреевке — небольшом селе, что в Ромненском уезде, в котором когда-то находился проездом Тарас Шевченко, и прошли детские годы будущего поэта. Трудно было жить без отца, но Советская власть помогала, чем могла. Успешно закончил Федор местную восьмилетку, и его оставили учительствовать в родной школе. В 15 лет Федя возглавил комсомольскую ячейку села. Тогда в Андреевке коммунистов не было и основную работу по борьбе с кулачеством, борьбу за создание колхозов вели комсомольцы, возглавляемые Федором Швиндиным. Их было 23. Вместе с комсоргом. Это была надежда и опора новой власти. Ее завтрашний день.

В трудностях и нехватках той поры рождалась новая жизнь. И комсомольцы были средь ее запевал. Работали жарко. До белых заплат из соли на выгоревших сатиновых косоворотках. Днем косили первые колхозные хлеба, вязала отяжелевший колос в тугие снопы, а ночью при свете луны скривдовали. В соседнем селе Княмычка кулаки сожгли весь колхозный хлеб, жестоко расправились с комсомольцем Рогиз... Швиндин решил, чтобы на каждом участке работы были свои люди — комсомольцы. О том, как были «расставлены» на ответственные посты ребята из Андреевской комячейки, рассказал на страницах ромненской газеты «За більшовицький колгосп» селькор Ф. Швиндин.

В это же время он начинает писать стихи, высмеивая в них тех, кто цеплялся за старое. Начал издавать рукописный журнал. А потом молодого селькора направляют на учебу в Харьковское газетное училище имени Николая Островского.

По окончании учебы Швиндин работает ответственным секретарем газеты «За заможних колгоспників», которая издавалась тогда политотделом Андреевской МТС. А через некоторое время переезжает в Липовую Долину на работу в районную газету «Колгоспна правда». С 19 января 1936 года он уже заместитель редактора райгазеты и редактор комсо-

мольской странички «Більшовицька зміна» — своеобразной газеты в газете. Становится членом партии.

Швиндин пишет пьесу, которая в то время шла на сцене многих сельских клубов, а то и просто в избах-читальнях. Успех ее был понятен: в сценической форме молодой драматург отразил коренной вопрос тех дней — коллективизацию села.

23 августа 1937 года Швиндин был избран первым секретарем Липоводолинского райкома комсомола.

На комсомольских субботниках, сходках, вечерах отдыха свежо и полновесно звучало слово комсомольского вожака района — Федора Швиндина, поэта и коммуниста.

Не всем нравилось такое слово. Сколько бюрократов, волокитчиков, а то и неприкрытых врагов Советской власти раскрылось после выступлений в газете секретаря райкома. По клеветническому наговору Швиндин был освобожден от работы, исключен из партии. Все это было так неожиданно для честного и преданного коммуниста, что он решил покончить с собой. Вышел за село, посмотрел на зеленеющие поля, на гребенку синегощего вдали леса и... нажал спусковой крючок пагана.

К счастью, рана оказалась не смертельной. Нелепые обвинения были сняты, в партии восстановлен. Об этом он расскажет в одной из своих поэм, посвященных классику украинской литературы Архипу Тесленко.

Вспоминает друг Швиндина учитель Липоводолинской средней школы И. М. Молошый: «Помню, как грустили мы, узнав, что Федю забирают в Киев на журналистскую работу в редакцию «Комсомолец України». Грустил и сам виновник. Не хотелось ему уезжать из тех мест, где он принял первое боевое крещение».

Зимой 1939 года Швиндин приступил к новым обязанностям. Теперь он заведующий отделом студенческой молодежи республиканской молодежной газеты. В Киеве Швиндин знакомится с поэтами Олексой Ющенко, Андреем Малышко, Степаном Крыжановским. Часто собираются они в его гостиничном номере на Крещатике, обсуждают новые стихи, поют полюбившиеся песни.

Киевский период — один из самых плодотворных в его творчестве.

Писал тогда Швиндин о счастливой молодости, о весне века, о нежной и чистой любви. И уже в этих молодых стихах чувствовалась гражданская позиция поэта.

Но о чем бы ни писал он — о родном преображенном селе, о цветущих ли садах или соловьиных дубравах, — везде чувствуется дорогой юношескому сердцу образ матери-Родины.

Вечные темы нашей литературы — хлеб и память — осваивал в своем творчестве Федор Швиндин. Этой теме хотел он посвятить свой сборник, который намеревался выпустить к юбилею комсомола.

Во время одного из редакционных дежурств, когда номер был уже вычитан и послан в набор, и Федор Швиндин взялся за корректуру книги, тишина июньского неба была неожиданно раскромсана тяжелыми взрывами. Киев бомбили в четыре утра...

Война позвала Федора Швиндина на линию огня. На ту самую, прочерченную поэтом еще в 1939 году:

«Як гряде бій...»

По состоянию здоровья Федора не взяли в действующую армию (он хромал), но и сидеть сложа руки он тоже не мог. Швиндин решает остаться в тылу врага. Его решение совпало с решением партии.

«Если живу, то з сердца гнів
Хотів бы в розпачі кресати,
І тим вогнем своїх братів
На бій кровавий гучно звати,»

— писал в те дни поэт.

Заместитель главного редактора республиканской молодежной газеты идет в партизанский отряд. Создает его и возглавляет в родном селе Андреевка. Партизанскому отряду он отдает в распоряжение свою поэзию и жизнь. В день 24-й годовщины Великого Октября на полицейской управе появилась первая стихотворная листовка. Она звала людей к мести, укрепляла их веру в победу над врагом.

В глухом немецком тылу, в Андреевке, регулярно выходила в свет газета подпольщиков и партизан «Искра». Из-за отсутствия бумаги она «печаталась» на листе красной фанерки, издали привлекая к себе внимание. В одном из ее «номеров», в день разгрома фашистов под Москвой, появилось послание Гитлеру, написанное в стиле письма запорожских казаков турецкому султану:

«Плюгавый Гитлеряка, свинное рыло, пес лупоглазый, слышали мы, будто под Москвой тебе хорошо ребра наломали. Знай, придет скоро время, когда ты, бандюга, начнешь наступать пятками назад...»

Длинными зимними вечерами собирались подпольщики в хате Федора Швиндина. Занавешивали окна старым домотканым одеялом и начинали писать листовки или слушали сообщения Совинформбюро. Однажды старенький приемник наткнулся на неизвестную волну. Это были позывные радиостанции имени Т. Г. Шевченко, доносившиеся на оккупированную Украину из далекого Саратова. Каково же было удивление и радость людей, когда диктор прочитал одно из стихотворений Швиндина:

«Не ганьба померти за свободу.
Коли б мав я в себе сто життів,
Всі б віддав за щастя для народу,
За Вітчизну б кров свою пролив».

На линии огня стояло и его слово.

Гестаповские ищейки давно охотились за поэтом. К несчастью, им удалось схватить его...

Швиндина долго мучили. Пытали. До смерти избитого бросили на арбу и повезли в Липовую Долину для опознания. Но никто не выдал его на допросе. Никто не произнес вслух имя поэта. Ни одно слово не сорвалось и с разбитых губ Федора. Теперь он был спокоен за своих ребят. Ведь стихи и список подпольной группы он успел закопать в бутылке под старой грушей. Организация будет жить.

Вместе с группой липоводолинских патриотов Швиндина повели на расстрел. Вконец разбитые ноги оставляли кровавый след на земле...

Вели его вот по этому же большаку, пыльному в зной и вязкому в слякоть. По нему я иду сейчас в юность Федора.

Трудно сказать, что пережил, перечувствовал в те минуты поэт, еще в мирные дни написавший:

«Я живу і проживу багато,
В сонцесяйві квітнуть мої дні,
І в життя я пронесу крилаті,
Вічно юні, радісні пісні...»

Смертников подвели к краю обрыва. Автоматные очереди вспороли ночь.

Федору повезло. Рана оказалась не смертельной. В ту же ночь партизаны отыскивали на месте расстрела, среди уже окоченевших трупов товарищей, Федора Швиндина.

Заботливые руки выходили, вылечили поэта. И он опять ушел на линию огня. Потом снова арест. И снова

ва дни и ночи в мучительных пытках. Длинная и тяжелая дорога к смерти.

Ні, ні! Не вірю я, що так вже й помирять...
Ще будуть ранки юні, променисті,
Ще будуть зорі нам з Кремля сяять
І Всесвіт славитиме племя комуністів,—

писал он в одном из последних стихотворений.

«Где он пропел свою лебединую песню? Никто не знает. След его затерялся где-то в аду Белостокской душегубки,— пишет в предисловии к книге В. Речемдн.— Там, как Муса Джалиль, как сотни других поэтов, встретил он смерть с песней на устах». Поэтическая строка, которая только набирала разбег перед стартом, была внезапно оборвана вражеской пулей или, может быть, сожжена в одном из лагерей смерти.

Его жизнь... Яркая и звучная, как та песня — «Забілили сніг». Он любил ее петь в редакционном кабинете голосом чистым и звонким.

В одном из ранних стихотворений Швиндин призывался: «Не жалею ничего на свете, лишь немножко молодости жаль». Свою молодость и стихи отдал он Родине.

В этом году ему исполнилось бы шестьдесят шесть.

В последнее время в местной и республиканской печати появилось немало материалов, рассказывающих о жизни и творчестве поэта-героя.

Издательство «Радянський письменник» в разное время выпустило в свет несколько сборников стихов молодых поэтов, павших в бою: «Пісня мужніх» (1960), «Вінок слави» (1970). В них вошли и стихи Федора Швиндина. Аналогичная книга вышла в 1965 году в издательстве «Молодь». Она называется «Пісня полеглих — в строю». Попутно хочется высказать пожелание, чтобы это же издательство, так много сделавшее для популяризации стихов комсомольского поэта, взяло на себя заботу по переизданию его сборника.

Недавно появилась и первая книга, посвященная Федору Швиндину. Ее написал земляк поэта, журналист Иван Коршюченко.

Всесоюзный же читатель сегодня знакомится впервые и с этим именем и с этой яркой, короткой, как лозунг, судьбой.

Наше
обозрение

ВИКТОР ШИРОКОВ

Наше
обозрение

В НАЧАЛЕ ПУТИ...



Нет ничего заманчивее «езды в незнаемое», и поэтому все мы особенно жадны до первых стихотворных книг, с острым интересом тянемся к скромным толиньким сборничкам, надеясь обрести в авторе собеседника и друга.

Так уж сложилось, что обычно авторы первых книг, изданных в Москве или в Ленинграде, больше на виду, чаще всего уже известны всесоюзному читателю по публикациям в столичной периодике; перелистывая их книги, замечаешь знакомые стихи и при этом несколько умалается острота первооткрытия. Напротив, поэты, выпустившие первые книги в республиканских и областных издательствах, зачастую «терра инкогнита», и тем значительнее читательский интерес: кто они и откуда?

Четыре поэта, к которым мне хочется привлечь внимание читателя... Различны их поэтические пристрастия, возраст, жизненный опыт. Объединяет их прежде всего то, что поэтические дебюты, как принято говорить, состоялись, а также то, что все они русские поэты, живущие в союзных республиках.

Ольга Николаева и Михаил Сафонов запомнились мне еще по коллективному сборнику «Окно» (изд. «Эсти раамат», Таллин, 1975). Уже в тех скудных циклах угадывались основные тематические пристрастия, особенности поэтической манеры. И вот первые книги. Стоит заметить также, что Ольга Николаева вообще далеко не новичок в поэзии. Еще в 1970 году журнал «Новый мир» опубликовал стихи студентки из Тарту. В книге «Немеркнущий сад» (изд. «Лиезма», Рига, 1976) ее самые ранние стихи датированы 1965 годом. Они под стать тогдашнему возрасту автора — юны и звонки:

Как людно, как дремлют деревья,
Как тает и грест везде,
А Рига тиха, как деревня,
И будто по горло в воде.

Троллейбус под всплески, под вскрики
Задержан лучом в тупике,
Проплывши по Риге, по Риге,
Так медленно, как по реке.

(«Весна в Риге»)

Насколько сложнее, полифоничнее, а не только «технически оснащенное» стихотворение, давшее название всей книге. Ольга Николаева умеет живописать: «В распахнутую тьму зрачка влетает мрак, как бабочка...». Сострадание к чужой боли, жадность к жизни, дар бескорыстной любви — все это изначальные и немаловажные качества для поэта:

Как больно коже зерно,
Как больно почве, больно почке
В мучительно сверкнувшей точке
Как остро всходят семена!

(«Как больно коже зерно...»)

Это вовсе не значит, что в первой книге О. Николаевой нет недостатков. Нередко еще образы ее стихов выглядят нарочитыми, претенциозными. Например: «Я видела змеиный ад. О, как же там красиво! Там елки белые стоят... Но это был змеиный ад, и не вошла в тот сад...» Все это стихотворение вычурно, приблизительно по передаче чувств в мыслей автора. Думается, что для Ольги Николаевой это издержки роста, идущие во многом от безоглядной щедрости метафор.

Напротив, сборник стихов Михаила Сафопова «Право первой строки» (изд. «Эсти раамат», Таллин, 1977) выстроен строго, порой как бы конспективно. Стих его подчеркнуто традиционен, ориентирован на высокую школу русского гражданского стиха. Этот сборник невелик по объему, что свидетельствует о жестком самоограничении зрелого человека, отбравшего для публикации самое главное, отстоявшееся... Здесь и дневниковые записи сибирских скитаний («В организованном порядке свезли нас к черту на рога...», «Сибирский воздух — колдовское

зелье...»), в исторические штудии, не пропавшие втуне (Михаил — историк по образованию, но давно работает журналистом) — «Снегопад в Новгороде», «Псков, 1510 год», и очень цельный, емкий пушкинский цикл («Январь. 1837 год», «И надобно успеть, пока рука легка...», «Поедем на Черную Речку...»). Несомненно, в эдаком разделении стихов есть что-то искусственное, поэт вовсе не стремится раскладывать свои пристрастия по тематическим полочкам.

Чувство историзма, чувство личной причастности к судьбам Отечества, к культурно-нравственному наследию крепко связаны у него с сегодняшним днем, с буднями сибирских строек, где Михаил трудился не один год:

...От руки до руки —
небеса и эпоха,
право первой строки
и последнего вздоха.
Право речь не связать
ни тцетой, ни обетом,
ставя точку, не зная,
чем окончится это.

(«Есть всевышняя статья»)

Первая книга Елены Скульской также издана в Таллине, название ее — «Глава двадцать шестая» (изд. «Ээсти раамат», 1978) — сразу же вводит в атмосферу поисков молодой поэтессы. Владимир Бэзкман в своем предисловии с большим душевным тактом, строго и одновременно весьма взволнованно отмечает новизну и серьезность большинства стихотворений книги, показывает читателю метрические пристрастия и формальные эксперименты автора. Конечно же, поэт, выросший в Таллине, не мог не учитывать опыт и традиции современной эстонской поэзии наряду с достижениями крупнейших русских поэтов нашего столетия. Все это очень ощутимо в повышенной экспрессии стиха, в его нервном смятении, метафорической образности... И в этом нет ничего предосудительного. Творческая учеба не эпигонство. Голос Елены Скульской, только ей присущая интонация отчетливо пробиваются сквозь литературные влияния:

Я замажу глиной
глаза и рот.
От моих ворот —
поворот —
в небосвод...
От моих мечетей —
до моих гробниц
только странник,
пустыня
и стая птиц.
(«Самарканд»)

Лично мне наиболее интересны верлибры Е. Скульской, среди которых «Это пальцы сжимают обрывок холста...», «Стояла ночь судьбы на воскресение...», «Я среди женщин таких постоянных...», «На скамейке в весеннем саду...». Стоит, кстати, отметить, что внимание читателей и критики к свободному стиху в последнее время заметно усилилось. Достаточно вспомнить дискуссию, несколько лет назад проведенную журналом «Вопросы литературы», затем выступление Вл. Рогова и В. Куприянова на страницах «Литературного обозрения» и «Литературной газеты». Речь идет не о выделении верлибра в качестве «магистрального пути» поэзии молодых. Но нельзя пренебрегать тем, что свободный стих связан в первую очередь со стремлением обновлять средства выражения. Это своеобразная реакция на гладкопись, на монотонность средних штампованных стихов...

Может быть, я чересчур субъективен в оценке некоторых рифмованных стихотворений Е. Скульской, но такие из них, как «И окна несут, закусив удила...», «Февраль», «Март», «Июль», «Глава двадцать шестая» остаются, по-моему, «вещами в себе», «тайной за семью печатями». Их недосказанность, недопроявленность чувства и мысли, чрезмерная подражательность интонации — тот же трафарет наизнанку. Но, видимо, эти стихи были необходимы поэту как «лаборатория», как пианисту — гаммы.

Верлибры Яна Топоровского, вошедшие в книгу «Трава меж камней» (изд. «Карти Молдовеняскэ», Кишинев, 1976), также не отвечают расхожему читательскому представлению о стихах. Нет замысловатых рифм, строгого размера и ритма. И все-таки это поэзия.

Лучшие стихи сборника говорят о любви к отчужденному краю («Словно горная река»), о трогательном юношеском целомудрии («Жмурки»), о самоотреченной бережности в любви («Ничем себя не выдам»).

Ян Топоровский умеет точно передать настроение, найти неожиданный смелый образ, оставаясь вдумчивым и чутким собеседником:

В нашей квартире
тишина состоит
из:
стихающего в плите огня,
полета бабочки
вокруг электрической лампы
дыхания спящего ребенка,
тиканья будильника,
шелеста переворачиваемой страницы,
которую читает моя жена,
шороха мыши,
далекого лая собак,
позвякивания колодезной цепи,
неизвестно откуда прилетевшего плеска,
и когда,
перечисленное мною,
находится на своем месте, —
я могу приниматься за работу.

(«Перечисленное мною»)

Отрадно и внимание молдавского республиканского издательства к верлибрам, которые пока очень трудно пробивают себе дорогу к читателю.

Четыре поэта, четыре судьбы... Все они в самом начале своего творческого пути...

АРКАДИЙ
ХВОРОЩАН

ПОЭТ И ЕГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

СТРАНА
ВСТАЕТ
СО КОНСТАНТИН
ПОЗДНЯЕВ
СЛАВОЮ
НА ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЖИЗНИ
ВСТРЕЧУ
ДНЯ

Блок, обронив в «Возмездии» слова «жар души», дал едва ли не самое точное определение лирику. Душевный жар — именно по этому вернейшему признаку безошибочно узнается настоящая поэзия. Лучшие стихи Бориса Корнилова, автора «Моей Африки», «Соловьи» и всемирно известной «Песни о встречном», выдерживают испытание этим критерием. Вот женский, точнее, девичий портрет: «Шестнадцать лет, как яблока литые, тяжелые. Глаза как небеса. А волосы до звона золотые, огромные. До пояса коса». Эти волосы до звона золотые так и стоят в глазах! Образность у Корнилова неистовая, раскаленная, и это при несомненной ее ненарочитости и простоте (иногда чуть ли не фольклорной).

Одержимому, яростному поэту, для которого «поэзия — прежде всего оружие», повезло с интерпретатором и исследователем. Везение, правда, запоздалое, однако что поделаешь, если память о поэте, само имя его в литературе воскрешены были лишь в 1957 году, когда начали одно за другим появляться издания его произведений. «Рукописи не горят», — сказано у Булгакова, но ведь даже если сгорают рукописи, то не сгорает сама поэзия! В лице Константина Поздниева, автора недавно вышедшей в свет книги о Борисе Корнилове («Продолжение жизни», М., «Современник», 1978), корниловская поэзия нашла своего страстного и вдохновенного пропагандиста, ценителя и знатока.

В качестве девиза на поэтическом «гербе» Корнилова могут быть начертаны слова Льва Толстого — «лирическая дерзость». Что глаголом можно и должно жечь, Корнилов запомнил превосходно. Он не исподволь, а сразу и бесспорно приучает читателя к своему горячему, обжигающему слогу. Сердечный жар опалил многие строки поэта, а иные из них и обуглил, и если в лирике есть своя шкала температур, то не одно и не два среди стихотворений Корнилова окажутся рядом с ее верхней отметкой. Дарование Бориса Корнилова очевидно для всех, кто хоть немного знаком с его поэтическим наследием. Тем более очевидной становится эта истина по прочтении книги К. Поздниева, отдавшего многие годы изучению (а отчасти и собиранию, восстановлению) корниловского наследия. Не без горечи отмечает критик в своей книге: «Я убежден: литераторы и узкий круг любителей поэзии знают творчество Корнилова, массовый читатель — нет». Это обстоятельство и внушило автору приведенного высказывания поистине счастливую мысль: создать

книгу, которая была бы ориентирована на самого широкого читателя и была доступна по стилю и форме изложения каждому, кто пожелает познакомиться с поэзией Бориса Корнилова. Эта благородная и трудная задача с честью выполнена автором. В своей книге он, сплавляя публицистику с воспоминаниями, литературный анализ с анализом историческим, добивается главного — передает живой дух корниловской музыки. Стихи поэта, в изобилии рассеянные по страницам книги, и размышления автора над сущностью корниловского дара органично сплетаются.

Заслуживает пристального внимания мысль К. Поздниева о «лирической многотемности» (термин Н. Тихонова) поэта, о том, что подлинный жанр Корнилова — «не событийный стих со сквозным сюжетом, а лирика настроения и раздумий». Сказано пронзительно и верно. Кропотливая, самоотверженная работа проведена автором книги по выявлению и анализу ошибок, неслучайностей, допущенных как издательствами, так и критиками и литературоведами по отношению к творчеству Корнилова. «Делать это необходимо», — пишет в заключение К. Поздниева, — чтобы пресечь дальнейшее распространение неправдивых утверждений, фактических ошибок и опечаток, ибо они могут дезориентировать как читателей, так и тех критиков, что будут исследовать и осмысливать литературный процесс после нас».

Книга критика заставляет нас вспомнить и о том, что Борис Корнилов — поэт «большого поколения», он свободно и смело, без малейшей натяжки отождествляет в своем поэтическом сознании юность и Революцию, не ставя разделительных знаков между собственной молодостью и молодостью своего поколения и своей страны: «Если старости пройдемся краем, дребезжа и проживая зря, и поймем, что — амба — умираем, пулеметчики и слесаря, — скажем: — Все же молодостью лучшая и непревзойденная была наша слава, наша Революция, в наши волопощенные дела». Это признание, выраженное просто и торжественно, достойно стоять рядом с хрестоматийным: «Нас водила молодость в сабельный поход...» В таких строках запечатлен образ целого поколения предвоенной поры, «презревшего грошевой уют» во имя идеи и пылко и самозабвенно отдавшего себя служению ей. Так что пламенный лирический темперамент Корнилова — особенность не только его личности, но также современной ему эпохи. Вчитайтесь в его стихи, следуя умной «указке» критика, и вы будете поражены их первозданной свежестью и их естественным, как воздух, метафоризмом и захвачены врасплох напряженно-нервной, страстной и неподражаемо-трепетной их лиричностью. Поэт покоряюще доверчив и совершенно чужд скрытности, замкнутости. Попав хоть однажды под ток его мощного самородного таланта, вы долго еще будете чувствовать на себе искорки живого электричества.

И если благодаря книге К. Поздниева имя Бориса Корнилова превратится для вас в «звук понятный и знакомый, не пустой для сердца звук» и если молодость души, заключенная в его поэзии, передастся вам и вы вновь и вновь обратитесь к поэту, то, думаю, автор «Продолжения жизни» именно этого и хотел...



ПОИСК И ВЫБОР

Говорят, — «книга нашла своего читателя». Многие произведения, вошедшие в этот сборник («Парус-77», «Молодая гвардия»), нашли своего читателя еще до того, как были объединены под одной обложкой. Поэтому вместо того, чтобы говорить об отдельных повестях, рассказах, стихах, попробуем рассмотреть их все вместе, подумаем, что дает составителям сборника возможность и право определить четкую возрастную направленность: «в сборник вошли произведения... адресованные тем, кому от 14 до 18 лет».

Дело здесь, наверное, не в тематике. Тут и «производственный» рассказ Ю. Нагибина «Вася, чуешь?..», и «школьная» повесть Г. Михасенко «Милый Эп», и повесть-притча Ричарда Баха «Чайна по имени Джонатан Ливингстон», стихи Я. Брюсова, Гарсиа Лорки, И. Сельвинского, Я. Смелянова, других известных поэтов и произведения молодых, только вступающих в литературу.

А дело-то, видимо, в том, что герои всех произведений — люди ищущие, устремленные в будущее. И поэтому они постоянно становятся перед нравственным выбором. Для шестнадцатилетнего выбор определяет всю его жизнь, и это не только выбор вуза или профессии. Это поиск и обретение тех моральных законов, по которым человек будет строить свои взаимоотношения с людьми. И если герой рассказа Ю. Нагибина «Вася, чуешь?..» устанавливает с миром свои прямые, добрые и честные отношения, то трудно пока еще налаживаются они у Оли — героини повести А. Алексина «Безумная Евдокия».

Возрастная направленность сборника определяется еще и тем, что в нем типичные — не типовые! — подростки попадают в ситуации, требующие мужественных решений.

Как-то я спросил у одного девятиклассника, почему это он и его друзья уже не зачитываются, как раньше, «Тремя мушкетерами»? И он ответил, почти не задумываясь: «Больно уж там все понятно. Приключения — это здорово, но хочется чего-то еще». Но будем судить его за категоричность, и рассуждать о том, что у Дюма есть, конечно же, и это «что-то еще». Просто, наверное, что-то случилось с привычными для нас идеалами подростка — они «повзрослели». Сборник ориентирован не на абстрактного человека 16 лет, а на сегодняшнего. Истинные «взрослые» проблемы и связанные с ними искания и переживания — вот та главная тема, объединяющая все произведения под одной обложкой. Эти искания рождают еще одну безусловно общую для героев, книжных и настоящих, черту — неуспокоенность. И Зина Ломанина — героиня киноповести Ю. Сальникова «Рано или поздно...» будет близка ребятам именно потому, что не хочет жить по чьим-то рецептам, ищет, ошибается, сомневается, но идет к своему главному выбору.

Знаменательно в этом смысле даже название одного из материалов сборника — статьи корреспондента «Комсомольской правды» Павла Гутинтова «Уже шест-

надцать». Именно уже, потому, что это возраст не только выбора, но и время настоящих, полезных дел...

Молодые авторы сборника... Они сами совсем недавно были подростками. И пусть то, что они делают, не всегда еще совершенно, зато искренно и своеобразно. Выделяются своей необычностью — даже не знаю, как назвать — сказки? притчи? рассказы? — Ларисы Черниковой. Неординарные рассказы двух Андреев — Яхонтова и Яковлева и цветные вкладки с рисунками Игоря Соколова и Жени Двоскиной.

Думается, молодой читатель обратит внимание и на «школьное» сочинение молодого Карла Маркса о выборе профессии и на беседу с доктором философских наук профессором Е. Жариновым о самовоспитании, улыбнется мудрой иронии Станислава Ежи Лца...

«Парус-77» — первый литературный сборник «Молодой гвардии» для подростков. Он получился интересным, нужным.

Андрей
МАКСИМОВ

ЧТОБЫ БОЛЬШЕ СТАЛО СВЕТА!

«Светлынь» — первая книга молодого поэта Михаила Зайцева («Молодая гвардия», 1978). Название точное, все стихотворения пронизаны светлым ощущением жизни, добротой и людям. Это органичный поэтический мир, в котором и «солнце бьется как флажон, не находит моста», и «Чешуею изливая чудный свет до потолка, бьется рыба золотая...» Михаил Зайцев отличается на красоту природы, и на красоту душевных движений, и на ту «трудноватую для пера» красоту, которую приобретает человек создающий. Лирик по характеру своего дарования, молодой поэт не замыкается внутри себя, его стихи населены людьми — разными человеческие судьбы выплывают с любовью, бережно и доброжелательно. Михаил Зайцев умеет писать зримо. Поэтому люди в его стихах живут, поэтому с интересом наблюдаешь и за соседским сынишкой Петей, и за молодой хозяйкой, угощающей молоком приехавших в колхоз студентов, и за дедом, комментирующим идущий «по теленку» фильм о гражданской войне...

Приведу целиком небольшое стихотворение, которое представляется мне лучшим в книге:

Взмахну веслом,
упруго оттолкнусь
От берега, заросшего травой.
Захлопает в кустах —
тихий гусь
Бесшумно пролетит над
головкою.
Очертит круг над озером,
слетит
Качнется,
высотой насадившей
И, проскользнув по глади
озерка,
Почти у самой лодки
приводнится.
Не шелохнусь.
Гляжу с восторгом я,
Как он плывет.
как распрямляет перья.



Наверно, чуе-
т, в лодке нет ружья...
И все же страшно от его
доверья!

Таная строка, как последняя,
могла родиться только в наше
время, когда человечество впервые
за всю историю нравственно ощутило
свою ответственность
перед всем живым на планете.

На многих стихах Михаила
Зайцева лежат ответы поэзии
его учителей, прежде всего Никола-
я Рубцова. Но это именно уче-
ничество, молодой поэт нигде не
опускается до подражания. Учит-
ся же он тому, чему и должен
учиться молодой поэт у мастера:
непосредственности восприятия
мира, раскованности, серьезности
отношения к слову. Но если рас-
кованности Михаила Зайцева мож-
но позавидовать, если доверитель-
ная разговорная интонация боль-
шинства его стихов «снимает» ди-
станцию между автором и читате-
лем, то с отношением к слову, к
сожалению, не все гладко. В пер-
вой книжке поэта есть досадные
просчеты, невыеренные строки.

Кошу траву.
Уверенно пластую.
Весь мир во мне:
И логика, и суть,
И плоский плеск лягушек о

густую,
Веками застоявшуюся муть...

Логика, суть и... плоский плеск
лягушек! Эти строки явно отда-
ют ложной многозначительностью.

Как первый шаг в литературе,
книжка Михаила Зайцева в целом
удалась. Удалась, поскольку ее
автору есть что сказать о жизни
и о себе.

Владимир
КАТИН

РАЗНОЕ, НО СВОЕ...

Читаешь эту книгу, на-
званную по первому рас-
сказу «Ранние берега»
(«Советский писатель»,
1977), и хотя удивляешься порой
жизненной умудренности молодого
автора — Николая Климонтовича,
— не оставляет чувство, что
это именно первая книга писате-
ля, книга поисков и обретений.

Автор пишет о юношах, открывающих для себя жизнь («Ранние
берега», «До того, как все кончи-
лось»), о людях, за плечами кото-
рых годы нелегкой судьбы («У ти-
хой пристани», «На свободе»,
«Мягкая пижама профессора»), с
любовным вниманием рисует мир
детей («Катка», «Пустеет воз-
дух»).

Н. Климонтович пробует себя в
различной манере: это и нетороп-
ливые размышления, портретные
зарисовки, и повесть с напряжен-
ным сюжетом, острыми, необы-
чайными ситуациями («Превраще-
ния инженера Ауксиниса»), рас-
сказы, полные юмора и написан-
ные с грустной улыбкой, иногда
повествование с «волшебными»
сдвигами. Но всюду особенно-
сти, собственные стили автора:
строки зримые, яркие, «вкусные»;
точный, пристальный взгляд, не
упускающий бытовых мелочей, и
рядом — неожиданные сравнения.

Привлекает не только общий
тон книги — яркий, лиричный;
интересные, порой фантастиче-
ские сюжеты рассказов, но и

жизненная позиция молодого ав-
тора и прежде всего активная
неприемлемость фальши во всем,
— в человеческих отношениях, в вос-
приятии природы, в отношении к
труду и, наконец, в отношении к
самому себе.

В разнообразном кругу тем, за-
ронутых Н. Климонтовичем, про-
слеживается интерес к изображе-
нию сверстника молодого писате-
ля. В связи с этим остановимся на
рассказе «Вход в Иерусалим на
белой лошади», тем более что он
был упомянут Л. Аннинским в
статье, послужившей началом ди-
скуссии «Проза: реальность и ус-
ловность» на страницах «Литера-
турной газеты», где говорилось об
излишнем аллегоризме и «мифо-
творчестве» молодого автора.
Кстати, далеко не все участники
дискуссии согласились с Л. Ан-
нинским. Нам кажется, что кри-
тик перенес некоторые черты ге-
роя, иронически изображенного
Н. Климонтовичем, на его создате-
ля. Это герой (а не автор!) любу-
ется своей исключительностью,
умиляется своим восторгам и
тщетно стремится поместить в
один рассказ «северное лето,
строгие лики, пугливую улыбку,
коней, цыган, сказку...».

Пожалуй, самый трогательный
рассказ книги — «Пустеет воз-
дух». Он повествует о счастье
общения с любимыми.

Рассказ очень живописен: на
фоне предосенней пастели вспы-
хивают яркими красками воспо-
минания о солнечном подмос-
ковном лете, о гибких движе-
ниях женщины и о неуклюжей гра-
ции малыша. Самые прозаичные
вещи, детали быта освещены осо-
бым лирическим светом, мягкой
улыбкой, а «мокрые хризантемы,
нарезанные к отъезду», или сер-
езное послание к трехлетнему ма-
лышу — послание в будущее, — со-
четаются гармонично, я сказала
бы, музыкально. Условность фор-
мы — мальчик-миранг, меняющий
свой облик и возраст, перемеще-
ние героев во времени — по-сво-
ему подчеркивает реальность че-
ловеческих чувств и отношений.
Думается, что здесь наиболее
полно раскрылась творческая ин-
дивидуальность молодого автора.

Читая книгу Н. Климонтовича,
мы видим, как постепенно, от рас-
каза к рассказу, крепнет писа-
тельское мастерство, проявляется
собственное лицо автора. Это дает
нам право надеяться, что следую-
щая встреча с Н. Климонтовичем
будет интересной, запоминающей-
ся.

Любовь
ЛИГИНА

И СНОВА — О «ДУШЕ ПРИРОДЫ»

Нужно сразу сказать, что
первая книга Ю. Седова
(«Не тают круги на во-
де», Челябинск, Южно-
Уральское изд., 1977) удивительно
ровная, хотя собранные в ней
стихи отделяют друг от друга
подчас 10—15 лет. В литературной
критике термин «ровная» принято
считать заведомым комплимен-
том автору. В данном случае ка-
чество это абсолютно положи-
тельно можно назвать вряд ли можно,
потому что «ровность» нередко
оборачивается однообразием, мо-

нотностью и гладкописью. Ду-
маю, что это связано с некоей
замкнутостью, отъединенностью
автора от...собственного внутрен-
него мира. Пусть это нахлест па-
радоксом, но когда поэт анализи-
рует, исследует личные чувства,
создается впечатление, что он
смотрит на себя со стороны и
ему «не больно». Поэт тем и отли-
чается от ученого-психолога, что
он живет чувствами, а не иссле-
дует их...

Раннего Заболоцкого упрекали,
и отчасти справедливо, в холо-
доватости, «скрытности», «нели-
ричности». Но у Заболоцкого это
было программой, установкой; вво-
дя в гротескные стихи образ нэп-
мана, он, естественно, никак не
мог слить с ним свое лирическое
«я». Стихи Ю. Седова глубоко
«свои», от первого лица (чего,
кстати, не встретишь в «Столб-
цах»), — в таких стихах нужно
идти к читателю с обнаженным
сердцем.

В лучших стихотворениях
Ю. Седов обнаруживает близость
к этому сложному и замечатель-
ному поэту — близость в возре-
ниях, в восприятии внешнего,
окружающего мира. Это родство
обнаруживается и в ощущении
одухотворенности, невысказанной
разумности всего сущего; нахо-
дим его и в тональности призы-
вов-обращений к Природе: «Эй вы,
ночных деревьев бессловесных уг-
рюмый хор и стон глубин безве-
стных! И ты, воды незамутненные
взгляд!» Или — «И каждый раз,
как в первый раз, смеясь над ро-
бостью сознания, передо мной те-
чет рассказ о нас, о скрытом про-
запасе иного лица существованья».

Молодой поэт — коренной горо-
жанин. Но в его стихах о приро-
де не найдешь столь характерных
для «детей асфальта» неумерен-
ных восторгов, умильности, слад-
козвучных «О!..», равно притор-
ных в применении и к «цветоч-
кам-лепесточкам», и к лаптам или,
тем более, обыденному труду кро-
стьянина. Таким впечатлением
обжитости, привычности, «домаш-
ности» веет от «пейзажной» лири-
ки уральского поэта, как будто он
и не покидает ни на день эти лес,
поле, реку, далекие северные
пастбища.

Наблюдательность, чуткое улав-
ливание мельчайших деталей ок-
ружающего («И тени листьев упа-
дают ниц на буквы синие моих
страиц, и синий жук, иак тень,
ползет по ним, мерцаля влажно
глазом неживым»); не просто фик-
сация увиденного-услышанного, но
соучастие в судьбе Природы («Ос-
талось только крылья распахнуть
и по вершинам темных топей
рвануться ввысь сквозь пену не-
погоды туда, где, руша бедствен-
ные своды, рыдают души высох-
ших полей»); яркая, но не само-
довлеющая образность («...где гас-
нет солнце, и волна начеат, как
поздний снег, невозмутимых ча-
ек»), поддерживаемая, подкреплен-
ная звукописью («...и солнце в
сонные дворы из синей падает оп-
равы»), — все эти составные и
рождают явление, называемое по-
эзией. В тех случаях, где Мысль
воплощена в Образ и согрета очи-
стительной эмоцией Музыки,
Ю. Седов заявляет о себе досто-
йно и убедительно. А таких сти-
хов, и счастья, много в книге...

Николай
КОТЕНКО



**ВЛАДИМИР
ЧЕРНОВ**

ИГРАЮТ ВОЗНЕСЕНСКОГО

Впервые Иваиовский народный молодежный театр драмы и поэзии сыграл Вознесенского одиннадцать лет назад. Композиция называлась «Парабола». «Спектакль-исповедь» — было написано в программке. С аншлагами прошел спектакль по многим городам страны, его приглашали к себе физики Дубны и актеры театра «Современник», центральные газеты и журналы отметили его рецензиями.

Драматургия стиха Андрея Вознесенского сценична в высшей степени. Но это нам теперь все так хорошо видно. А тогда театр и поэт нашли друг друга. «Парабола» создавалась как исповедь поэта

перед миром, но, по сути, получилась яростной проповедью. Такой, каким был тогда сам поэт.

В том, что спектакль вышел именно таким, убеждают не только рассказы очевидцев, но и подбор поэтического материала, и пластическое решение его (судя по многочисленным сохранившимся фотографиям), и взятые театром как сценический прием огромные, в рост актера маски-символы.

Последняя работа ивановцев называется «Мозаика». Она иная совсем. Весной минувшего года была премьера, летом театр привозил спектакль в Москву, но немногие, к сожалению, смогли увидеть его. «Мозаика» — камерный спектакль.

Он вобрал в себя опыт и «Параболы» и еще нескольких спектаклей на стихи Вознесенского (автор всех композиций и режиссер-постановщик — Регина Гринберг, заслуженный работник культуры РСФСР, вот уже двадцать один год возглавляющая театр); он вобрал в себя разные пласты поэзии Андрея Вознесенского, здесь ранние стихи соседствуют с недавними. Театр разъял стиховую ткань, отдельные строчки и строфы соединились в иные густки, нежели придумал поэт. Но это сделано весьма бережно, с целью обнаружения и обнажения творческих тенденций, это попытка показать их в развитии.

На снимках: Актеры Т. Дормидонтова и А. Гориславский в спектакле «Мозаика».

Фрагмент из спектакля. Актриса Т. Романова.

Фото автора.



Поэтому получился спектакль еще и о поэте. А он сейчас другой, он стал зрелым. Он стал мудрей. Таким его видят и играют нвановцы. Поэт остался верен себе. Но те вещи, о которых прежде кричали его стихи, сегодня стали проговариваться напряженно-яростным шепотом. Именно этот спектакль с полным правом можно назвать исповедальным. Так он решен и сыгран.

В маленьком зале, человек на шестьдесят, стулья — амфитеатром вокруг сценической площадки. Стены завешены черным, актеры в черном. Нет декораций, нет реквизита. Тьма, блуждающие лучи, музыка — вот все оформление. Стихи поются, читаются, шепчутся.

Музыки много. Дмитрий Шостакович, Игорь Стравинский, Родион Щедрин. Фрагменты из вокальных циклов и оперы Микаэла Тарнвердиева. Несколько песен написали актеры театра А. Новосельский, В. Лычов, Я. Бруштейн. Но смысл музыки здесь не создание настроения. Смысл — предложить, вернее, предположить в том или ином сценическом куске возможность иной трактовки, иного плана, соотносить играемое с прошлым или будущим. Не обнаружить подтекст, но навести на ассоциации. И план первый становится от этого объемным.

Это комнатный спектакль. В полной тьме, в замкнутом пространстве, высвечены, в основном, лица — актеры приходят к зрителю, чтобы говорить с ним. Они говорят глаза в глаза, лицом к лицу. Они рассказывают о себе, обнажая тайники души собственной на той пронзительной ноте, которая вызывает у слушающего внезапный прилив встречной откровен-

ности. И не сомневаешься ни на секунду, что молодые актеры произносят собственное, в муках рожденное и выношенное слово.

И уже нельзя сказать: актеры и зрители. Нет, просто люди говорят с людьми.

Театр точно угадал, что необходимо усложнившемуся, перегруженному внутреннему миру современного человека. Ему нужен не просто собеседник, ему нужно созвучное и резонансное душевное состояние.

Преимущества поэтического спектакля в сравнении с драматическим в том, что он вбирает в себя множество тем абсолютно разного плана, тем, решенных кратко и сильно, ведь это поэзия...

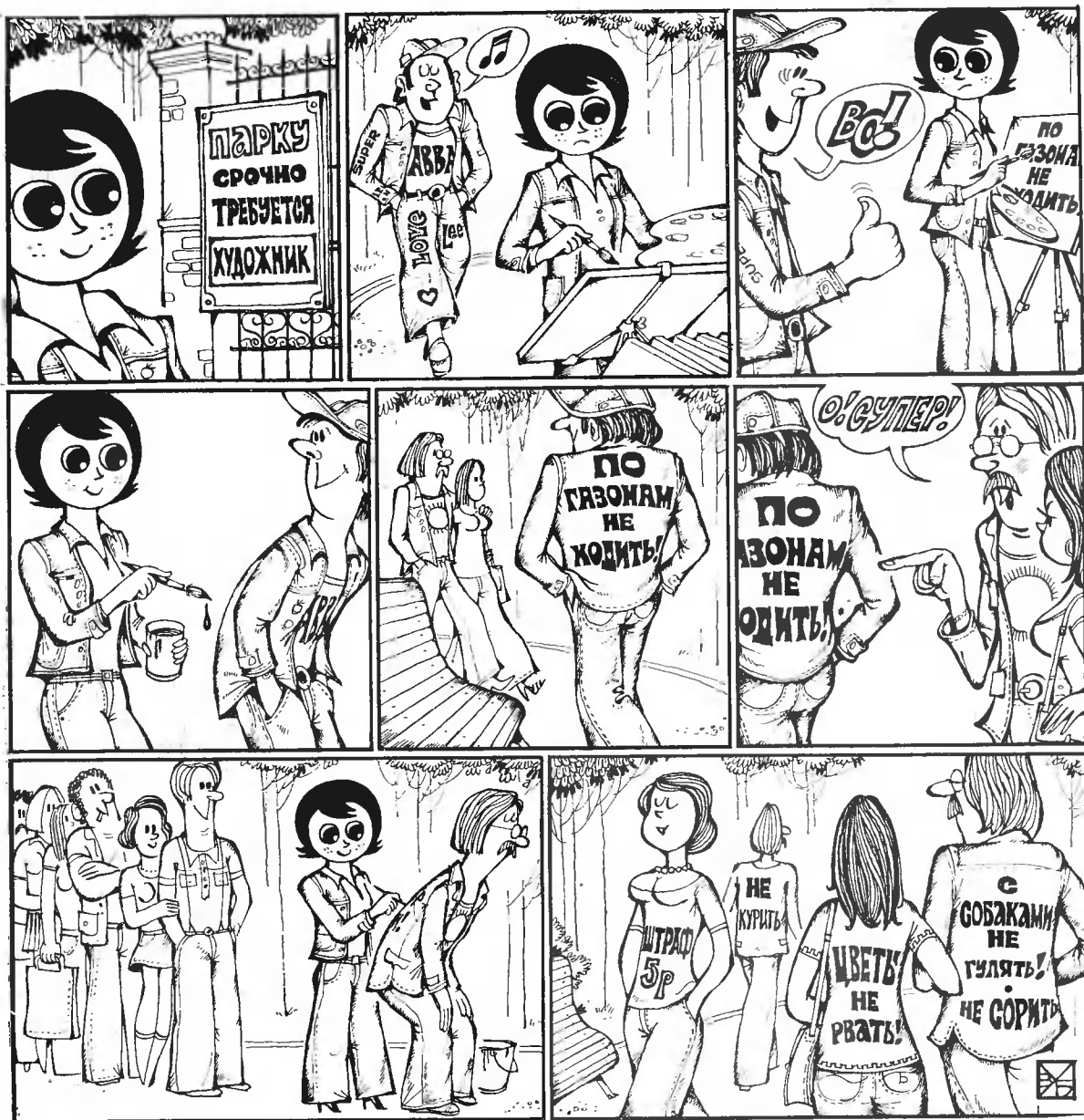
По сути дела, в стране появился театр Вознесенского. Если бы у каждого большого поэта был свой театр! Но я не об этом. Я о том, что в Ивановском молодежном театре драмы и поэзии, ставшем в 1976 году лауреатом премии Ленинского комсомола, состоялась очередная премьера.



Не раз уже Галка Галнина меняла форму своего существования на страницах отдела сатиры и юмора. И сегодня, в номере молодых, она решила дебютировать в новой роли — в роли героини молодежного сатирического комикса. Мы старались найти свое, «галкинское», лицо этого жанра.

Группа молодых художников работает сейчас над серией «комиксов» Галки Галниной. В этом номере мы помещаем первый из них. Случай из жизни Галки Галниной зафиксировал художник Владимир Уборевич-Боровский.

КОМИКС ГАЛКИ ГАЛКИНОЙ



СМЕШНО...

«Я молод, красив, интересен, играю в волейбол, знаю тысячу и один анекдот.

Она мне нравится. Но смешно подходить первому. Пусть попереживает — у меня от других отбоя нет...»



«Я молод, красив, интересен, играю на клавишине, знаю два мертвых языка. Он мне нравится.

Но смешию самой говорить об этом. Длинноногий очкарик из соседнего дома пригласил сегодня в виварий, пойду — пусть пемного поревнует...»

«Я мужчина в расцвете лет, имею должность, машину и будущее. Она мне еще больше нравится. Но смешно впадать в лирику, как студенту начальных курсов.

Коллеги пригласили на рыбалку, поеду...»

«Я женщина в возрасте, который описал французский классик.

Мужчины спотыкаются о меня взглядами. Он мне, как и раньше, нравится. Но не побегу же я, как девчонка, признаваться ему в этом — смешно. Начальник отдела пригласил на эстрадный концерт, не знаю, что скучнее, концерт или начальник, но пойду...»

«Я пенсионер. Имею лысину, ревматизм и цветной телевизор.

Она мне по-прежнему нравится, но я боюсь даже думать об этом. «Где ты был раньше?» — спросила она. Смешно...»

«Я пенсионерка. Живу в однокомнатной квартире с сиамской кошкой Варей. Он мне все еще нравится.

Но веселая будет картинка, скажи я об этом. «Спохватилась!» — скажет он. Очень смешно...»

СЕРГЕЙ
ТУПИЦЫН

Три миниатюры

Рисунки
Е. ЗЕЛЕНИНОЙ



лась, но потом притихла, вслушалась, а когда певец кончил петь, все вскочили с мест и стали требовать на сцену неизвестного автора незнакомой песни.

Я БОЮСЬ

Выхожу из дома и боюсь, что соседский боксер меня покусает.

Обхожу его стороной.

Прихожу на работу и боюсь,

что начальник на меня наорет.

Во всем с ним соглашаюсь.

Иду на свидание и боюсь, что она скажет: «Нет».

Молчу на эту тему.

Наконец, решил — хватит! Хватит всего бояться!

Выходя из дома, цыкнул на соседнего боксера.

Он меня покусал.

Придя на работу, возразил начальнику.

Он на меня наорал.



Встретившись с ней, сделал предложение.

Она сказала: «Нет».

И я опять боюсь. Боюсь, что стану прежним.

г. Пермь.

НЕЗНАКОМАЯ ПЕСНЯ

Шел обычный эстрадный концерт.

Конферансье бодро вскочил на сцену, надел на лицо традиционную улыбку, схватил микрофон... Но вспомнил вдруг Дворец пионеров, где он шепеляво читал хорошие стихи, и дежурная шутка завязла в его зубах, она показалась ему такой затасканной и плоской, что он сконфузился, а потом просто и внятно объявил выступление модного певца и ушел за кулисы.

Заученно-молодцевато певец выбежал на сцену, хлопнул в ладоши, тряхнул головой... Но вдруг вспомнил маму, которая пела вечерами старые песни, и стандартное «ла-ла-ла» известной песни, которое он собирался выдать в микрофон, показалось таким мелким, что певец поперхнулся, потом стал строже и тихо запел.

Музыканты, приготовившиеся отгромыхать очередной шлягер, сначала растерялись. Ждали момента, чтобы врубить свои децибелы... Но потом гитара-соло вспомнил консерваторию, которую так и не кончил, гитара-бас — девочку, с которой бегал на каток, а электроорган — старушку, которую когда-то перевел через улицу... И оркестр проникновенно и слаженно заиграл в такт певцу.

Публика недоуменно зашущука-

В НОМЕРЕ:



ПРОЗА

Лев ХАХАЛИН. Шаровая молния. Повесть	12
Александр ПАСТУШЕНКО. Рассказы	37
Екатерина МАРКОВА. Чужой звонок. Повесть	41
Виктория ТУБЕЛЬСКАЯ. Дворец. Повесть	57



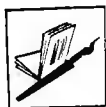
ПОЭЗИЯ

Павел СЕРГЕЕВ	72
Владимир СОРОКАЖЕРДЬЕВ	73
Танзиля РУДАКОВА	73
Владимир НЕЖДАНОВ	74
Леся ВАХНИНА	74
Борис ПОПОВ	75
Какабай КУРБАНМУРАДОВ	75
Владимир МОЛЧАНОВ	76
Александр КОКШИЛОВ	77
Владимир ЧЕРНЫШ	77
Екатерина ГОРБОВСКАЯ	78
Виктор ГАВРИЛИН	79
Зоя ЭЗРОХИ	79
Владимир КАРПЕЦ	80



ПУБЛИЦИСТИКА

Фидель КАСТРО. Письма молодого революционера	2
Юрий ИВАНОВ. Рядом с Саяно-Шушенской	84
Наталья РАЙСКАЯ. Сотворяя себя	88
Рустам КАДЫРОВ. «Может, вы знаете, какой тут секрет!..»	91
Кадирбек СЕГИЗБАЕВ. Поздняя весна	92
Гарри КАСПАРОВ рассказывает, как он играет в шахматы	96



КРИТИКА

Ольга НЕМИРОВСКАЯ. Постигненье новизны	81
Владимир ЛЕСОВОЙ. На линии огня	100
Виктор ШИРОКОВ. В начале пути...	103
Аркадий ХВОРОЩАН. Поэт и его исследователь	105
Круг чтения (рецензии А. Максимова, В. Катина, Л. Липика, Н. Котенко)	106
Владимир ЧЕРНОВ. Играют Вознесенского	108



ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Комикс Галки Галкиной	110
Сергей ТУПИЦЫН. Три миниатюры	111

На 1, 2, 4-й стр. обложки оформление А. В. Сальникова. Рисунки на страницах 11, 71, 83, 99 — Д. М. Утенкова.

Главный художник
Ю. А. Цишевский.

Художественный редактор
О. С. Коккин.

Технический редактор
Л. К. Зябкина.

Рукописи не возвращаются.

Сдано в набор 15.11.78.
Подп. к печ. 8.12.78.
А 09486.
Формат 84×108¹/₁₆.
Высокая печать.
Усл. печ. л. 12,18.
Учетно-изд. л. 17,62.
Тираж 2 780 000 экз.
Изд. № 48.
Заказ № 3092.

Ордена Ленина
и ордена Октябрьской
Революции
типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина.
125865, Москва, А-47, ГСП,
ул. «Правды», 24.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДМИТРИЙ ШУШКАЛОВ

Не будет преувеличением сказать, что постоянные читатели «Юности» знают об освоении Тюменской земли так много, как будто не раз бывали там. Они действительно «бывали» там, ведомые писателями, журналистами, художниками «Юности» от Тюмени до приполярного Уренгоя. Весной 1978 года в составе группы молодых московских художников на Севсибе побывал Дмитрий Шушкалов. Лето и осень прошли в обработке полученных впечатлений, эскизы и наброски превратились в картины.

Сегодня мы знакомим читателей с двумя работами молодого художника.



Портрет Любы Наконечной, строителя дороги Тюмень — Уренгой.

Сургутский пейзаж.



Цена 30 коп.

Индекс
71120

